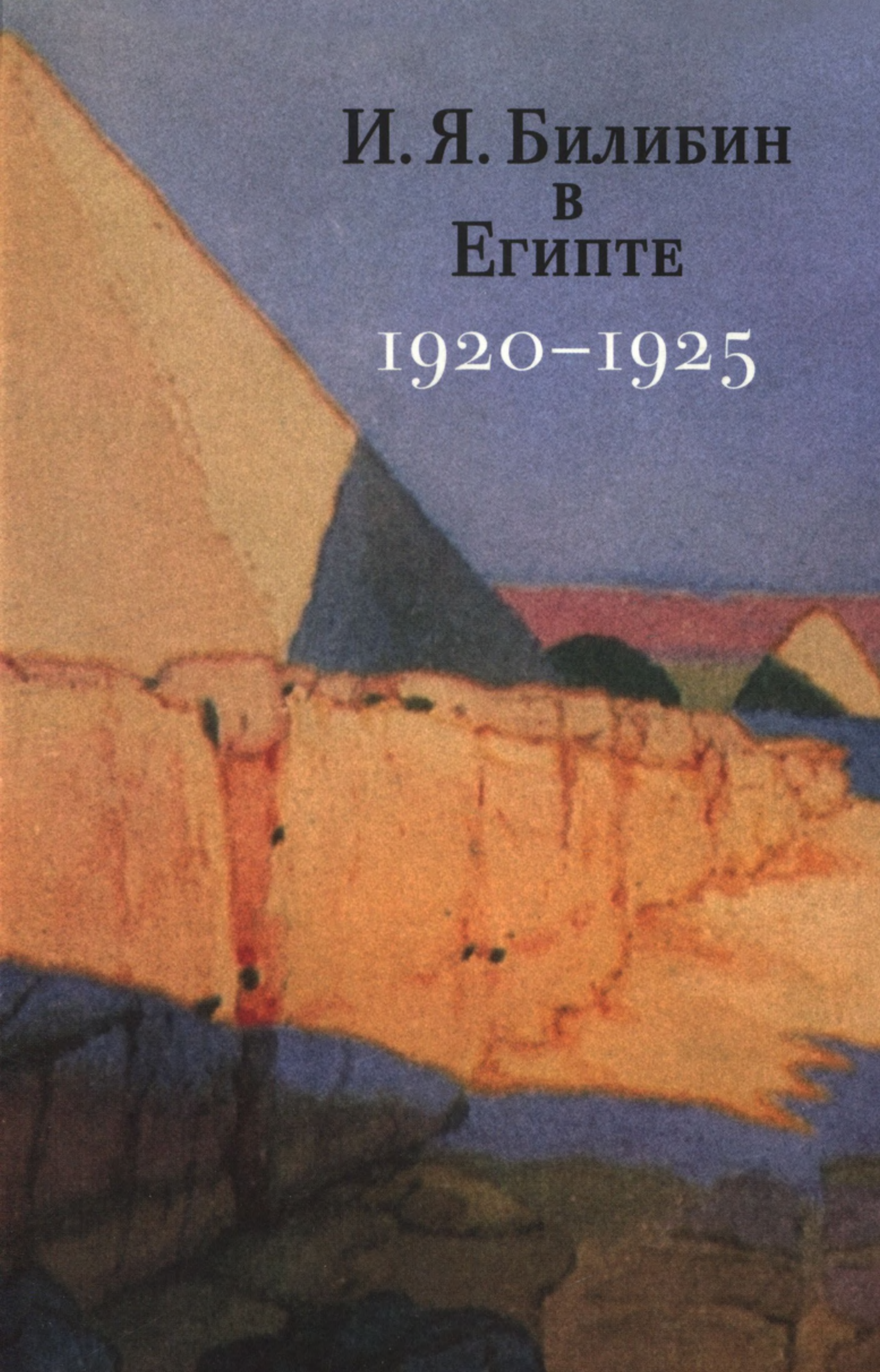

И. Я. Билибин
в
Египте
1920–1925

Институт востоковедения РАН
Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой»





И.Я. Билибин
на своей персональной выставке
в Александрии. 1925

И. Я. Билибин в Египте 1920–1925

Письма, документы и материалы

Москва
Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына
Русский путь
2009

УДК 929
ББК 85:143(2)6
Б-612

ISBN 978-5-98854-010-6(ДРЗ)
ISBN 978-5-85887-337-2(РП)

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Составление, предисловие и примечания:
доктор исторических наук ***В.В. Беляков***

Рецензенты:
доктор исторических наук ***А.Ш. Кадырбаев***,
кандидат исторических наук ***Н.К. Чарыева***

Ответственный редактор:
доктор исторических наук, профессор ***В.И. Шеремет***

Оформление
П.А. Сандомирского

Иоанн из Антикхании

Имя выдающегося художника Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942) широко известно, в первую очередь – по его непревзойденным иллюстрациям к русским народным сказкам. Куда менее известно, сколь непростой была судьба художника. Жизнь Билибина состояла из трех различных и по продолжительности, и по значению периодов: дореволюционная Россия, эмиграция, Советский Союз.

Вполне естественно, что жизнь и творчество И.Я. Билибина в период эмиграции (1920–1936) исследованы меньше, чем во время его пребывания на родине. Особенно это справедливо в отношении его пребывания в Египте в 1920–1925 гг. Между тем это был яркий и важный как в творческом, так и в личном плане период его жизни, заслуживающий самого внимательного изучения.

Во время бурных событий первой половины 1917 г. И.Я. Билибин находился в Петрограде. Но в сентябре он уехал на свою дачу в крымский поселок Батилиман, надеясь переждать там смутное время в столице. В том же поселке жил со своей семьей писатель Евгений Николаевич Чириков (1864– 1932), знакомый художнику по Петрограду. Одна из дочерей Чирикова, Людмила (1896–1995), даже брала в свое время у Билибина уроки рисования.

В Батилиман Иван Яковлевич приехал один. Задолго до этого он порвал со своей женой Марией Яковлевной Чемберс (1874–1962), и еще в 1914 г. она уехала за границу. К тому времени распался и гражданский брак Билибина с Рене Рудольфовной О'Коннель (1891–1981). Так что сердце художника было свободно.

Билибин и Людмила Чирикова ходили в Крыму вместе на этюды, и постепенно художник влюбился в свою юную ученицу. Увы, она не отвечала ему взаимностью, но и не отталкивала его.

В конце 1919 г. Билибин, Людмила Чирикова и ее младшая сестра Валентина (1897–1988) перебрались в Ростов, но неуклонно продвигавшийся на юг фронт Гражданской войны вскоре оттеснил их в Новороссийск. А в начале 1920 г. угроза захвата Красной армией нависла уже над Ново-

российском. Началась эвакуация, преимущественно больных и раненых Добровольческой армии. Один пароход, «Саратов», был предназначен для гражданских лиц. На его борту 21 февраля 1920 г. Билибин и сестры Чириковы покинули Россию.

Никто не знал, куда плывет «Саратов». Сначала он остановился в Стамбуле, потом – в кипрском порту Фамагуста, а 13 марта прибыл в Александрию. Пассажиров отправили первым делом на несколько дней в карантин, а затем – в лагерь русских беженцев в Телль аль-Кебире, между Каиром и Исмаилией. Заботу о беженцах взяли на себя английские колониальные власти. Но бывшие царские дипломаты, отказавшиеся признать советскую власть и превратившиеся в эмигрантов, тоже чем могли помогали соотечественникам. Они-то и познакомили Билибина с его первым заказчиком – греческим магнатом Бенаки. Благодаря этому художник вскоре выбрался из лагеря и поселился в Каире.

Египет пленил Билибина. «Я никогда не забуду того потрясающего впечатления, когда я впервые попал в старинные мусульманские кварталы Каира, с изумительными мечетями первых времен Хеджира[1], с его рынками и его толпою, – писал впоследствии художник. – Мне казалось, что передо мною ожила одна из страниц "Тысяча и одной ночи"; не верилось, что все это существует в натуре».

Бенаки заказал Билибину огромное декоративное панно (5,5 × 2,5 м) в византийском стиле. Получив солидный аванс под эту крупную работу, Иван Яковлевич снял небольшой дом на улице Антикхана, в самом центре Каира, где была просторная мастерская и две жилые комнаты. Мастерскую свою он прозвал «Антикханией», а себя величал «Иоанн из Антикхании». Помогали ему Людмила Чирикова, Ольга Владимировна Сандер и Есаул (его имя установить не удалось).

Основное время Билибина уходило на выполнение заказов, среди которых были и такие необычные для него, как иконы для греческой православной церкви Св. Пантелеймона. Но художник выкраивал время и для небольших работ, что называется, для души – портретов, пейзажей. Он создал также эскизы костюмов и декораций для балетной труппы Анны Павловой, гастролировавшей в Египте в феврале – марте 1923 г. Чего не было вовсе – так это его любимой работы, книжной графики.

Осматривал Билибин и достопримечательности, причем не только Каира. Ездил в Александрию, в Верхний Египет. Бывал в Луксоре, знаменитом своими величественными храмами эпохи Нового царства. Во время второй поездки он посетил только что открытую в скалах Долины царей близ Луксора гробницу Тутанхамона – единственную не разграб-

[1] Имеется в виду мусульманское летоисчисление Хиджры, берущее начало в 622 г.

ленную усыпальницу фараона, найденную в конце 1922 г. Ездил также в старинные христианские монастыри в Западной пустыне и на Синае. Часто посещал Билибин и музеи – Египетский, Коптский и Исламский в Каире, Греко-римский в Александрии. И повсюду фотографировал. Иван Яковлевич мечтал издать свои фотографии в России, но осуществить свою мечту так и не смог. Свой египетский фотоархив художник привез на родину – сейчас он хранится в Институте истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге.

В апреле 1922 г. Людмила Чирикова уехала из Египта в Европу. Билибин затосковал. Он было собрался последовать за своей возлюбленной, но его задерживала необходимость выполнить заказы. В октябре того же года художник неожиданно получил письмо из Петрограда от другой своей бывшей ученицы, Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой (1892–1967), овдовевшей за два года до этого. И Билибин принял решение, круто изменившее его последующую жизнь. Он отправил Щекатихиной-Потоцкой телеграмму с предложением стать его женой. А через три дня получил положительный ответ.

В феврале 1923 г. Александра Васильевна вместе с семилетним сыном Мстиславом приехала в Каир. Она не только помогала Билибину, но и сама работала по своей основной специальности художника-керамиста.

Лето 1924 г. Билибины провели в путешествии по Палестине и Сирии. «Иерусалим, Мертвое море, Галилея и Дамаск. Продолжение восточной сказки», – вспоминал художник. А по возвращении в Египет семья переехала в Александрию, где климат мягче, чем в Каире. «Северная столица» Египта в ту пору представляла собой наполовину европейский город, там существовало Общество любителей искусства, и русские художники были более востребованы, чем в официальной столице. В декабре 1924 – январе 1925 г. это общество организовало персональную выставку И.Я. Билибина и А.В. Щекатихиной-Потоцкой. По словам приемного сына художника М.Н. Потоцкого, «почти все работы с этой выставки были закуплены и ушли в Америку и в Грецию. В местной александрийской прессе выставка была высоко оценена».

В 1925 г. в Париже проходила Всемирная выставка, на которой в советском павильоне, в отделе фарфора, были представлены работы А.В. Щекатихиной-Потоцкой. Выставка и послужила толчком к переезду Билибина и его семьи в Париж. В августе 1925 г. египетский период жизни художника закончился. Начался новый, французский.

Такова вкратце канва жизни и творчества И.Я. Билибина в Египте. Многие же подробности читатели найдут в сборнике. В него вошли все доступные составителю на сегодняшний день документы и материалы о пребывании художника в Стране пирамид. Некоторые из них, в основ-

ном мемуары близких Ивану Яковлевичу людей, оказавшихся вместе с ним в эмиграции, уже публиковались. Но основной массив документов публикуется впервые. Это письма Билибина из Каира в 1920–1923 гг. Людмиле Евгеньевне Чириковой. Письма были переданы адресатом в Советский фонд культуры в начале 1991 г. Ныне они хранятся в Архиве русского зарубежья (Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» в Москве).

Мне довелось едва ли не первым из исследователей познакомиться с письмами И.Я. Билибина к Л.Е. Чириковой летом 1991 г. Выдержки из некоторых из них я включил в свои книги о русских в Египте[2]. Я также успел обменяться с Людмилой Евгеньевной несколькими письмами (часть из них включена в сборник).

Письма И.Я. Билибина из Каира к Л.Е. Чириковой – это по существу дневник художника. Да он и сам их так называл. Впрочем, эти письма охватывают лишь те сравнительно небольшие промежутки времени египетского периода Билибина, когда Чирикова отсутствовала в Каире (весна 1920 и конец лета 1921) и когда она навсегда покинула Египет (апрель 1922 – май 1923).

Во время длительной командировки в Египет (1986–2000) мне удалось найти несколько работ И.Я. Билибина (см. о них в примеч. 77 на с. 292 наст. изд.). Ключ к поиску дали и опубликованные материалы, и письма художника к Л.Е. Чириковой.

Многократно побывав в местах, связанных с именем И.Я. Билибина, я пришел к выводу, что документы и материалы о его пребывании в Египте – ценнейший источник для изучения не только жизни и творчества художника. Они также чрезвычайно важны как источник по истории и культуре Египта того времени и образовавшейся в этой стране в начале 1920-х гг. российской диаспоре. Именно эти соображения и побудили меня, востоковеда-арабиста, взяться за подготовку данного сборника.

Специальность составителя наложила отпечаток на справочный аппарат. Примечания носят преимущественно страноведческий характер.

Орфография документов приведена в соответствие с современными нормами. Авторская пунктуация в основном сохранена, как и графика авторских выделений (подчеркивания, прописные буквы). Редакторские конъектуры заключены в квадратные скобки. Типовые сокращения не раскрываются. Примечания составителя подразделяются на концевые (обозначены арабскими цифрами и помещены в конце сборника) и под-

[2] *Беляков В.* По следам «Пересвета»: Россияне в Египте. Каир, 1994; *Он же.* Приютила Африка Жар-птицу: Россияне в Египте. М., 2000; *Он же.* Русский Египет. М., 2008.

страничные (обозначены римскими цифрами и даются внизу страницы). Сноски И.Я. Билибина обозначены звездочками и приводятся внизу страницы.

Я выражаю искреннюю признательность сотрудникам Архива русского зарубежья (Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой») Д.А. Беляеву и И.В. Булековой за подготовку к публикации писем И.Я. Билибина к Л.Е. Чириковой, а также Е.Е. Чирикову (Минск) за предоставленные документы из семейного архива.

Владимир Беляков

Страница из книги судьбы

Из «Автобиографических записок» И.Я. Билибина

<...> В 1920 г., я (так было написано в книге моей судьбы) попадаю в совершенно новую и чуждую, но драгоценнейшую для художника обстановку, в Египет, где живу и работаю пять лет.

Я никогда не забуду того потрясающего впечатления, когда я впервые попал в старинные мусульманские кварталы Каира, с изумительными мечетями первых времен Хеджира, с его рынками и его толпою. Мне казалось, что передо мною ожила одна из страниц «Тысячи и одной ночи»; не верилось, что все это существует в натуре.

А в 17 килом[етрах] от Каира (туда, между проч[им], ходит трамвай)[1], среди мертвой пустыни, которую не могла бы победить никакая культура, высятся пирамиды царства Древнего Египта, сложенные из циклопич[еских] глыб камня, по одним предположениям, за 3500, а по другим – более чем за 5 тысяч лет до нашей эры[2]. Дважды я ездил в Верхн[ий] Егип[ет], где еще стоят великолепные, величеств[енные] храмы Нового царства, т.е. приблиз[ительно] 1200 л[ет] до нашей эры. Незаметно для себя я втянулся в изучение егип[етского] стиля и вывез оттуда много документального материала.

Лето 1924 г. мы с моей женой, художницей Щекатихиной, проводим в Палестине и Сирии: Иерусалим, Мертвое море, Галилея и Дамаск. Продолжение восточной сказки.

Делая самый краткий очерк моей худож[ественной] жизни, я упускаю все детали. К сожалению, из восточных этюдов на руках у меня осталось очень мало.

Покупатели наивно думают, что они доставляют нам удовольствие, оставляя нам вместо наших подчас любимых детищ грязные кредитные билеты. Но... без этих билетов не проживешь! <...>

I

Бегство в Египет

Из Новороссийска – в Александрию
на пароходе «Саратов»

В.Е. Чирикова-Ульяницева

По морям

Папа[3] относительно выезда за границу колебался. Мы с сестрой[4], окруженные паническими слухами беженцев, пользовались всяким случаем, чтобы отослать записочку в Крым[5], и умоляли маму[6] отправить папу за границу. На общем совете с Иваном Яковлевичем мы решили ехать в Константинополь с намерением оттуда переправиться в Прагу. Там мы с сестрой могли бы учиться и работать. С художественным оформлением книг, как говорили Ивану Яковлевичу, там тоже дело обстояло лучше, чем в других славянских странах. В Праге папу знали, любили и звали его туда, поэтому мы надеялись соединиться там с нашей семьей.

Иван Яковлевич продал своему меценату[7] несколько этюдов и лист со Святогором. Тотчас, как он сделался Крёзом[8], он по-рыцарски предложил отвезти нас за границу. Пройдя через горнило всяческих хлопот и миссий, очередей среди испуганных и растерянных претендентов в эмигранты, мы наконец 21 февраля[9] поднялись на борт парохода «Саратов»[10]. Чтобы избежать скопления на пристани панически настроенной толпы и давки, пароход отвели к цементному заводу и там стали производить посадку. На пристани стояла только небольшая печальная кучка провожающих. Прощанье было суровым, быстрым и драматичным. Две красивые и юные женщины прощались со своими тоже молодыми и красивыми мужьями – очевидно братьями, оставшимися прикрывать эвакуацию Белой армии. Какая-то дама то рвалась, как безумная, на сходни к своим двум детям, уезжавшим со старушкой-няней, то сбегала вниз и металась по берегу. Когда пароход отчалил, она упала без чувств. Мы предположили, что ей пришлось выбирать между безопасностью детей и где-то воевавшим любимым мужем. Но это оказалось не так: она выбирала между детьми и бриллиантами, где-то ею оставленными.

Когда кучка провожающих на берегу за расстоянием стала совсем маленькой, какой-то грубый мужской голос крикнул с облегчением и залихватски весело: «Прощай, Марья Ивановна!»

Но нам было невесело. С Марьей Ивановной оставалась наша Родина со своей загадочной нелегкой судьбой, оставалась русская земля, и маленькая ниточка ее видимости вот-вот готова была порваться. Иван Яковлевич грустно смотрел вдаль. Может быть, он думал как раз то, что сказал однажды о себе и нашей юности: «Нам, певчим птицам и цветам человечества, трудно петь и цвести в такие тяжелые времена».

Ехали мы в полутемном трюме, в тесноте и духоте. Беженцы спали на полу, сбиваясь семейными кучками. Безостановочно стоял крик и плач детей. Большинство пассажиров – народ совершенно неимущий, главным образом семьи военных. Были и одинокие их жены, глубоко волновавшиеся за судьбу своих мужей. Одна из них каждую ночь поднималась на пустынную палубу и, стоя на коленях, часами горячо молилась. Были и купеческие семьи, захоронившие свое серебро и золото в разных уголках русской земли. Теперь удрученные старики уже почти ничего при себе не имели, кроме своих великовозрастных Нюр, Маш и Кать да иконы Спасителя в барахлишке. Но были, как редкость, и столичные барыни, потерявшие почву под ногами, но не потерявшие своих привычек. Одна из них, за неимением горничной, превратила в таковую свою семилетнюю дочь и все время заставляла ее себе прислуживать. Вот такая же, очевидно, барыня потом застрелилась в Югославии, оставив в полном сиротстве свою девочку и записку, что она не может жить без красоты. Были мальчишки, воевавшие на Кубани, теперь работавшие на нашем пароходе кочегарами и матросами; генеральши, ехавшие в каютах; кое-кто из харьковских профессоров, врачей и литераторов. Маленький Сергей Яблоновский[11] встречался с нами на палубе и заговаривал нас до полусмерти. Он мог приводить на память целые страницы прозы из русских классиков. Иван Яковлевич затеял с ним своеобразную игру: заставлял его процитировать какое-нибудь четверостишие из русских поэтов, где бы встречалось заданное слово. И на самые прозаические слова, как, например, сапоги и простокваша, Яблоновский давал моментальный ответ.

Спускаясь в темную трюмную дыру, мы думали, что наше путешествие продлится дней пять, на деле оказалось – три недели. На пароходе стали распространяться сыпной тиф, скарлатина и корь. Больные в ужасных условиях лежали рядом со здоровыми. Пароходный лазарет был всего на десять мест. «Саратов» поднял особый флаг, сигналивший, что на его борту есть заразные больные.

В своем путешествии мы проплыли по четырем морям: Черному, Мраморному, Эгейскому и Средиземному. Около Константинополя наш пароход стоял на рейде пять дней. От красоты Босфора у нас захватило дух: не верилось, что на земле существует такая сказочная красота. Тихая вода казалась необычайно легкой, шелковой и теплой, а небо как тончайшая розово-голубая вуаль. На зеленом берегу Босфора в кущах деревьев прятались нарядные белые виллы и дворцы.

У Константинополя, как только мы стали на рейд, нас окружили турецкие фелюги[12] с ярко-красными и оранжевыми парусами, украшенными желтым полумесяцем. И тотчас появились на борту турки со своими, для нас баснословно дорогими товарами – фруктами и сластями. Некоторые дамы отдавали им кольца за несколько апельсинов или шоколад. Иван Яковлевич стремился осмотреть Константинополь, мы тоже мечтали об этом, но пришлось только издали любоваться этим древним городом: на берег никого не пускали из-за нашего карантина. Тем не менее на борту парохода нас разыскал, по просьбе отца, представитель чешского посольства и передал от имени посла, что Билибину и нам будет оказано всяческое содействие как в Константинополе, так и в Праге. Мы же, очарованные красотой Востока, теплом юга, возможностью побывать на Кипре, решили пока в Прагу не ехать. Мраморное море мы нашли тоже обворожительным, хотя не таким живописным и роскошным, как Босфор. У Мраморного моря и всей атмосферы над ним было больше сиреневых и розовых тонов, от чего море казалось перламутровым, а по матовости всех красок оно походило и на мрамор. Из всех морей это было самое светлое и самое безмятежное.

Людмила сидела на палубе с драгоценной книгой стихов, которая была ей доверена Сергеем Яблоновским под условием самого бережного отношения. К ужасу сестры, она выронила книгу на

палубу, по которой матрос только что прошелся мокрой шваброй, и обложка стала мраморной. Сестра побежала к Ивану Яковлевичу посоветоваться, как исправить это несчастье. Через полчаса была написана поэма «Мила на Мраморном море», которая так растрогала Яблоновского, что грехи сестры были прощены. С Билибиным и обоими Яблоновскими (Сергеем и Александром[13]), вооруженные биноклями, мы следили за берегами Малой Азии. Билибин показал нам, где была Троя[14]. Потом так же благоговейно мы встречали и провожали глазами остров Лемнос и не уступавший Босфору по красоте Греческий архипелаг. Острова точно висели в воздухе и расплывались в дымке нежных красок.

С большой заинтересованностью мы подплывали к острову Кипр. Билибин все восторгался комбинацией «мятежных гор» и «зеленых равнин» и пошутил:

– Все это, как я с вами. Вы все еще куда-то по молодости лет вздымаетесь, а я ищу зеленых равнин для успешного творчества.

Быть обитателями Кипра нам не удалось. Кипр не принял нас, опять же из-за нашего флага: карантинных помещений у него не оказалось. Фамагуста – совсем маленький порт, закрытый, как ширмой, зелено-кудрявым высоким холмом. Иван Яковлевич показал нам где-то сбоку на высокой скале замок мавра Отелло.

После трехчасовой стоянки наш пароход пошел дальше в Египет. Во все время нашего путешествия нам сопутствовала ясная и тихая погода, и только два последних дня перед Александрией нас сильно качало. Каждая вздыбленная стеной волна низвергалась, как в пропасть, в кипевшую пучину, и тут же яростно накатывала другая. Зрелище великолепное, и мы все испытали то упоение на краю бездны, о котором писал Пушкин.

Л.Е. Чирикова-Шнитникова

Последний кусочек России

Переписано с листочков, которые сохранились.
21 июля 1965 г., Америка.

Новороссийск, 21 фев[раля] 1920 г. <...> Пароход «Саратов». Спуститься по трапу уже запрещено. Без конца горе! Нас провожают тысячи глаз... Они впиваются и мучают нас. На что, на какую судьбу расстаются семьи и любящие? Чувство грусти, жути и растерянности... Корабль медленно отплывает... Провожают Ж[итков] и Б[ейлинский]. Очень жаль их (Житков и Бейлинский). Через два дня будем в Константинополе, еще позже будем жить в европейской стране, будем слушать музыку и смотреть на произведения искусства. И не будет чувства, что все это ни к чему, не нужно, когда гибнут и умирают люди... Надежда эта окрыляет и ведет за собою другую надежду: мы будем много и с увлечением работать...

Мы уже далеко отъехали от берега. Сумерки сгущаются. Слежу за фигурами Ж[иткова] и Б[ейлинского] – как два нахохлившихся скворца. И вот уже их не разобрать...

В России нельзя работать – можно только убивать или бежать от убийства. Так жаль оставлять друзей и родных! Наше место в трюме, но на 4, 5 дней можно пренебречь.

23-го февраля. Каваки. Стоим на рейде при входе в Босфор. Голубеют горы, скрывая за собой тайну. На нашем корабле желтый карантинный флаг. Наделает он нам вреда. Много тифозных больных. Бросилась с парохода женщина – ее спасли.

24-го февраля. Плывем по Босфору. Раннее утро. Стоим на самом носу. Дворцы, минареты и селенья отражаются в глади. «Маленький» Сергей Яблоновский читает нам на память стихи о Востоке. С берега веет чужим и новым, но мы проплываем мимо из-за карантина. Впиваемся глазами в берег. Но вот уже плывем мимо Принцевых островов. Остановились в Тузле на азиатском берегу.

24, 25, 26 фев[раля]. Тузла. Стоим на рейде. Говорят, будут нас купать. Ходят разные сплетни.

27-го фев[раля] возвращают нас в Константинополь на рейд и оттуда на Кипр. Едем Дарданеллами мимо древней Трои. Яблоновский «маленький» без остановки болтает – правда, об интересных вещах. Молчать он не умеет в отличие от «большого» Яблоновского (Александра).

3, 4 марта. Плывем архипелагом – Эгейским морем. Пейзаж как бы лунный – весь в дымке. Синие тона на горах по островам и сами островки на горизонте словно висят в воздухе. Мы в каком-то фантастическом и невесомом мире. Какая разница с вшивыми и нагруженными теплушками вагонов, а все это еще так недавно было наяву...

5 марта. Едем Средиземным морем, подъезжаем к Кипру. Какая-то крепость и готические развалины аббатства, на берегу масса туземцев. Город подарил нам два воза чудных апельсин. Их привезли очень живописно на мулах. Весь пароход грызет их с жадностью. Ив[ан] Як[овлевич] (Билибин) все восторгался комбинацией «мятежных гор» и «зеленых равнин», пошутил, что все это как мы с вами. Вы все еще куда-то по молодости «вздымаетесь», а я ищу «зеленых равнин» для успешного творчества.

6, 7, 8 марта. Фамагуста. Стоим и стоим. Говорят, что нас не выпустят здесь из-за больных и заразы. Условия в трюме уже делаются нестерпимыми. Спим там вповалку на грязном полу. В углу служат панихиды священники по умершим со свечами. Все больше заболевает людей тифом. Нам объявляют, что отплываем в Александрию, где есть карантин, удобный для принятия нашей эмиграции.

12 марта. На рейде в Александрии. Пески и пальмы.

14 марта. Выгружаемся партиями на барже, и отдельный поезд принимает нас на берегу. Последний взгляд на кусочек России – пароход «Саратов». Мы все не знаем, что нас ожидает на берегу. «Гости короля Георга[15]» (эвакуация на «Саратове» была на средства короля Георга) измучились и устали от месяца жизни в трюме. На берегу группа египтян в халатах. Мы смотрим на них, они на нас.

Приезжаем в карантин. Первая группа уже в загонах за решетками, как звери в зоологическом саду. Наконец, говорят, совершится «купанье»!!

15 марта. Нас купает эфиопка, торопит, хлопая по плечу, удивляется нашей белой коже и действует весело и решительно, выпуская в ванной из-под нас воду. Мы на хороших постелях под пологом от москитов. Наконец стадная жизнь слегка полегчала. Все помылись и успокоились. Заснув первую ночь на роскошной кровати, я увидела сон – все было как в сказке «Тысяча и одна ночь». Я плыла и плыла по каким-то каналам с минаретами или крепостями, шли торговцы, как в балете Дягилева[16], и девы, как на рисунках Бакста[17]. А пальмы все качали свои ветви, как на нашем дворике, и каждая из них повторяла какое-то свое ритмичное движение... Было сладко и спокойно спать.

Наутро узнала, что у проф[ессора] Фенина умер младший мальчик...[18]

16, 17, 18, 19, 20 марта. Истеричные дамы уверяют, что все мы наденем синие халаты, как военнопленные, с номерами, и будем жить в лагере. Взрыв негодования от неблагодарных гостей короля Георга. Пишут петиции кто о чем, кто о детях, кто о собачках...

26 марта. Нас везут в лагерь Телль-эль-Кебир[19].

Краткие сведения об эвакуации из Новороссийска и прибытии в Египет на пароходе «Саратов» русских беженцев

На пароходе «Саратов» англичане эвакуировали из Новороссийска главным образом семьи офицеров Добровольческой армии, лиц, служивших в министерствах и учреждениях Добрармии и в Отделе пропаганды, а также всех невоеннообязанных, имевших основание с вторжением большевиков считать себя в опасности.

Возраст для последней категории лиц был определен начиная с 50 лет.

Накануне посадки на пароход 20 февр[аля]/4 марта было объявлено, что одинокие мужчины, хотя и отвечающие всем вышеупомянутым требованиям, вывезены не будут, благодаря чему, в числе многих, лишены были, между прочим, возможности уехать редактор и сотрудники газеты «Приазовский край», всецело работавшей на оборону.

21 февр[аля]/5 марта утром началась посадка беженцев на пароход, закончившаяся к 3 часам следующего дня.

На борт было принято 1401 чел[овек], несмотря на то что места на пароходе рассчитано было на 800 чел[овек].

Такая перегруженность до некоторой степени объясняется тем, что в последнюю минуту были эвакуированы не входившие в первоначальный план 300 кадет Донского и Владикавказского корпусов.

За исключением нескольких десятков лиц, устроившихся в каютах и кают-компании, все пассажиры помещались во время трехнедельного плавания в трюмах без коек, нар и каких бы то ни было приспособлений, на полу в крайней тесноте.

Разделение на «трюмных» и «каютных» пассажиров произошло совершенно случайно, иногда более удобными местами пользовались молодые, так называемые рядовые люди, а в промозг-

лом воздухе трюмов жались женщины, дети, выдающиеся общественные и политические деятели, полные генералы, заслуженные профессора, писатели и художники.

Кадеты, несмотря на холодную сырую погоду, спали на палубе.

Из Новороссийска «Саратов» отошел 22 февр[аля] ст[арого] ст[иля] около 6 ч[асов] вечера; 24 февр[аля]/8 марта пароход выкинул, при входе в Босфор, карантинный флаг.

Предполагался карантин в Каваках, затем в Тузле, и пароход несколько суток стоял у этих пунктов, делая рейсы взад и вперед.

Наконец, 1/14 марта «Саратов» был направлен на остров Кипр в город Фамагусту, куда прибыл 5/18 марта в 4 часа дня.

По прибытии пассажирам были объявлены правила высадки, часть багажа была выгружена на пристань, как местожительство указывался лагерь военнопленных турок.

Небезынтересно будет отметить, что в присланных комендантом лагеря письменных правилах категорически воспрещалось русским беженцам вступать в какие бы то ни было разговоры с турками.

Английский комендант этого лагеря сожалел, что условия жизни в концентрационном лагере первое время не будут соответствовать тому, что хотелось бы предоставить русским беженцам, и выражал надежду, что русские всячески помогут властям в их начинаниях, направленных к улучшению лагерей.

Затем объявлено было, что беженцы на Кипре высажены не будут, и 10/23 марта «Саратов» отошел в Александрию.

Раньше, когда «Саратов» проходил Принцевы острова, часть пассажиров, имевшая здесь родных, просила разрешения сойти; разрешение было получено, но воспользоваться им смогло всего несколько лиц, не имевших тяжелого багажа, лица же, имевшие таковой, должны были продолжать свой путь дальше ввиду полной невозможности достать его из трюма, так как багаж 1500 человек был свален туда совершенно беспорядочно и квитанций на него выдано не было.

В Александрию беженцы прибыли 12/25 марта, разгрузка же парохода началась на следующий день, 13/26 марта.

В первую очередь были свезены на берег и отправлены в госпиталь коревые дети и сыпнотифозные больные. Кадетский кор-

пус, а затем уже и остальные пассажиры перевезены были в Сиди-Габер (под Александрией)[I] для отбывания карантина, где их и разместили, после весьма поверхностной дезинфекции, правда, [в] обширных, но совершенно неприспособленных для женщин и детей помещениях с нарами, на которых были накиданы матрацы и одеяла. Здесь беженцы провели 10 дней.

24 марта/6 апреля выехала из Габера первая партия беженцев, состоявшая из женщин с малолетними детьми и слабосильных, недавно оправившихся от болезни, а 25 марта/7 апреля и вторая; сюда вошли все остальные беженцы, кроме больных, как взрослых, так и детей и их родителей, оставшихся в Александрийском госпитале в количестве около 150–200 человек.

При посадке в вагоны говорили, что везут в Каир, точных сведений не было, и только в пути выяснилось, что новым местожительством будет лагерь военнопленных турок в Телль-эль-Кебире. Езды туда по жел[езной] дор[оге] от Александрии 6 часов.

Лагерь расположен в пустыне, жильем служат палатки, в которых и разместили прибывших беженцев, причем женщин поселили в один лагерь, мужчин – в другой. Разбитые таким образом семьи были соединены только впоследствии при переселении беженцев в соседний лагерь.

Большая часть беженцев и до сих пор находится в Телль-эль-Кебире, меньшая, 150–200 чел[овек], переведена в новый лагерь под Александрией[20].

Лагери окружены колючей проволокой, разрешение на право выезда из кампа[II] в Каир или другой город дается английским комендантом.

Последнее время пассы[III] стали выдаваться только на один день и не больше как 5-ти лицам за раз, т.е. на день.

3/16 апр[еля] было вывешено объявление, в котором указывалось, что русские беженцы, желающие куда-нибудь поехать, должны представить во 1) билет на обратный проезд, во 2) достаточную на поездку сумму денег, в 3) должны быть прилично одеты.

[I] Ныне входит в черту города.

[II] Искаж. от camp – лагерь (*англ.*).

[III] Pass – пропуск (*англ.*).

Запрещалось ездить с целью приискания работы и предупреждалось, что лица, не имеющие достаточно средств на обратный проезд в Каир, будут доставляться в лагерь этапным порядком.

В самом Телль-эль-Кебире беженцам разрешается выходить из лагеря только до границы культивируемой земли, т.е. предоставляется находиться исключительно в пустыне.

На базар пускают только по пассам (пассы выдаются вполне свободно русским комендантом).

Все эти строгие меры вызваны отчасти дурным поведением отдельных лиц из среды беженцев, а распространены, к сожалению, на всех.

[*подпись*] *А. Круглова.*
(на основании сведений, данных С.В. Яблоновским
и своих личных наблюдений)

II

Восточная сказка

Письма И.Я. Билибина
из Каира друзьям в Европу

Г.<К.> Л<укомский>

Как живет и работает И.Я. Билибин

Писали уже несколько раз о художнике Ив[ане] Як[овлевиче] Билибине: иногда сведения эти были оккультические, а иногда просто тревожные.

К первым я отношу известие, что этот художник «оказывается, жив» и живет (сразу) в Софии и Праге, где и работает.

Позже сообщалось, что художник Билибин просто-напросто пропал, исчез и найти его нет никакой возможности.

Дальше. Какой-то немец написал, говорят, книжку о русском искусстве и художниках в период революции и там будто бы черным по белому прописал, что Билибин умер. Это уже посерьезнее. И вот, извольте теперь реабилитироваться и снова записываться в списки живых.

Последние краткие сведения о его российской жизни таковы: с сентября 1917 года по сентябрь 1919 года он проживал в Крыму (подтвердит С.Ю. Судейкин[21]). До декабря 1919 года он находился в Ростове вместе с Е.Е. Лансере[22], затем бежал в Новороссийск. Спал на полу, в вагонах, в каких-то канцеляриях, в чужих гостиных, неустанно охотился на вшей, словом, прошел полный курс образования и затем, попав в английскую эвакуацию, был опущен с толпой беженцев на самое дно трюма парохода «Саратов», отплывавшего неизвестно куда. Вероятно, художника Билибина заели в трюме вши и он умер...

Но в том-то и дело, что это была только кажущаяся смерть, превращение в куколку, метампсихоза[23]!

Это ложно-мертвое состояние продолжалось и во время стоянки в Босфоре в виду Св. Софии, и в водах Мраморного моря, и среди островов Архипелага, и перед развалинами в городке Фамагуста на острове Кипр, и в карантине за чертой града Александрии, и за колючей проволокой отвратительного, раскаленного

концентрационного лагеря в Телль-эль-Кебире, затерявшегося в песках пустыни, и только, наконец, в славном городе Каир художник И.Я. Билибин, член об[щест]ва «Мир искусства»[24], снова родился, живет в громадной и прекраснейшей мастерской на улице Антик-Кхана 2а[1] целых 8 месяцев и очень много работает.

Вот все точные, фактические сведения. Дальше же повествование пойдет в первом лице (цитирую отрывки из его писем, полученных одним его другом).

«Живу, следовательно, в Египте. Сам сюда не ехал, нас привезли. Это был самый неподдельный рок. Сперва я не знал, быть ли мне довольным или недовольным. На пароходе я мечтал об этюдах среди эллинского пейзажа, думая, что именно на Кипре я найду то, о чем я строил планы, но на Кипре нас не высадили, убоявшись того, что на пароходе было много сыпнотифозных, и высадили нас в Александрии.

После долгих мытарств я обосновался в Каире. Работу я нашел, но денег дают ужасно мало, так что живу я на старости лет совсем студентом, словно мне двадцать лет. Временами это раздражает, так как нельзя купить нужной книги или какой-нибудь живописной старой тряпки. Все же коекакие книги, необходимые как материал для работы, хотя и с трудом, но куплены.

Египтов, как вы знаете, два: древний, классический, и мусульманский. Прежде всего, первым номером, меня зачаровал второй, так как он понятнее нам и ближе. Кроме того, мусульманская старина, если хотите, жива и сейчас, а жизнь осталась почти та же. Мусульманские кварталы в Каире очень специфичны, архитектура великолепная, старины очень много, и тут же кругом базары, лавчонки, торговцы, нищие, бедуины, негры, верблюды, разукрашенные ослики, ковры, сладости, фрукты – словом, садись и рисуй восточную сказку.

Другой Египет – древний, величественный, непонятный и страшный – молчит, и насколько оглушительно

[1] На самом деле – в доме 13.

крикливы, до боли в ушах, все эти разноцветные люди, от белых до негров, в фесках и тюрбанах, настолько же тихи и бессловесны остатки того далекого мира.

Моя работа не пристала ни к тому, ни к другому Египту, и специальностью моей сделалась Византия.

Я делаю большую декоративную картину, 5½ метров на 2½, которая украсит комнату в византийском стиле одного богатого грека[25]. Размеры, как видите, для меня необычные, но очень интересно. Работаем над нею уже 8 месяцев, вероятно, придется проработать еще месяца два. Пишу "работаем", потому что у меня есть две подмастерицы ("коллаборатрисы"[1]), мои две ученицы: Л.Е. Чирикова и О.В. Сандер, урожденная Белобородова[26] (моя ученица по "Поощрению"). Конечно, по неопытности, работа пошла гораздо медленнее, чем могла бы пойти, и если я получу вторую аналогичную, то, наученный опытом, я сделаю ее гораздо быстрее.

На картине есть император с императрицей, и процессия мужчин и женщин, и иконный город, и много орнаментики. Стиль – приблизительно VI-го века, юстиниановской эпохи[27].

Далее, получил заказ на несколько икон для одной небольшой греческой церкви. Мечтаю проникнуть в большой кафедральный греческий собор – обещать обещают, но здесь, вообще, страна обещания на ветер...

Плата за все ужасно мизерная. Еле-еле хватает на жизнь. Пища готовится дома, на примусе. Напитков-с не потребляем-с вовсе, так что этого расхода нет. Единственное развлечение – кинематографы. Торговаться нельзя, ибо беженец и санкюлот[28] – бери что дают, да и то еще благодари Бога. Мелких работ мало. Сделал три карандашных портрета и все. Здешняя публика предпочитает раскрашенную фотографию. Моей любимой работы, книжной – нет вовсе. Египтяне, т.е. попросту арабы, носящие пиджаки, говорящие по-французски и корчащие из себя парижан, еще очень далеки от эстетических потребностей. То, до че-

---

[1] От collaborator – сотрудник (*англ.*).

го они дошли, это – любовь к автомобилям и сидение (совсем comme en Europe[1]) за столиками в ресторанах. Очень любезны и столь же жадны на деньги. Платить очень не любят. Охотно делают вам чуть ли не миллионные обещания, из коих решительно ни одного никогда не исполняют. Получить заказы у султана, принцев или богатых пашей – невозможно. Всюду имеются присосавшиеся, бездарные какие-то архитекторы или художники-итальянцы, главным образом, и они, конечно, свежего человека не пропустят.

У меня здесь рухнул один очень крупный, наклевывавшийся заказ: роспись в очень большом коптском храме. Стиль тот же византийский. Дело провалилось (с руганью и скандалом), потому что я не понял, что я должен был дать взятку.

Все же дела, как кажется, хотя и медленно, но идут на улучшение, и в другие страны я поехал бы лишь тогда, если бы получил вполне конкретное предложение – приезжай, мол, на такую-то определенную работу. В Каире меня начинают знать. Я – единственный настоящий художник на весь Египет (это не бахвальство, а именно так!). Все остальное – ниже даже уровня о[бщест]ва петербургских художников. Казалось бы, положение блестящее! – один на целую страну, никакой конкуренции, словом, золотые россыпи, а на самом деле еле удается чинить подметки. Ну, да все это ерунда! Зато здесь удобно работать, и главное – идеально тихо и спокойно. Мастерская моя такова, что мог бы в ней писать "Последний день Помпеи"[29]. Находится она в саду, в саду же розы и пальмы.

В ближайшее время я в Европу не хотел бы ехать. Мне хотелось бы, пользуясь моим отшельническим состоянием, сделать что-нибудь значительное и тогда уже совершить великий выезд. Ведь если я привезу только эскиз своей большой вещи, то ведь это только эскиз и будет. Пожалуй, вы мне и не поверите, что я делаю вещь, которая может поместиться только в большой мастерской и для которой,

---

[1] Как в Европе (*фр.*).

чтобы прокрывать верхние части, нужно пользоваться лестницей.

Очень хотелось бы сделать нечто второе – уже для себя, но только не знаю, удастся ли – вопрос времени и, главное, денег. Оборудование такой вещи – целое финансовое предприятие: это не графика, которая, с точки зрения материала, стоит гроши.

Не хотелось бы пропустить и Палестины, раз находишься в двух шагах от нее.

Но порою меня очень тянет в Россию, и в частности в Крым. Я стал более ярым националистом, чем когда-либо, насмотревшись на всех этих носителей культуры – англичан, французов, итальянцев и пр. Только сейчас начинаем чувствовать, как много мы потеряли. Может быть, это потому, что я живу все-таки в провинциальном городе, в Каире, а не в Париже. Вашу же жизнь мы знаем только по кинематографу (т.е. видим ее). Получается впечатление, что у вас там постоянно открываются какие-то памятники разным генералам, президенты делают смотры войскам, хоронят "неизвестного" солдата, награждают ветеранов франко-прусской кампании, да еще какие-то ловкачи плывут взапуски по Сене».

Такова в кратких, но ярких чертах жизнь И.Я. Билибина, одного из лучших русских художников, одного из лучших «графиков» в мире.

Письмо И.Я. Билибина П.И. Нерадовскому

17 января 1924

17 января 192[4, Каир][30]

Дорогой Петр Иванович,

Месяц тому назад я почти дописал до конца одно довольно длинное письмо к Вам, но не дописал; письмо залежалось; сегодня я перечел его и остался недоволен. Пишу наново.

Вот уже четвертый год, что я пекусь под солнцем Африки; когда испекусь и кушанье мое будет готово, то поеду куда-нибудь сервировать его, туда, где меня примут с почетом и вообще как подобает. Один добрый знакомый когда-то говаривал обо мне, что я «поздно развивающийся ребенок», так что я, следуя его заветам, тщусь расти до сих пор. Может быть, когда-нибудь Вы слышали одним ухом, что я сильно поливал это самое мое пресловутое растение разными видами и сортами алкоголя, но теперь я убедился, что поливка эта ни к чему, что растение от этого только чахнет, а потому я окончательно отказался от этого.

Делаю все: портреты, пейзажи, декоративные композиции во всех стилях и в любых размерах от миниатюры до полотен в 5,5 метров длины.

Жизнь чертовски коротка. Мы, художники, должны были бы, говоря вашей терминологией, получать, по крайней мере, утроенный жизненный паек; а то что за свинство, уж из жгучего брюнета превращаешься в сивого, положим, еще не мерина, но все же в какого-то дядюшку. Впрочем, Александра Васильевна[31] утверждает, что у меня больше черного, чем белого, а я все же настаиваю, что я blanc et noir[1].

Египта описывать Вам не стану. Страна многими и много описанная. В общем итоге я ею больше доволен, чем недоволен. Всякого материала, конечно, неисчерпаемое количество. Это и хоро-

[1] Белое с черным (*фр.*).

шо, а может быть, и худо, ибо разбрасываешься, и получается недержание фантазии, как говаривала одна дама про другую.

Не имея возможности коллекционировать (да и стоит ли, когда собираешь, собираешь всю жизнь, а потом все разлетается, как пыль), я очень много снимаю. Я много снимал и по Древнему Египту, и по арабскому искусству, но что очень близко моему сердцу – это так называемое коптское, а по-моему, просто довизантийское искусство египетского производства, но совершенно без прежних древнеегипетских традиций. Это – предок (и прямой, а не боковой) и нашего русского искусства. Я бы очень хотел издать <...>[1] мои материалы. Снимки у меня хотя и маленькие (9 × 12), но очень резкие и отчетливые. Можно сделать любое увеличение.

Не могу ли я быть Вам как-нибудь полезен в этом отношении?

Как много можно было бы здесь сделать и для музеев и школ России, если бы были финансовые возможности! Многие музеи и археологические общества разных стран посылают сюда своих рисовальщиков, которые делают снимки с натуры (например, со стенописей в гробницах в Верхнем Египте), причем некоторые работают далеко не первоклассно. Была бы у меня артель подмастерий, то я показал бы всем этим американцам и французам, где раки зимуют.

Ну, конечно, это деталь.

Главным же образом надо, конечно, рисовать и рисовать, что и стараешься делать. Работать здесь трудно, ибо в художниках здесь не нуждаются[32] и вообще не поняли бы разницы между работой Сомова[33] и какого-нибудь полковника, рисующего с фотографии или с картинок женские головки, чтобы не подохнуть с голоду. Начал я свою художественную деятельность сначала, во второй раз в жизни, а теперь на четвертый год моей египетской жизни уже начинаю видеть и чувствовать, что положение стало крепче и увереннее. Здесь есть или заказчик более или менее крупный, или же – никого. У меня эта тяжелая артиллерия, к счастью, не переводится и, хотя сбережений делать не могу, но живем сносно: мастерская громаднейшая и чуть-чуть начал обрастать и книжками по искусству. Есть несколько очень хороших

---

[1] Так в публикации.

увражей[34], а то ведь я все, все потерял. Художественного общества здесь нет, но есть спокойствие, полная свобода и сознание, что над тобою только синее небо. Дом мой – крепость моя; и только это сознание и дает художнику постоянную возможность работать и прославлять Творца так, как ему хочется.

Привет от меня моим коллегам по «Миру искусства».

Уступаю последнюю страничку Александре Васильевне[I]. Она слаба, и здоровье ее сильно надорвано. Ей надо основательно отдохнуть и полечиться. Ну, всего Вам хорошего. Желаю Вам сил и возможности продуктивной работы.

Буду очень рад, если напишете, адрес мой:

13, Sharia Antikhana; Le Caire; Egypte[II].

Жму Вашу руку.

Ваш И. Билибин

[I] Далее приписка А.В. Щекатихиной-Потоцкой, в публикации отсутствует.

[II] 13, улица Антикхана, Каир, Египет (*фр.*).

III

Из Каира — с любовью

Письма И.Я. Билибина
Л.Е. Чириковой

I

Ранее 3 мая 1920

1920 год, понедельник. «О княгине».

Милая Людмила Евгеньевна,

Я зашел бы лично, но еще очень рано, Вы, вероятно, еще спите или только встаете; я же тороплюсь на свидание со своим итальянцем.

Я хочу, чтобы Вы это прочли до похода за шелками вместе с этим самым княжным евреем.

Я не спал с 5 ч[асов] утра и все время думал об этом, страшно беспокоился, мысленно произнес громовую речь по адресу княгини и разнес ее в пух и прах; а потом встал и начал писать Вам. Оно и лучше: по крайней мере, изложишь стройно свои мысли.

Понимаете ли, с появлением княгини, а потом ее еврея прибавился какой-то новый элемент, неприятный, оскорбительный, житейско-мерзкий и (извините за выражение) вонючий.

Вы были бесконечно очаровательны, и я так любовался Вами и радовался за Вас, когда Вы, как молодая птичка, порхали в Вашем самодельном славном наряде с милой и какой-то детской грацией. Все было так чисто и так неприкосновенно. Было понятно, что этот якобы балет Вам необходим, что Вы молоды, что Вы хотите попрыгать, блеснуть своей внешностью, повертеться и повеселиться. Конечно, это не есть «дело». Но если и эта Ваша забава дает Вам возможность получить пиастры[35], то, что же, и слава Богу!

Но вот появляется княгиня, отвратительная надувшаяся жаба, с каким-то темным евреем, и милая детская игра превращается в унизительную житейскую прозу. Да и сама-то княгиня, кто она такая? Известно ли ее прошлое? Ведь всякая женщина, выйдя замуж за князя, становится княгиней.

Получилось впечатление, что и на Вас и на других она плюнула, а Вы не могли ей ничем ответить. Подлая «благотворительница»!

Ради Бога, будьте осторожны, когда пойдете с этим евреем (черт его знает, куда он Вас поведет), и если не рассердитесь на мой совет, то с самого начала заявите ему, что если им нужна эта самая шелковая юбка, то пускай делают, что сами Вы шить не желаете и не будете и что, во всяком случае, Вы от нее в дальнейшем отказываетесь. Непременно скажите ему; пускай негодяи знают и не задирают своего носа!

Все княгинины юбки не стоят этой милой самодельной синей юбочки, когда Вы, в момент сомнения в надежности Вашего старого друга, шили ее.

Поэтому-то я боюсь того момента, когда Ваше дело превратится в дело настоящей странствующей труппы; в разных городах появятся новые «княгини» с новыми темными евреями, и вообще, с новой грязью, опасностями, неожиданностями и оскорблениями. Пока Вы здесь (хотя бы Вы выступали раз пять или десять) или в Гелуане[36], то есть верные глаза, которые в щелку посмотрят и могут защитить Вас. А представьте себе, Вы в Дамаске; дела труппы, скажем, пошатнулись; опоры нет; положение отчаянное.

Нет уж (опять, извините, совет), танцуйте здесь*.

Поверьте: друзья Вашему веселью не помешают.

Я очень рад, что Левушка (а у него в данном случае был верный нюх) первый заговорил о «бухгалтере с эспаньонкой[1]». Вот, и тихий человек, и корректный, и вежливый, а не верю я ему. Он оставляет на меня впечатление человека, «что-то из-под себя думающего». Он не опора. Если бы он разбогател, то стал бы совсем иным и, во всяком случае, стал бы больше и иначе разговаривать.

Фадеев[37] оставляет хорошее впечатление, но его солидность и деловитость мне не известны, да и вообще я его не знаю.

Балалаечник (как мне говорили другие еще на «Саратове») определенно дрянь. Ну и так далее.

Итак, мой совет (№ 3): танцуйте, кружите и веселитесь в этих местах, но не делайте из этого настоящего «дела».

Дело в Вас другое, наше с Вами общее, вечное и высокое дело, а не малороссийский танец, как бы Вы ни были в нем грациозны и без конца очаровательны[38].

---

* Заработаете на другом деле и сами всюду попадете.

[1] Так в оригинале.

Только не сердитесь на меня, что я, может, сую свой нос туда, куда не следует. Такой уж у меня дурацкий характер. Может быть, и права не имею, а беспокоюсь ужасно. Но все же, княгиня – хороший урок; это – жизнь.

Если поспею, пойду в музей[39]. Может быть, и Вы успеете, и мы встретимся. Простите за многословие.

До скорого свидания. Будьте осторожны!

Ваш И. Б.

P.S. Ведь стенописи будут и в Александрии, как мне говорил мой итальянец. Кроме того, имейте в виду, что у нас здесь будет очень много работы и мы будем сильно заняты; это я говорю как маэстро.

2

3–4 мая 1920

3 мая 1920.

Дорогая Людмила Евгеньевна,

Вчера, ввиду того, что электрическая лампочка висит еще слишком высоко и рисовать вечером пока нельзя, я опять написал Вам страниц 8 какого-то послания. Была там и деловая часть, была и какая-то поэзия.

Сегодня – без поэзии. Сейчас я хочу посмотреть Вам очень серьезно и прямо в глаза, сказать несколько горьких истин, немного поудивляться и погневаться.

Письмо это предназначается только Вам, и если Вы имеете еще право не делиться содержанием писем, то найдите свободное время и одна в палатке[40] прочтите его внимательно. Непременное условие, чтобы читали его Вы в единственном числе.

Хотя за последнее время я причинил Вам много неприятного и горького[41], но все же я еще больше и глубже обижен Вами. Некоторое время я совершенно падал духом и потерял равновесие, а теперь я твердо знаю, что выдержу, что бы там ни было; власть карандаша и бумаги, твердая, трезвая власть. Как у больного апатией, так и у меня возрождается интерес к моему восхитительному и любимому [занятию]. Мои сверхдружеские отношения к [Вам] останутся всегда прежними, но мне тяжко и обидно, что Вы

оказались такой недоброй, такой непонимающей, такой «женщиной» и такой забывчивой.

И если Вы забыли, то хорошо, я напомню. Новороссийск. Первый период наших мытарств, когда вы обе были здоровы[42], я упущу. Мы трое тогда были друзьями, как сестры с братом; допустим.

Затем вы обе заболели, а родители ваши уехали. Я мог тоже уехать. Кто меня держал? Я хотел доказать, что дружба познается в опасности и несчастье, вообще в трудных обстоятельствах. Я был благодарен судьбе за такую данную мне возможность доказательства, и я с радостью для себя остался.

У меня тифа не было. У меня, как Вы знаете, слабое сердце, и для меня тиф мог бы очень легко быть финишем. Я все время это знал. Я ежедневно ходил к вам в больницу. В первый раз меня не хотели пропустить; разве можно к заразным, да еще и тифа [у меня раньше] не было; потом все ко мне привыкли.

А после поблагодарили ли Вы меня, хотя бы в десять раз слабее того, как тепло, горячо и искренне благодарил меня мужчина, и не друг, а просто милый знакомый, Гаря Михайловский?

Я ходил к Вам очень издалека. Иногда пользовался кукушкой, иногда катером (сравнительно маленькая часть пути), но т[ак] к[ак] эти способы сообщения часто отсутствовали, то чаще всего – пешком. Я очень уставал. Часто кто-нибудь из вас просил еще чего-нибудь (вы были как дети, совсем глупенькие), тогда я, через силу, приходил к вам во второй раз. Когда я познакомился с Бейлиным[43], я стал к вам ездить, но это было в начале бейлинского периода и довольно скоро прекратилось. А норд-осты[44]? Их было много. Я только один день норд-оста пропустил; в тот день никто нигде не вышел [из дома]. А то бушует норд-ост, пронизывает холодом до мозга костей, сбивает с ног (какие уж там кукушки и катера), а я со своей корзиночкой с мандаринами, консервированным молоком и еще чем-нибудь пру себе по полю, еле передвигаясь вперед, к своим галчатам-девочкам, думая о них с умилением. Вы, вероятно, этого не знаете?

И все это я делал с самой чистой радостью, что приношу вам обеим пользу и сторожу вас.

Я исполнял ваши малейшие прихоти. Ведь вы, плохо соображая, заказывали мне, как в ресторане: хочу того-то, хочу того-то; вы заказывали очень трудно исполнимые вещи; я из кожи лез,

чтобы достать [их] и большей частью доставал. Перед ценой не останавливался, а цены были громадные. Вы, вероятно, этого не знаете?

Знаете ли Вы, что вы, вероятно, съели урожай целой мандариновой рощи? Я бывал очень доволен, когда вы одобряли мою покупку; вы же часто так говорили: вчера мандарины были маленькие и кислые, принесите побольше и послаще. И я приносил. Вы это тоже забыли.

Все это – мелочи, но из этих мелочей и создается одно большое, а мое отношение к вам было именно, если так можно сказать, большим отношением. Вы ведь вообще очень избалованы своими родителями, а тут у вас были еще притупленные рассудки, а потому вы все принимали как должное и еще часто спрашивали: отчего Вы не принесли того-то. Тоже, конечно, не помните.

Я знаю, что Вас мучает денежный вопрос, будто бы мне много задолжали или нечто в этом [роде]. Мне между прочим говорила об этом одна очень нелюбимая мною женщина, которая незаметно и постепенно вмешалась не в свои дела. Разве можно об этом думать? Тратил я правда очень много, но для Вас (и это Вы знаете и верите, что это так) я бы все отдал и все продал. Наконец, я ничего не записывал, а потому и вернуть мне никто ничего [не] может, да я никогда и не взял бы, т[ак] к[ак] дружба на деньги не оценивается, а это была самая высокая, самая самоотверженная, самая горячая и настоящая дружба.

Жалко, что Вы этого не поняли, а теперь совершенно забыли об этом.

Иногда бывал и пир во время чумы. Мы попивали в агитпоезде с Ломакиным. Ей-богу, эти пьянства я себе более или менее прощаю. Обязанности же свои я всегда исполнял.

Ведь вы лежали спокойно в больнице, а в городе нарастала тревога: большевики все ближе и ближе. За вашими стенами вы ничего не подозревали. Надеюсь, Вы мне не можете не поверить, если я Вам скажу, что я решил, что бы там ни было, верно и преданно оставаться там, где находитесь и Вы.

Вот Вам история одного тифа и история одной дружбы, забытой и затоптанной.

Дальше александрийский пароход. Это уже спокойный период. Ехали мы как добрые друзья.

Людмила Евгеньевна, я строго и серьезно говорю, я только Вам пишу, только Вам одной, и в каком бы гипнотическом подчинении у другого лица Вы (у нового и напрасно появившегося, после поймете) ни были, не делитесь ни с кем содержанием этого письма; подумайте одна, своей мыслью и своей волей. Вам говорю: очнитесь!

Потом начинается для меня черный период, период моего падения. От бесхарактерности ли, от безалаберности ли, от чего ли другого я совершенно сбился с круга и, в промежутки трезвости, видя и понимая, как Вам это тяжело, все же тонул все глубже и глубже в алкоголь. Я согласен, что я был отвратителен и был на краю гибели и нравственной и физической (сердце).

И что же? подошли ли Вы, которую я считал своим первым другом, хоть раз ко мне ласково, как сестра? поговорили ли Вы со мной дружески, когда видели, что новый пьяный шквал начинается? Нет, Вы всячески избегали меня, а в промежутки трезвости, раскаяния и моих мучений отталкивали меня и наконец отшвырнули. Я убежден, что Вам много подсказывали это сделать.

Но, черт возьми, неужели художник Билибин не будет больше ничего работать?? Что за ерунда! Вот в эти последние дни я вдруг решительно и сильно почувствовал, что искусство ко мне вернулось, и как постепенно образуется моя мастерская (на столь уже обычный вид: акварельный ящик, кисти, карандаши, тушь, чашечки для акварели и пр.), так все более и более загорается желание работать.

Неужели же Вы, необъяснимым чутьем, не чувствуете, что я наконец очнулся, что художник жив и что я буду работать?! Говорят же, что у женщин чутье сильно развито.

Завтра я Вам посылаю консульскую бумагу на имя главного коменданта обоих лагерей, и госпитального (где числюсь я), и Вашего. Моя мастерская ждет Вас с нетерпением. Не ахти какая мастерская в смысле освещения, но все же работать можно.

Надо быстро двинуть эскиз. Потом примемся и за большое полотно, и это будет очень интересно. При встрече о письме этом ни слова, будто его и не было. Хорошо?

Это полотно и для меня и, если хотите (сейчас увидите в чем дело), и для Вас будет только подготовительной школой.

Сегодня я наконец был у этого самого не султанского, а принцевского главного архитектора. Он сказал, что хочет меня предложить, как единственного настоящего художника во всем Египте, каким-то высоким лицам для росписи целой уже построенной, но еще не тронутой живописью церкви. Стиль коптский, т.е. близкий (даже иногда идентичный) к византийскому. В Египетском музее есть большой коптский отдел.

Ну, моя милая помощница, что Вы на это скажете? Ведь это – громадное дело! Трудное, такое трудное, что, когда к нему подступишь, кажется, что непреоборимое. Это-то и есть весь восторг: пойти на штурм на такую громадину!

Надо будет поискать еще людей, но в эскизную часть, где я да еще кто-нибудь (м[ожет] б[ыть] и третий и даже четвертый помощник, но не больше), я приглашаю Вас, а там уже Ваше дело. Предупреждаю, однако, что не скоро такое второе дело подвернется; м[ожет] б[ыть,] и никогда. Не думайте, что заставлю Вас кальки снимать (это будет делать помощник № 4); я дам Вам отдельные самостоятельные части.

Как это будет трудно и напряженно, но как заманчиво!

Изучите этот стиль; будем снимать и зарисовывать в музее и уйдем с головой в свою работу.

И вдруг ничего не выйдет! Хотя почему же. Раз меня этот архитектор пригласил, то, конечно, не напрасно.

Но и наше ближайшее дело тоже интересно.

Кроме того, мы непременно уделим часы на рисованье с натуры. Какая будет натура, мы уже решим на месте. Итак, скорей, скорей за дело. Приезжайте скорей не балериной (гопакессой), а художницей, а я не пьяница, но известный русский художник, Ваш старый учитель (и друг). Помните: все свои вещи я сделал только в трезвом виде; иначе нельзя работать.

Итак, работа ждет.

Когда ж божественный глагол
До уха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется
Как пробудившийся орел![45]

Ваш маэстро
И. Билибин

Деловая часть на отдельной странице. Может читать кто угодно.

Часть деловая и повествовательная

Продолжение о комнате. Итак, цена комнаты о двух кроватях 3 фунта. Но если бы Вы хотели иметь там полный пансион (рисование стены будет происходить в утренние часы; если можете, с 9), заключающий в себе три еды (утреннюю, дневную и вечернюю), то это стоит с каждой персоны 6½ ф[унта], включая сюда и комнату. Мне это сказала директриса. Вероятно, возможны и разные другие комбинации, если кому-нибудь удобны одна или две еды, а не все три. Об этом я забыл спросить.

Прилагаю план, где находится Ваш дом[46]. Можете туда ехать прямо с вокзала. Не потеряйте квитанции. На подъезде небольшая доска с четырьмя буквами: Y.W.C.A.[1] и только. Подыматься высоко. Ваша комната (№ 13) находится как раз в конце коридора, причем цифра 13 слетела с левого бока, на косяке двери нечто вроде длинной единицы. Кажется, ясно?

Был у консула[47]. Обещал к завтрашнему дню, к 11 утра все приготовить. Не знаю, найду ли возвращающегося Телль-эль-Кебирца.

Был сегодня у Валентины Евгеньевны[48]. Сообщил ей о комнате. Побеседовал с ней несколько минут и ушел; я очень торопился.

На другой день:

Увы, пропуск пошлю лишь завтра: сегодня рожденье короля Георга 5-го. Пишу в отеле [«]Континенталь[»]. Ужасные чернила и перо, и ужасно жаль, что задержка еще на 1 день: сегодня едет ряд верных людей.

Вчера в 11 ч[асов] ночи ко мне кто-то постучался. Я был очень удивлен, т[ак] к[ак] для моего итальянца это поздно. Открываю: Юрочка с одним его приятелем просят ночлега. Я распаковал тюк и уложил их на полу на пальто и на шубе. Утром поил в одном кафе на площади Солиман Паша[49] этим самым «the ... [*далее неразборчиво*].

Ну, всего хорошего.

Ваш И. Б.

Иду обедать, а потом рисовать.

---

[1] Сокр. от Young Women Christian Association – Ассоциация молодых христианских женщин (*англ.*).

3

Позже 3 мая – ранее 6 августа 1920

1920

О, повелительница!

О, звезда моего сердца! О, луна в четырнадцатый день! О, гранатовое дерево в полном цвету! О, ... я знаю, какое еще «О», но вот что, милая Людмила Евгеньевна, вчера я просидел до 3-х часов ночи и сделал 4 наброска для Вашего восточного костюма. Я бы разработал один из них ... [*вырезка из строки*] комбинацию из них, но для ... [*вырезка из строки*].

Понимаете, необходимо, чтобы Вы их видели, ибо будет очень обидно, если бы мне пришлось проработать впустую. Очень мало у меня материалов, но все [же] 1001 ночь[50] Тихого[51] помогла. Т[ак] к[ак] я чувствую, что Вы и Ваша партнерша хотите во что бы то ни стало иметь костюм с шароварами, то я их на всех 4-х рис[унках] и сделал, хотя в миниатюрах большинство женщин имеют длинные платья, а шаровар не видно. Но все равно: шаровары, так шаровары.

В музей (арабский)[52] сегодня я не иду, т[ак] к[ак] не выполнил своего «византийского урока». Если сегодня нарисую на кальке царицу и процессию женщин, то завтра пойду. Я даже в точности не знаю, где этот музей, т[ак] к[ак] путеводитель у Вас. Итальянец же мой (я его утром спрашивал) в точности не знает.

Я буду дома в 2 ч[аса] дня (в 12 ч[асов] я пойду обедать). Хорошо бы, если бы перед поездом, часа в 4, Вы с М[агдалиной] В[ладимировной][53] пришли ко мне пить чай. Приготовлений делать не стану, кроме молока, которое я себе куплю.

Если бы мы остановились на типе костюма, то тогда и сегодня часов в 11 вечера (и завтра в то же время) я бы рисовал его; иначе не буду, т[ак] к[ак] не знаю, что рисовать. Цвет – чепуха; взял кисточку да и ... [*вырезана часть страницы*] Главное – на что эти тона.

Т[ак] к[ак] этот костюм для Вас важен, то я, о, звезда очей моих! О, источник жизни среди пустыни моего сердца! О, алмазная капля на лепестке райской розы, надеюсь, что Вы, так или иначе, посмотрите на мои рисунки. Ведь всего 12–14 минут ходу[54].

Во всяком случае, будучи в Т[елль]-э[ль]-К[ебире] и имея бумагу от консула, ОСВОБОДИТЕ МЕНЯ; я советовал бы, чтобы развязаться, и Вам сделать то же. Но запомните: я хочу попасть в ту же категорию, как и Вы все, т.е. освобождение, так освобождение; отпуск, так отпуск.

Стол обещан на сегодня. Помощь Ваша очень теперь нужна, но все же, конечно, раньше среды рисовать в мастерской Вы не будете, а то – даже четверга, что уже очень поздно. Постарайтесь обернуться поскорее, ведь, право же, кроме «звезд Востока», здесь дело. С Вашей помощью эскиз пойдет скорее; необходимо его быстро двинуть. Ну, всего хорошего. Жду. Поставлю на спиртовку чайник и буду рисовать. Не сердитесь на меня вообще. Я Вам очень благодарен за одну фразу, когда в трамвае Вы сказали о своей уверенности, что у нас опять будут хорошие отношения. Ну, конечно, будут, Вы увидите. Мы будем первыми друзьями и хорошими мастерами своего дела, любимого дела ... [*отрезано слово*]. Forever[I] И. Б.

4

6 августа 1920

Воскресенье, 5 ч[асов] дня, 6 августа 1920 года.

Ну, милая моя помощница, навестите меня! Доктора еще не было. Если Юра Вас застанет, то он подтвердит Вам, что мне очень скверно. Конечно, м[ожет] б[ыть], и пройдет, а м[ожет] б[ыть], и не пройдет. Я не притворяюсь. Пульс же не врет – сейчас 106; это ведь очень много. Сердцу может и надоесть. Посидели бы недолго, а потом бы Юра Вас проводил.

Сегодня до 1 ч[аса] дня стал себя значительно лучше чувствовать, а сейчас, и особенно с 3 ч[асов] дня – невероятно нудно.

Я был бы Вам несказанно благодарен, если бы Вы пришли.

Ваш И. Б.

P.C.[II] Ни на какую Гизу[55] не поеду. Связан обстоятельствами. Утром изображал (под музыку Юры) последний час Сократа[56].

[I] Навсегда (*англ.*).

[II] Так в оригинале.

5

6 августа 1920

6 авг[уста] 1920.

Вечер.

Милая Людмила Евгеньевна,

Сижу и жду Вас. Чувствую себя при последнем издыхании. Доктор еще не был. Может быть, бесконечно милый Юра и приведет Вас.

Целый день нет-нет да и поглядывал на Ваш портрет, нет, я все же его сделал недурно[57].

Меня, если сердце мое сегодня не лопнет, очень интересует это предложенное доктором лечение. А вдруг, а вдруг!

Так как Вы, несмотря ни на что, все же относитесь ко мне самым лучшим и глубоким образом, то подождите: может быть, может быть, и выйдет что-нибудь путное.

Не пишите никуда никаких решающих писем. Подождите и подумайте о некоторых словах, понятиях и человеческих отношениях.

Сейчас я перечитываю Ваше милое, глубоко оскорбленное, огорченное и бесконечно доброе письмо.

Но знаете, моя добрая подруга, что Вы все-таки не все там продумали до конца. Вы говорите, что Вы меня любите, но что ни Вы моею женой, ни я Вашим мужем быть не можем; Вы говорите, что, тем не менее, если у Вас будет муж, а у меня жена, то наши отношения (нечто большее, чем дружба) все же останутся прежними.

Вот тут-то Вы и попадаете на Вами самою не выясненные для себя же места, на слова не «от жизни», а от «поэзии и литературы», словом, то, на чем, главным образом, люди и ошибаются, веря в вымышленное, а не существующее.

Давайте для начала говорить не о себе, а вообще о людях, о людских чувствах. Еще Толстой говорил и, по-моему, совершенно правильно, что слово «дружба» (между женщиной и мужчиной, если, конечно, они не старцы) – обман. Жаль расстаться с таким красивым, старинным, поэтическим словом, но это – так.

Могут быть легкие приятельские отношения и любовь. Любовь может быть выявленная, получившая полный расцвет и лю-

бовь заглушенная, не выявленная по тем или иным причинам. Конечно, я говорю про настоящую любовь, духовную и культурную, а не о грубом тяготении одного пола к другому. Несомненно, что чисто абстрактной любви недостаточно, но только одно другое[1] слишком низменно и звероподобно.

Зверь в каждом человеке есть, и иногда хочется быть зверем, но на зверя же у человека есть узда и плеть, и зверя можно заставить замолчать. Я допускаю, что мужчина может сидеть в тюрьме, пламенно ее любить, а женщина, любя его так же, будет ждать его; и – наоборот.

Если Вы кому-нибудь говорите, что Вы никуда не уйдете из жизни этого человека, то что же это такое? Это есть то высокое влечение друг к другу, несмотря ни на что. Как это называется? «Дружба». Полноте; это – больше.

Вы говорите, при наличии этого, о каком-то возможном муже. Что же за существо такое, этот «муж»? Тоже «друг»? Я не вижу его духовной роли. Или это просто отец детей, какой-то охранитель? Если же муж будет по Вашей терминологии «другом», высшим «другом», то тогда естественно увянет первая дружба, ибо, по моей терминологии, «муж» (если это в высшем смысле) есть любовь осуществленная, а то первое – любовь неосуществленная, а я не верю в двоелюбие. Любовь одна.

Значит, два возможных вывода.

Первый: Вы любите высшей любовью Вашего мужа, и тогда память о том старом «друге» развеется, как детское милое увлечение.

Второй: Вы и, действительно, любите Вашего друга, не хотите «уйти из его жизни», тогда рано или поздно «муж» этот будет Вашей гирей, Вашими кандалами. Жизнь с ним станет для Вас невыносимой, и Вы будете глубоко несчастны.

Вот, по-моему, спокойное и здравое рассуждение, а не прятанье страусом своей головы под крыло, чтобы сейчас не видеть. А как мучительно все-таки увидеть, но когда уже поздно.

Милая Людмила Евгеньевна, я не хочу снова изводить Вас письмами, но это-то письмо может быть Вам интересно и даже полезно, ибо Вы просто, может быть, не смотрели на вещи с другого угла зрения, с какого Вы привыкли смотреть.

---

[1] Так в оригинале.

Любовь – вещь крепкая и сильная. Восклицание же «ах, дружба!» – малиновая вода или сентиментальное стихотворение, но не жизнь.

И вот если уж есть нечто прочное, сильное и красивое, то не понимаю, зачем же это бросать? Минусы и всякие трения всегда будут, т.е. всегда могут быть, но присутствие их, хотя порою и очень больно, но все же нисколько не отнимает счастья жизни, т[ак] к[ак] то, что вне этих трений и боли, неизмеримо, неизмеримо прекраснее и больше.

Не знаю, но мне кажется, что я так прав, что спорить здесь не приходится. Не примите этого письма за декларацию. Пишу в трезвом состоянии и здравой памяти; хочу только, чтобы Вы подумали о мифах и о действительности спокойно и вполне логично.

Мои чувства и отношения к Вам Вы знаете. Они не могут измениться. Работать будем хорошо. Приложу все усилия, чтобы не огорчать Вас своим поведением. Вы же, не торопясь, подумайте об этой моей философии, т[ак] к[ак] повторяю и повторяю, что поэзия часто бывает вредна и особенно ее не существующие подчас в жизни выводы.

Если Вы, паче чаяния (ведь Вы – милая, упрямая Чирикова) с каким-нибудь из моих рассуждений согласитесь, то имейте храбрость сознаться. Я же подожду, пока Вы будете внимательно читать эти строки. Да и вообще, можно минуты три подождать.

Простите за мое поведение.

Ваш «друг» (пусть это так называется) И. Б.

P.S. Как я Вам благодарен, что Вы пришли! Только зачем Вы забыли взять цветы?

6

Позже 6 августа 1920 – ранее 1 января 1921

1920, Каир.

Моя милая сестренка,

Подумайте сами. Мы в Египте. Где-то далеко на чужбине. Ну, я Вас люблю; это для Вас не новость. Сам я сейчас подыхаю (тоже не новость). Но, чур! Во имя Ваших милых родителей – держаться вместе.

Там, в России, мы разойдемся, а здесь нет. Ваш друг – я, а не Магдалина[58], которую (пишу твердо) я ненавижу всеми фибрами своей души. И, знаете, это не только мое чувство: Юра ее тоже не любит.

Доктору я сказал, что те капельки мне не помогут, что надо что-то радикальное; причем я сам великолепно знаю, что излечить меня трудно. Доктор обещал мне в течение месяца впрыскивать стрихнин (очень милый человек); ну, пусть впрыскивает.

Знаете, что нужно? – воля. Воля и только.

Ведь пьянство – это забвение. Это вера в то, чего нет. Это – утешение. Это – надстройка над жизнью.

Я уже написал Вам одно письмо, более трагическое, чем это; но я его Вам не послал. К чему? Вы все знаете, что там было написано. Может быть, даже красиво, поэтично. Я все зачеркнул и просто просил Вас навестить Вашего больного (я болен, но трезв) брата.

Если Вы можете, сделайте; а нет, мне придется провести ночь с бедным Юрой. Пишу: «с бедным», ибо его жрут все насекомые в мире, и он только и отделывается, что на Григе[59].

Если бы Вы навестили, то Юра Вас проводит. Мне очень трудно и я себя очень плохо чувствую.

Разве есть преступление, е. л.[60]!

Да хранит Вас Бог.

Ваш И. Б.

7

Ранее 3 мая 1920?

1920. Понедельник, половина двенадцатого ночи.

Дорогая Людмила Евгеньевна,

Я только что вернулся, избродив половину Каира. Попишу и лягу спать. Завтра встану в 5 или в 6 и буду в 9 работать, а потом... но лучше расскажу по порядку, что было после Вашего отъезда.

Я шел обратно, после всех разговоров, как пьяный, но как пьяный на третий день пьянства: тяжелый, мрачный хмель. Раз чуть не попал под автомобиль – он даже свернул в сторону.

Конечно, я обратил внимание только на Ваши слова. Другие никто и ничего не имеют права говорить мне. Я не осаживал их только из нежелания причинить Вам неприятность. Только раз у меня прорвалось, когда сказал, что я предпочитаю пьяного Мусоргского[61] трезвому господину X. Здесь тоже окончил любезно, а думал очень нелюбезно по отношению не к господину, а к госпоже.

Зашел в клуб[62]. Ушел оттуда. Зашел в [«]Abondance[»] и что-то съел. Встретил Ю.Ю. Саморупо; он насчет комнаты ничего не узнал. Вышел, иду дальше. Вдруг с удовольствием встречаю Н[иколая] Г[ригорьевича] Панкова[63]: знакомое мужское лицо. Предложил ему пойти пить чай; пошли. Сели в открытом ресторанчике за столик. Нам дали чай, молоко и хлеб с маслом и... тут-то и начинается чудо.

Ну как не верить в некоторые предрассудки: в пятницу, приносящую мне несчастье, в мою монетку, давшую Вам успех, и в Вашу, которую я у Вас выпросил (я попросил у Вас счастья)? Милая, дорогая монетка, маленький пиастрик! Я буду носить тебя всегда; а Вы (что Вам стоит?) сшейте мне, пожалуйста, малюсенький мешочек, чтобы вошел только этот счастливый полупиастрик; я хочу носить его на тесемочке на груди, чтобы не потерять его. Сделайте это в знак нашей прежней и, верю, будущей дружбы; пусть Вы настоящую отвергаете. Монетка, представьте, подействовала сразу.

Итак, сидим мы с Н[иколаем] Г[ригорьевичем], пьем чай и разговариваем. Руки у меня трясутся, а все эти дни не тряслись и теперь перестали: от большой прогулки. Я ведь за последние дни стал сплошным комком из нервов. Вдруг Н[иколай] Г[ригорьевич] говорит: «Вам кто-то кланяется». Я обернулся: какой-то господин, сняв шляпу, говорит: «Мы с Вами виделись; я привез Вам в мастерскую подставки для холста...» Словом, всех слов передавать не стану; меня искали, не зная моего адреса. Главный архитектор султана хочет меня видеть. Порешили, что завтра, в 9 утра, этот господин за мной заедет и мы поедем. Зачем, он не знает. Вот и все.

Неужели новая стенопись? Вот тогда-то заработаем с Вами! Когда Вы будете находиться рядом и мы будем больше молчать или же изредка перекидываться словами на наши (другие отсюда

вон!) профессиональные темы, то я, желая перед Вами отличиться, буду делать очень хорошие вещи. C'est tout[I].

Ай да монетка! Нет, враг не даст такой, а только бывший (не зачеркнуть ли предыдущее слово?) друг.

Это письмо только для Вас; другим не показывайте, ибо я умею так же любить (в широком смысле), как и не любить (в узком).

Завтра припишу о результатах моей поездки. Засим желаю Вам, как и всегда, всего, всего хорошего, неподчиненности и полной самостоятельности. Объясню после; и еще: я старый охотник и, как легавые, имею верхнее чутье. Если не понимаете, то тоже объясню после.

Ах да, не кончил дня. Потом я опять пошел в клуб. Потом гулял. Иду спать. Окно открыто; где-то играют и поют. Basta![II]

Вторник, 8 ч[асов] утра.

Здравствуйте. Вставши в 6 утра, раньше всего достал иглу, белых ниток и стал латать свои штанцы, дабы ехать в них к гл[авному] архитектору султана. Латаю и думаю себе.

Вспомнил я прошлое. Чириканье птиц за окном навело на эти мысли. Тогда тоже дерзко чирикали воробьи, и воспоминанье о той милой поре неразрывно связано и с этим дерзким веселым чириканьем. Они чирикали всюду, и на моем балконе, и на крыше, и под крышей, казалось, весь воздух чирикал, а из открытой настежь двери были видны перила балкона, между столбиками которых виднелась Нева; дальше, на том берегу Биржа, а еще дальше Зимний дворец, вся дворцовая набережная; а на самом заднем плане виднелся видный до половины Исаакий. Каждые полчаса слышались куранты из Петропавловской крепости. В полдень бухала пушка. Это было далеко отсюда, ни в Каире, ни в Телль-эль-Кебире.

Я жил тогда один в квартире, т[ак] к[ак] дела с моей женой, видимо, разваливались; она с детьми с апреля уехала на дачу в Новгородскую губернию (или в Англию, уже не помню); я же решил остаться все лето в городе, но в августе не выдержал и уехал

[I] Это все (*фр.*).

[II] Хватит! (*ит.*).

к Петру Ефимовичу в Скеле. Было это еще в 1910 г., когда у нас не было еще Батилимана. Кроме меня, кряхтела на кухне старушка Прасковья Семеновна, моя преданная прислуга, тип старых крепостных дворовых и преданная именно мне. Когда М[ария] Я[ковлевна][64] предложила ей ехать с ней на дачу, то она ответила: «Нет, уж я останусь с моим барином». Если бы я ей предложил выпустить остатки ее старческой крови, то она, не колеблясь, выпустила бы. Мир ее праху!

Дальше. Зеленые откосы, идущие от некрасивого кирпичного здания винно-очистительного склада № 2, стоявшего на Сольном Буяне, на острове, как раз против нашего дома, были покрыты мягкими белыми точками одуванчиков.

Пить вино тогда я не мог и не хотел; мог ли я пить, когда ко мне каждое утро приходила моя ученица и милая помощница, нежный «одуванчик», Тоня Вестфален[65], или Весточка? Я работал за одним столом, а она за другим. На столе ее в стакане стояли скромные полевые цветы (розы к ней не пошли бы). Иногда я покупал их с вечера, и часто их приносила утром, до ее прихода, Прасковья Семеновна, вернувшись с рынка, говоря: «Вот цветочки для нашей барышни, они придут и порадуются».

И она приходила. Приходила она аккуратно каждое утро в 10 ч[асов] утра, нежная и хрупкая, как одуванчик. Она весело говорила: «Здрасте, Ванякич (или Ванякушка)» и шла на свое место. Так бывало каждый день. Я был к ней, конечно, неравнодушен, но работали мы за честь и за совесть и, как добрые мастеровые, много молчали. Иногда она сидит, сидит да вдруг зачирикает; ну просто настоящий воробей (она великолепно подражает птицам, собакам и т.д.). Я начинаю громко хохотать; а если при этом оказывалась с пыльной тряпкой в руках и в очках на носу Прасковья Семеновна (она ужасно любила стирать пыль), то и она улыбалась и говорила: «Наша барышня шалунья».

Когда бухала пушка, мы вставали и шли в столовую, где Прасковья Семеновна приготовляла нам завтрак. Часто она подавала кушанье, которое (кажется так, насколько помню, давно все это было) моя помощница очень любила: поджаренные гренки со шпинатом. Тут мы болтали о том и о сем. Уходила она часа в три, кажется.

Иногда по вечерам я уезжал в Павловск к знакомым. Там мы выпивали, и с последним поездом в приподнятом и мечтательном

настроении я возвращался обратно; но утром я, конечно, ничего не пил; пил крепкий чай, иногда сельтерскую, сидел первые часы мрачный; нельзя опохмеляться, раз придет помощница.

Однажды я объявил ей, что на другой день я поеду в Павловск сразу после завтрака. На другой день она пришла с каким-то пакетом и особенно много чирикала воробьем. Я уехал, она же осталась за работой.

Возвращался домой уже за полночь, когда белые здания как будто сами из себя испускают какой-то непередаваемый живописью фосфорический белый свет. Ехал на трухающем извозце по Невскому. Полупустой Невский; запоздавшие фигуры женщин, громко и неестественно смеющихся; гулкие шаги запоздавших мужчин, а иногда шатающийся пьяный гуляка. Переехал Неву и, как сказал Пушкин: «и светла адмиралтейская игла»[66]; так же блестела игла в Петропавловской крепости.

Отворяю ключом дверь и отшатываюсь не то в страхе, не то в недоумении. За столом, где обыкновенно сидит Весточка, она же и сидит, низко опустив голову. Неужели заснула за работой? Но вдруг я расхохотался и долго хохотал, стоя один в комнате. Это было великолепно сделанное чучело. В пакетике, который моя помощница принесла утром, были, очевидно, все нужные для этого материалы.

А за окнами была белая ночь...

Итак, я сидел и чинил штаны. Вдруг стук в дверь. Я говорю: «entrez»[I], входит мой итальянец, signor Egisto Prucher[II]. Приятельская встреча и составление программы дня.

В 9 час[ов] явился ко мне вчерашний человек, который довел меня до извозчика, стоявшего наружу, где внутри сидел толстенький человек, немного напоминающий П.Н. Милюкова[67], причем на голове у него красовалась феска. Это был человек номером выше, хозяин какой-то скульптурной мастерской. Мы сели и поехали. Сперва повели общий разговор, об арабах, о Каире и пр. Потом и о деле. Оказалось, что едем мы к гл[авному] архитектору не султана, а всех египетских принцев и пока только для того, чтобы с ним познакомиться. Это – маркой ниже; конечно,

---

[I] Входите (*фр.*).

[II] Синьор Эджисто Прукер (*ит.*).

и это хорошо, но (помните) хорошо, да не дюже. Приехали к особняку скверного ренессанса[68], звонили, звонили и не дозвонились. Оказывается, мой компаньон и не предупредил его.

Он тогда сказал, что предупредит его и что мы отправимся завтра в 9 ч[асов] утра. Вот и все.

Вернулся домой; встретился со своим итальянцем, который сообщил мне, что все разговоры о каком-то Египетском суде sont des blagues[I], и спросил, кто это мне сообщил, сказав, однако, что, правда, мой заказчик était fâche[II], что я так долго не начинаю работы, но он его, дескать, успокоил, сказав, что художник Билибин устроился и начал работу. Потом мы пошли и накупили за счет заказчика всяких бумаг, наклеенных и ненаклеенных, карандашей, резинок, линеек, угольников и пр. и пр. Флаг поднят, ярмарка открыта. Перерыв; художник идет завтракать. Там впереди еще масса возни. Под вечер думаю найти время и пойти насчет Вашей комнаты. Пока!

3 ч[аса] дня. Вернулся. Завтракал шикарно по приглашению одного английского полковника в [«]Шеппердсе[»][69]. Честное слово, пил только лимонад (полковник пил много), но зато ели лангуста sause[III] tartare[IV], цыпленка с ветчиной и салатом, землянику (крупную) с битыми сливками и кофе. Это мне подвезло при моем теперешнем режиме, ma[c]cheroni sazza[V]!

Придя к себе, нашел от Тукера записку, что на сегодня сеанс отменен, поэтому бегу по комнатной части. Ну и устал я! Я ношусь (и все пешком) по городу, как мотоциклист.

4 ч[аса] 22 м[инуты].

Мотоциклет прикатил обратно.

Ура! Ура! Ура! Прилагаю квитанцию. Из своих макаронных средств заплатил полфунта, и Вы являетесь обладательницей очень симпатичной комнаты, светлой, с далеким видом, с двумя кроватями, со столом, комодом, зеркалом, умывальником, гардеробом, двумя (маловато; у меня у одного 4 стула и 1 кресло-качалка) стульями и дальше с чем – не помню. № 13 и № моего дома

[I] Вранье (*фр.*).
[II] Был недоволен (*фр.*).
[III] Так в оригинале; правильно – sauce.
[IV] Под соусом тартар (*фр.*).
[V] Макароны с томатным соусом (*ит.*).

13-ый; вижу в этом какую-то невидимую связь. Цена – 3 ф[унта] в месяц за все. Это в Young Women Christian Association[I], но только не в самом этом названном Y.W.C.A. (я попал сперва туда, там главным образом англичанки, и такое удовольствие, как я узнал, стоит на обеих 16 ф[унтов]), а в annexe[II]. Директриса у Вас (Вы попали в институт) премилая швейцарка не первой молодости, ну, словом, возраст одной дамы, которую Вы очень любите. Есть, конечно, и некоторые стеснительные обстоятельства: для посетителей дом ежедневно открыт до 10½ ч[асов] веч[ера], а по средам и субботам до 11½, т[ак] что если думаете устраивать фестиваль, то пожалуйте ко мне в мастерскую. У меня открыто 24 часа в сутки. Все очень чисто. Есть общая столовая с пианино. Живут разные служащие в бюро и т.д. Это не комната у отвратительной жидовки Цуккерман.

Директриса (мы с ней подружились, говорили, конечно, по-французски) предложила мне и другую комнату, несколько больше и с лучшим гардеробом; но там из окна на очень близком расстоянии видна противоположная сплошная стена и окна, окна, окна. Дом высоченный, и чтобы видеть небо, надо совершенно запрокинуть голову, и то – видна узкая полоска, точно линейка. Я подумал о Вас, mia gentilissima signorina l'artista[III], и, не колеблясь, остановился на первой. Правильно? Правильно.

Комната будет совершенно готова через 1 день, сегодня оттуда кто-то выезжает. Итак, поздравляю, а мне – бакшиш[IV]: один грех долой, скажем, одно из пьянств, допустим, последнее. Я прямо в восторге, повеселел, а по дороге к себе (ходу до меня от 13–15 мин[ут]) на радостях на Вашей улице съел мороженого (порция 1 пиастр). Вот и Вы, идя в мастерскую, будете делать то же. К консулу сегодня не поспею. Не могу. Завтра. Поклонитесь тем, кого я люблю, Вы их знаете. Всего, всего, всего хорошего.

Ваш И. Б.

[I] См. примеч. на с. 44.

[II] Пристройка (*англ.*).

[III] Моя любезная синьорина художница (*ит.*).

[IV] Чаевые (*араб.*).

8

Ранее 9 августа 1921

Каир, суббота, 12 ч[асов] ночи.

Милая Людмила Евгеньевна,

Только что вернулся из Русского кружка, где С[ергей] В[икторович] Яблоновский прочел с большим подъемом, так что интерес слушателей не ослабевал до конца, лекцию о России при большевиках. Шел обратно пешком по Каср-эль-Нил. Чудная ночь.

Я сижу в своей мастерской. Она еще не оборудована. Мой милый итальянец, моя няня, уехал в Александрию и вернется только завтра вечером; поэтому, т[ак] к[ак] у меня с ним, во-первых, важные разговоры, а, во-вторых, с понедельника начнутся хлопоты по устройству мастерской, не могу поехать в Гелуан, хотя очень хочу.

Вы знаете, итальянец мне говорил еще о каких-то работах у султана. Пока не знаю, в чем дело.

Напишите, пожалуйста, закрепить ли за Вами комнату; теперь хозяйка хочет, несмотря на задаток, сдать Вам другую, пока на 2 недели за 2 ф[унта]. Она была у Тихого и говорила с ним; вообще же она кочевряжится и снова говорила, что предпочла бы не иметь жилиц; антифеминистка.

Несмотря на все мои «поведения», я очень по Вас соскучился. Я говорил о себе с докторами; пусть мне другие помогут, если я сам не могу избавиться от своих милых привычек. Писать длинно; расскажу. Вы знаете, между прочим: когда я пай-мальчик, я органически не переношу пьяных. Это ведь «Иван» удирал в Каир из монастыря, а «Игорь» его выгнал, хотя негодяй-Иван успел-таки хорошо пообчистить карманы Игоря.

А засим и такое ничтожно-смягчающее вину обстоятельство. Были мои именины; кто-то с вечера хотел мне сделать именинный подарок и прийти меня проводить, но никто не пришел; я ждал до последнего звонка. Поехал мрачный с мрачными думами. Приехал; оставался в номере; потому что мастерская была еще не готова. Пошел в клуб; Тихого не застал. Я один, как перст. Близких никого нет. Чужой город. По улицам, как сонные мухи, бро-

дят группами русские офицеры. «Эх, думаю, а ведь еще именины...» Вот так и пошло. Ну, да не стоит об этом и говорить.

Вы знаете, несколько дней тому назад «Ивану» не спалось. Он сел к столику и описал на 22-х страницах всю свою жизнь с самых первых детских воспоминаний вплоть до прошлого года. Запечатал в конверт (получился целый пакет) и снес к Тихому, чтобы, при случае, переслал Вам. На другой день, т[ак] к[ак] письмо еще было у Тихого, взял его обратно. Если Вам было бы интересно, покажу его Вам, подредактировав и вычеркнув некоторые части.

Вот скоро заработаем на славу, будет очень хорошо, и пусть тогда увидят египтяне, как умеет работать художник И[ван] Билибин.

Всего, всего, всего хорошего. Ваш И. Б.

Очень скучаю.

(Откликнитесь и скорее приезжайте. Адрес на обороте.)

P.S. Пишу это в виде Пост Скриптума[I]. Вас же прошу оторвать его и разорвать. Я великолепно чувствую, что в лагере есть одна дама, которая меня (несмотря на все разговоры) очень недолюбливает. Эта дама (мнение многих лиц; обратите внимание) почему-то совершенно отстранила одного художника и совершенно поработила двух сестер, особенно одну, художницу. В душу этой дамы залезть трудно. Художник с болью в сердце пока и отошел в сторону; но издали наблюдает. Еще не наступил час. Вы ведь человек очень самостоятельный; ну и не теряйте самостоятельности. Если порой вспомните о художнике, то думайте о нем своими думами, а не подсказанными чужими. Ведь и Вы его, и он Вас знает гораздо, гораздо дольше, чем дама, и любит Вас больше, чем она. Подумайте; отрывайте, разрывайте и бросайте.

Адрес: La Caire. Charet Kasr-el-Antikhana, No. 13. Prés de la Place Soliman Pacha. Monsieur Egisto Prucher pour Monsieur I. Bilibine[II].

Пока даю адрес на итальянца с передачей мне: боюсь, что араб-привратник еще слишком мало меня знает. Тут еще будет дело: затеваем с одним генералом[70] выставку всех Телль-эль-Ке-

[I] Так в оригинале.

[II] Каир, улица Антикхана, дом 13. Площадь Сулеймана-паши, господину Эджисто Прукеру для господина И. Билибина (*фр.*).

бирских художественных [произведений] и художественно-прикладную мастерскую.

Воскресенье.

7 ч[асов] утра.

Дивное утро. Встал и открыл окна (ночью из-за комаров приходится закрывать). В мою хоромину (Ноев ковчег такой) ворвалось чириканье птиц, косой лучик солнца на подоконнике, а за окнами показались пальмы.

Сейчас, лежа еще в кровати, раздумывал, где что развешу. Сейчас мой араб мне что-то принесет для утреннего подкрепления. Я стараюсь думать только о предстоящей работе, а то я утомился и измучился от постоянно мучающих дум; но вот, опять-таки, сны. Они врываются в вас непрошеные и насильно рисуют вам то, на что, бодрствуя, вы всячески закрываете глаза; и я видел этой ночью сон, очаровательный сон, после которого я проснулся и сперва долго улыбался, а потом понял, что это – лишь сон, и впал в мрачное состояние; но после снова заснул; снов не видел, а когда увидел зелень и солнце, и они этим утром какие-то особенно радостные, то я даже непроизвольно что-то просвистал; я же давно не пел про себя и не свистал.

А сон был такой; буду краток.

В Африке, в пустыне, в одном лагере, обнесенном колючей проволокой, я вхожу в палатку. Во входе в нее врываются яркие лучи солнца. В ней много народа, потому что палатка большая. Стоят ряды кроватей, и на одной из них я вижу одну милую девушку, а вид у нее какой-то особенно просветленный. Рядом с ней лежит грудка каких-то небольших белых цветов, очень хорошо пахнущих, связанных пучками. Она улыбается и протягивает мне один пучок, сказавши: «Вденьте себе в петлицу». Тогда окружающие говорят: «Куда же так много? Ведь в петлицу и одного достаточно». Она же еще раз улыбается, берет всю груду обеими руками и отдает мне все цветы и говорит: «Пускай берет все; ведь это – мой жених».

Вот и все[71]. Чтобы Вы не сердились, допустим официально, что эта девушка была какой-то девушкой Икс.

Сейчас пойду к Тихому относить письмо. Ужасно жаль, что не могу быть вечером в Гелуане. Потом пойду к «Вашей» еврейке Цуккерман. Если она будет кобениться, то отберу у нее задаток и

порву с ней. Я вчера встретил того молодого человека, Рабиновича (помните?), и он сказал, что если здесь не выйдет (т.е. у Цуккерман), то он найдет Вам комнату. Я ужасно рад, что имею мастерскую и такую недурную. Или раньше к Цуккерман пойду, а потом уже к Тихому.

Не сердитесь, милая Людмила Евгеньевна, на письма. Ведь это, когда я Вас почти не вижу, мой дневник, а я от Вас ничего не скрываю. Только Магдалине Владимировне не показывайте; я имею право просить об этом; не хочу, чтобы она видела мою душу. Только – Вы.

Ну, в поход. Приехали бы Вы сюда поскорее! Как хорошо будет окунуться в работу! Ведь Ваши танцы не работа, а тоже какой-то дурман. Я его боюсь. Не поддавайтесь. Ведь подумайте, как давно мы выбиты из колеи: Ростов, Новороссийск, ваш тиф, мой Бейлин, агитпоезд, грязь и бестолковое существование, пароход, карантин в Александрии и, наконец, лагерь в пустыне.

Потом – эти танцы, мое безобразное поведение, Ваша новая советчица и пр. и пр.

Советчицы Вашей я боюсь еще больше Ваших танцев. Не отдавайтесь ей целиком. Поверьте, клянусь Вам, что это не только мое мнение, но и многих почтенных лиц, и женщин и мужчин. Называть их имен не имею права. Вы загипнотизированы ею и ясно не видите. Дружите с нею, если хотите, но только до известной степени; не впускайте ее в алтарь Вашей души.

Я знаю, что это – очень рискованно писать Вам об этом, раз Вы ее считаете каким-то совершенством, но и я считаю, что это мой ДОЛГ написать Вам об этом, раз я считаю себя Вашим другом.

Ну, еще раз до свиданья. Переезжайте скорее. Всего, всего хорошего.

Ваш И. Б.

P.S. Все-таки попал к Тихому. Он лежит без задних ног, совсем расслабленный, бедняга. Вопит диким голосом, что он страшно устал, что он ничего не понимает, что ночевавшие офицеры украли ночью галстук С[ергея] В[икторовича] Яблоновского, у одного господина – шляпу, а у него – 10 коробок папирос.

Он определенно советует брать комнату у Цуккерман; говорит, что сейчас – это очень трудно найти комнату, что я не так

понял, что Вы там можете жить сколько угодно, а 2 недели, т[ак] сказать, пробные, в счет уплаченного мною задатка в 2 ф[унта]; но если Вы не хотите, то она согласна вернуть деньги, но несколько позже. Она, как сиделка, уходит в 7 ч[асов] утра и должна знать накануне. Сообщите же мне скорее и точно.

P.P.S. М[ожет] б[ыть,] поинтересуетесь зайти посмотреть мою мастерскую. От 1½ ч[аса] до 3-х я буду у себя, а потом пойду бродить. С 7 веч[ера] опять дома.

9

9 августа 1921

Понедельник, 9 авг[уста] 1921 года.

Сейчас утро; чайник закипает; боаба[1] еще не было. Встал, умылся, оделся. Кажется, мой старый корабль хотя и с поломкой снастей, но продолжает нести свой флаг по волнам житейского моря. Итак, пока что плывем. То, что я сейчас напишу (до рисования), можете не читать. Это, если хотите, тоже отчасти философия, но, чтобы Вы знали, в чем дело, напишу заголовок этой главе.

Рассуждение о счастье

Дерево стремится к свету, ребенок к матери, человек – к счастью. Это он делает для себя, и потому счастье есть высший эгоизм. Но человек грубый, французский буржуа, стремится очень грубо и примитивно. Он думает только об очень быстром удовлетворении своих стремлений; ошибается в расчете и в конце концов получает несчастную, мелкую жизнь или же вовсе тупеет и тогда ничего уже не чувствует. Счастье – взаимная встреча двух эгоизмов, но встреча гармоничная. Как грубое слово – расчет, так и поэтичное – гармония в сущности родственны, ибо оба основаны на счете, на математике. Любовь к счету или ритму заложена, как естественный закон, в нашу природу, но только расчет есть счет явный (напр[имер], бухгалтерия), а ритм и гармония – счет скрытый (тонкость духа и, конечно, всякого рода искусство).

[1] Боаб (правильнее – бавваб) – привратник (*араб.*).

В глубине же все то же и то же: «Я хочу для себя!» Monsieur Garnier или Dupont[I] (это фамилии этих почтенных буржуа) делает на свою же голову плохой расчет. Он говорит: «Я хочу для себя» и начинает всякие хитрости. Оставаясь грубым животным, он притворяется утонченным, нежным, мечтательным, пламенно-бескорыстным и пр. и пр., словом, как охотник, «заманивает» и наконец это ему удается. Но он даже и не поинтересовался поанализировать, хотят ли по-настоящему его с другой стороны, и вот, через некоторое время, и получается то житейское буржуазное несчастье, о котором я и сказал выше.

Но есть эгоизм другой, эгоизм тонкого человека. Этот человек тоже ищет встречи, но иначе, чем Garnier или Dupont. Иногда и он ошибается. Вдруг он встретит M[ademois]elle Garnier или Dupont[II], но ему покажется, что это кто-то иной, та же ловко прикинется, и тогда опять в результате выйдет еще нечто более трагичное, чем только что отмеченная буржуазная трагедия. Но вот человек этот действительно встретил. Он все увидел и понял, но с той стороны, несмотря на полное присутствие духовного ритма и гармонии, масса перегородок, построенных на почве неправильной и априорной веры в разные несуществующие и нежизненные понятия. Там верят в то, что прочитано, что наговорено (такими же людьми с перегородками), что намечтано (простите за несуществующее слово) и что порою наплакано. И человек этот должен будить другого; будить, а не заманивать. Он должен кричать ему: «Не гляди же как-то сбоку, а смотри прямо и просто, просто. Да есть да, а нет есть нет. Что искать, когда уже найдено?! Ведь надо только долго посмотреть друг другу в глаза, и ты поймешь, что встреча есть».

Тогда, если все же ты не понимаешь или не решаешься согласиться, подумай о дикарях. Дикарь, любящий дикарь – не пошл. Пошл Garnier. Когда этот любящий дикарь срывает последний плод с дерева и, гогоча, передает его своей подруге, то в этом поступке столько же эгоистичной любви отдать любимому существу все самое лучшее и самое дорогое, как когда какой-нибудь хороший художник вдруг не удержится и решит подарить тоже люби-

---

[I] Господа Гарнье или Дюпон (*фр.*).

[II] Мадемуазель Гарнье или Дюпон (*фр.*).

мому существу свое лучшее художественное произведение. Так же можно подарить жизнь, охотно и радостно, в порыве восторга, и все это будет эгоизм, а не альтруизм (словцо, которое не мешало бы тоже проверить и проанализировать).

И если оттуда, с другой стороны, был бы такой же порыв отдать последний плод с дерева, то до какой головокружительной вершины счастья можно было бы подняться![72]

Ну вот Вам, Людмила, и рассуждение. В смысле литературного плана оно местами сумбурно построено, но в нем есть много правды. Опять-таки подумайте. Не все ли Вам одно, что читать – книгу или душу Вашего друга. Нужно же показать другому человеку все свое нутро. Повторяю: не надо быть страусами.

Вот я люблю пить вино. Это – порок и очень скверный. Это, может быть, окончательная преграда для других людей, у которых есть гостиная, столовая, детская и... все. Но для людей искусства это очень больная, обидная, словом, пренеприятная помеха, но не преграда. Ведь мы, имея крылья, можем перелететь через нее на зеленый луг с цветами, а те летать не могут, а луга они знают или по журналу «Нива»[73], или по 3-му Парголову[74], куда они ездят на дачу.

Приведу Вам, ради примера, двух человек: Леонида Андреева[75] и г[осподи]на Панкова. Первый временами жестоко пил, уходил из дому на несколько дней, его находили в самых невероятных трущобах. Мне рассказывали, как он несколько дней пил с каким-то околоточным надзирателем и т.д. и т.д. Все это дико, ужасно и кошмарно. Но спросите его жену, хотела бы она, чтобы он воскрес.

А теперь посмотрите на г[осподи]на Панкова, на эту старательную и всегда трезвую бухгалтерию, на эту плоскую тарелку без носа, без глаз, без всего; просто – тарелка, приставленная к человеческому телу. Была эспаньонка, да и та сплыла.

И вот он чей-то, допустим, муж. Что же, он все же приятнее, как супруг, чем Л[еонид] Андреев?

Господи, господи! Как все это все-таки же главно! Пьющего мужа можно лечить, его можно посадить в пустую комнату под «арест», убедить его ласковым словом (часто удается), отнять

деньги (а то он и сам отдаст), помня пословицу: «пьяный проспится, дурак – никогда».

Чуть не половина России – пьяницы, причем сколько между ними писателей, музыкантов и художников! Все люди с крыльями, люди большой души, а не Панковы. И разве они недостойны любви. Не они ли помогли Вам смотреть на многое нашими хорошими великорусскими глазами?! Долой Панковых!

Будьте прямы: эти пьющие не вечно же пьют и когда они творят, они и телом и духом трезвее, чем сорок тысяч Панковых!

Последний пример: море, широкое и необъятное, и аквариум в столовой г[осподи]на Панкова, в котором плавают три золотые рыбки и еще какое-то существо ползает по самому дну (гордость г[осподи]на Панкова). Г[осподи]н Панков часто подходит с клизмочкой к своему аквариуму и меняет воду, т[ак] к[ак] он очень аккуратен.

Море шумит, ревет; вдали видны паруса, над морем плывут облака, но иногда море выбрасывает на берег тухлятину, дохлого дельфина, а то и утопленника.

Но где бы Вы хотели быть, на берегу ли моря или на берегу аквариума г[осподи]на Панкова?

Простите же море, любя его (а Вы, конечно, его любите), за то, что оно иногда выбросит дохлого дельфина!

Ну, довольно. Начал с прозы, а кончил все-таки морем.

Ваш И. Б.

P.S. Приходите рисовать и не приносите мне никаких скоропалительных ответов. Ведь письма к Вам – мой дневник, которого я не пишу, а думаю много.

10

20–26 августа 1921

Суббота, 20 августа, 1921 год.
11 1/2 ч[аса] вечера.

Ну-с, Ваше Высочество, Вы бы написали мне хотя бы «чикс»; уже пора! Я только что вернулся от Сандеров, где были разные доктора, а Венедиктовы[76] надули.

Дела наши такие. Архангелы золотятся. В понедельник я начну раскрашивать их эскизы, а помощники – сами иконы[77].

Этюд Лелявский[78] движется. Выйдет, кажется, красивым. С небом только мучение: покрылось отвратительно, завтра, пользуясь воскресеньем, буду его чинить.

Начал искать сказку себе и Вам; беда, что времени совсем не хватает. Пока взялся за египетские.

Завтра же, часов в 11, пойду часа на полтора в Ег[ипетский] музей посмотреть материалы для фотографирования.

Письмо Касдагли[79] отправил. Прочел его вслух в мастерской и получил одобрение. Написал, кажется, в правильном тоне. Убеждаю заплатить его не 100, а 150 фунтов.

Куда-то Вы пойдете завтра на этюды? Не ходите в какую-нибудь глушь. Завидую Конопатскому и Юшкину, что они, а не я с Вами.

Напишите же, как в Вашем [«]Victoria House[»][80], как Вы отдыхаете, не мешают ли какие-нибудь нахалы Вам работать в саду, вообще, все.

Не надо действовать по пословице: с глаз долой, из сердца вон.

Ольга Вл[адимировна][81] говорит, что она была вторично в Y.W.C.A.[I], но никого из нужных лиц не застала.

Скоро получите от меня небольшой сюрпризик, который Вас заинтересует и немножко подожжет в египетском отношении.

Про жену архитектора Б. ходят пренекрасивые слухи. Ольга Вл[адимировна] мне кое-что рассказывала. Сколько всюду грязи! Вот поэтому-то я совсем не старая бабушка, когда беспокоюсь о Вас и делаю разные предупреждения[II].

Верить можете только мне и Сандерам да еще могли бы покойнику бедняге Буличу[82]. Больше никому, а в Александрии и подавно НИКОМУ. Б[орису] Н[иколаевичу] Шнитникову[83], хотя..., можно верить безусловно, а Дроздову[84] НЕТ!!! Но, главным образом, надо верить, конечно, Вашему маэстро. Я скоро совсем помолодею: зубы все перепломбирую, волоса мажу чудодейственной жидкостью (я советовал мазать себе голову П[етру] Ф[едоровичу] Сандеру[85], но он почему-то не хочет), пропишу себе на паспорте 30 лет, и никто не докажет, что мне больше.

[I] См. примеч. на с. 44.

[II] Приписка в конце страницы: – в том смысле, что негодяи имеют иногда ложный вид чуть ли не романтиков.

Вы знаете, что дантистка хотела мне во что бы то ни стало подарить розу, но я отказался, сказав, что я не барышня.

Ну, что же Вам еще сказать? Все давно сказано. Недавно ел в первый раз в этом году финики и держал себя за мочку уха: говорят, помогает в смысле исполнения желаний. Посмотрим.

Грустно без Вас! Даже Хеопсик хотя и утешает, но не вполне. Мои чувства к Вам больше и глубже, чем к Хеопсику, хотя он премилый, и сейчас я слышу его голосишко: очевидно, Клеопатра[86] надоедает, а он огрызается, а ведь уже полночь.

Есаул[87], наевшись огурцов, давно спит.

Без меня (я был у дантиста) заходил Вирт и презрительно фыркал на позолоту Есаула. Есаул же по скромности смолчал. Это меня злит. При случае скажу Вирту, что Есаул золотит гораздо лучше, чем итальянец.

Вчера г[оспо]жа Лелявская[88] зубрила имя – Федот Аристархович; а сегодня я ей сказал, что она все перепутала и что зовут его Фаддей Иринархович, чему вполне поверил С[ергей] Н[иколаевич] Лелявский; а потом супруги долго спорили, а мы потешались.

Ну, иду спать. Может быть, встречусь с Вами.

Ваш И. Б.

21 августа, воскресенье, 2 ч[аса] дня.

Есть два слова в доброй старой русской орфографии, которые произносятся одинаково, а пишутся разно: преніе и прѣние. Первое относится к парламентам, к заседаниям ученых обществ и пр., а второе к тому состоянию, в каком мы, несчастные северяне, заброшенные в Каир, сейчас обретаемся. Подлая транспирация[1]!

Был сегодня в музее[89]; начал высматривать. Пока мой образ действий будет таков.

Готового плана всей намечающейся работы пока еще нет. Надо читать и думать; но на это уйдет много времени, терять которое не хочется. Я буду снимать по очень приблизительной системе, которую всегда возможно переиначить. Начну со съемки животных вообще, разных династий и самых разнообразных

[1] От transpirer – потеть (*фр.*).

техник; тут будет и рисунок по штукатурке, и барельеф, и скульптура: все. Каждый снимок будет снабжен точнейшей надписью: музей, комната, №, обозначение вещи и эпоха.

Когда же будет выработан план, то готовый материал будет подогнан к надлежащим местам и часть дела будет уже сделана.

Сегодня я видел в музее целый ряд поразительных мелочей, которые раньше были оставлены вне внимания.

Когда Вы вернетесь, будем действовать вместе. Это будет самое настоящее развлечение, но развлечение не по представлению г[оспо]жи Степановой, а настоящее развлечение художника.

Ведь вообще труд по душе есть великая радость; потому-то художники и счастливцы и они же несчастны, когда они не могут работать.

Вообще сегодня я в египетском настроении, а вдобавок в музее было тихо и прохладно.

А Вы еще куда-то стремитесь. Ну куда же? К неясным миражам, к судьбе Антонины Христиановны или к Синей птице[90].

Синих птиц много; и одна из них здесь. Вы сами поступили правильно, оставшись «временно» здесь. Так вот и углубляйтесь в этот самый древний Египет. Мы сделаем хороший, ценный труд, и право же, это лучше, чем какая-то служба в Софии или Праге.

Г[оспо]жа Степанова ничего не понимает в нашем деле. Она отделяет искусство от какой-то «жизни». Это вздор. Есть просто жизнь, а искусство для его служителя есть воздух, которым он дышит.

Докажите же ей, что прорицательницы могут врать и что Вы, наперекор идиотским предсказаниям и продиктованным чувством зависти желаниям Магдалины, все-таки останетесь при искусстве, а не при чинке белья какого-нибудь другого Петра Ефимовича!

И помните еще: сказочных принцев не существует; это – хитрая ловушка, чтобы сделать побольше Антонин Христиановен.

Выйдя из музея, я сказал громовую речь (про себя) Гончаровой[91] и Ларионову[92] на тему, что искусство есть большой труд, что не надо бояться труда, что не надо ни на кого обращать внимания и вести свою линию и что Ларионов и Гончарова просто-

напросто трусы и одновременно ловкачи и обманщики. Жалко, что никто не слышал моей речи.

Сколько этюдов сделано? Конопатского в планы по части египетских снимков не посвящайте. Это – маленький Рерих[93]; такой покорный и тихий, когда говорит с Вами, но совсем иной без Вас (показания Есаула).

Ну, всего хорошего.

Ваш И. Б.

P.S. Сегодня утром Есаул чистил уши Хеопсика от клещей; набилось их великое множество.

Понедельник, 22 августа.

Милая Людмилица,

Если допустить, что Вы живы, здоровы, не попали под автомобиль[1], что никто Вас не похитил, что Вы не вышли замуж, не курите опиум, словом, что все благополучно, то как же тогда объяснить Ваше невозможное поведение по отношению к маэстро и ко всей нашей мастерской?! И не стыдно Вам? Упорхнула птичка, хвостиком вильнула – и поминай как звали!

Совершенно серьезно говорю Вам, что я очень беспокоюсь и немного обижен. Хотя бы одно слово, хотя бы «чикс»! Какой тяжелый труд!

Мы работаем, потеем и гоним во всю архангелов. Ольга Вл[адимировна] очень недовольна работой Есаула: очень уж он коекакисто навалял позолоту, сбил все контуры. Быстрота и натиск – хорошее суворовское[94] правило, но оно не относится никоим образом к иконописи.

А сегодня я на него несколько рассердился во время этюдописания на балконе Лелявских. Сидит он на Вашем месте. Начал сегодня работать красками. Вижу: начал с одного клозетика и стал его раскрашивать серенькой красочкой, а там, как Вы помните, все горит, как пожар. Я и говорю ему: «Что Вы делаете? Прокройте сначала основными тонами все, а разве можно так? Ведь если [бы] Вы были моим учеником, я бы Вас за это отколотил.

---

[1] Приписка в конце страницы: как Боткин, который попал под автомобиль, сильно его помявший. П[етр] Ф[едорович] Сандер ездит теперь в Гелуан и ухаживает за ним. Говорят, что пострадал он основательно, хотя и без переломов.

Это все равно, что начать рисовать портрет с ноздри». Он ответил: «Ну и отколотите», и невозмутимо стал крыть такою же грязью другой клозетик. Я оставил его в покое, но только к концу сеанса вижу, что он совсем запутался, присоединяя частицу к частице. Ольга Вл[адимировна] посылает мне записку: «Помогите ему», а я ей ответил: «Дурак».

Когда кончили, она говорит мне: «Ив[ан] Як[овлевич], скажите что-нибудь Есаулу». Я сказал, что я хотел сказать ему, но он, видно, сам лучше знает; я же по такой системе не работаю и ничего в ней не понимаю. Вот и все. Теперь же мы мирно собираемся есть обычную яичницу.

Когда будете писать этюды, помните все те совершенно правильные принципы, которые Вы же сами столько раз твердили Махмуду. Будьте одновременно и Махмудом и его милой учительницей.

Ну, поели, поболтали, поругали жару (тягостный, какой-то прелый, душный, свинцовый вечер; прохлады ноль, голова тяжелая, а тело все в транспирации), поиграли с собаками и – живем дальше, хотя и без особого удовольствия.

Кстати, скажу Вам два слова о г[оспо]же Степановой; уж простите меня, но очень уж это и глупо и смешно. Рассказала мне это Ольга Вл[адимировна].

Г[оспо]жа Степанова, не зная, к какому моему новому слабому месту прицепиться, сунулась теперь уже совсем не в свое дело (со с[ви]ным рылом да в Гостинный ряд – русская пословица). Милочка, дескать, раньше так блестяще рисовала и обладала таким колоритом, а теперь ее Ив[ан] Як[овлевич] совсем убил и уничтожил всю ее художественную личность.

Нашла новую темку! Ух, и сколько же в этой женщине яду!

Я ничего не сужу. Когда я учу рисовать орнамент, я учу дисциплине, а когда я даю советы по этюдной части, то я проповедую самую широкую обобщающую технику и, наоборот, говорю всегда, что надо брать возможно меньше пятен (по количеству), брать их ярко и без конца жертвовать мелочами.

Это же я говорил и здешним двум художественным птенцам, Конопатскому и Юшкину.

Графика есть графика, икона – икона (строгий канон, а не Бурлюк[95]) и этюд – этюд. И, наконец, повторю еще раз: если и существует воспетое поэтами вдохновение, то только тогда оно превратится во что-то ценное, когда оно пройдет через горнило большого труда. Голое вдохновение – ноль, дилетантство.

Система книги по Египту выясняется. Хотел бы написать, да некогда: обещал навестить Лукьяновых[96]. Сейчас пойду.

Хеопсик здоров.

Сейчас 8 1/2 ч[аса] веч[ера]. Есаул спросил меня, не побью ли я его, если он сейчас завалится спать. Я благословил его на это.

Итак, если от Вас не будет вестей, начну бить тревогу: напишу мисс Джонсон письмо с вопросом, что с Вами делается.

Будьте паинькой, отдыхайте и, хоть раз в день, вспоминайте о нас.

Ваш И. Б.

P.S. Ваше отсутствие в нашей работе сильно чувствуется. Говорю без комплиментов: Вы все же у меня помощница № 1; Ольга Вл[адимировна] – № 2; потом пропуск, а затем уже Есаул, № 5 или № 6.

Он милый малый, прекрасный компаньон, человек прямой и пр. и пр., но туговат немного, конечно, не по его вине. Вы не подумайте, что я начинаю к нему охлаждаться, ничуть, ей-богу!

[*Рисунок весов, фирменного знака мастерской*]
[*Внизу листа*]
АНТИКХАНИЯ
Всеобщий Чик!

24 / VIII 1921.

[*Подписи И.Я. Билибина и его помощников, отпечатки трех разных собачьих лап*]

[*На обороте*] После такого торжественного начала должен сообщить Вам, что завтра, в четверг, начинаю музейные снимки. Не говорите об этих моих планах Конопатскому: он, чего доброго, предложит ... [*оторвано слово*] помощь у себя, в Александрии ... [*оторвано слово*] его сотрудничество не хотел бы. Я не верю в его искренность, и вообще он тихоня тихоней, но политик большой.

Мы сделаем это дело вместе с Вами. Ведь кроме текста много придется и рисовать как с предметов, так и на фот[ографических]

Гі[illegible] Хэтикъ [illegible]ній

Всебдцій Пикъ !

Іоаннъ

Ф. Сандеръ

[illegible]

Ат!

[illegible]найте

[illegible]ко

24 / VIII
1921.

Муфта

Клеопатра

Хеопсъ

см. на об. →

отпечатках (подрисовка). Так всегда делают для дальнейшего воспроизведения фотографий в клише, некоторые части, смутно вышедшие, усиливаются уже от руки. План у меня уже начинает выясняться, но пока не пишу; пусть же отстоится окончательно.

Значит, начинаю со съемки зверья, птиц и т.п. В пятницу бы не начал.

Только времени, времени нет!

Когда пишете этюды, не думайте о том, выходят ли они плохо или хорошо. Правьте основными красками и отношениями, как тройкой лошадей: смотрите на пристяжных, но не упускайте из вида коренника.

Из сегодняшних наблюдений: если на ярко освещенной стене желтоватого оттенка зияет темная дырка, окно или открытая дверь, то она будет темно-зеленая, а обводка окна желтая...

Сегодня мне казалось, что ребра между синей теневой частью и освещенной площадью оконтурены ярко-зеленой линией.

Ну, поужинали. Порисую еще архангелов. Двигаются. Все бы хорошо, если бы не два тяжелых обстоятельства, мешающих жить:

1. Ваше отсутствие и

2. Проклятая транспирация.

Горбун-папиросник обещал, что через неделю будет прохладнее. Как мне хотелось Вас увидеть, когда я вчера говорил с Вами по телефону! Спасибо Вам за «чиксы», получили. Всего, всего хорошего. Знайте, что все (за исключением двух, трех; ну, м[ожет] б[ыть,] четырех) подлецы и обманщики.

Ваш маэстро.

P.S. Вы еще увидите, какой у Вас маэстро! Не захотите разлучаться с ним навеки[1].

---

26 августа.

Милая Людмилица,

Буду до чрезвычайности краток, ибо, дабы Вы получили Ваш рисунок вовремя, письмо это строчится в наше рабочее утреннее время, что является преступлением, но для Вас – исключением.

---

[1] Приписка на полях: Очень, очень без Вас скучаю!

Хотел написать вчера вечером, но... спешу порадовать Вас, что появился не кто иной, как г[осподи]н Серая Пыль, причем он даже обрился под актера. Завтра он едет в Александрию и очень стремится повидать Вас. Вероятно, т[ак] к[ак] он имел материальный успех в Порт-Саид[е][97], он будет по-старому приставать к Вам с танцевальными просьбами.

Очень жалею: очевидно, вся эта разнузданная и распущенная русско-концертная компания нахлынет теперь в Александрию. Но теперь я уверен, что от Вас они ничего не получат.

О, если бы у меня было волшебное зеркальце, посмотрев в которое я мог бы в любую секунду увидеть, что Вы делаете!

Теперь о главном, о Вашем рисунке.

Повторяю, что он мне очень понравился. Я, признаюсь Вам, даже не ожидал, что Вы так интересно и красиво составите маленькую графическую композицию.

Никаких замечаний сделать не могу, т[ак] к[ак] мне все очень нравится. Прошу Вас об одном – сохраните в туши ту же толщину линий, как и в карандаше. Не перетончите те места, где у Вас белые линии по черному фону (бомба или ракета, что ли). Может быть, когда все будет сделано, некоторые из черных линий возможно будет чуть усилить, но это будет видно потом.

Итак, еще раз – браво!

Вот, назло одной даме, первый шаг к освобождению от пророчества прорицательницы! Только шагайте и шагайте и идите не просто так, а к цели, а тогда мы зашьем и прорицательницу, и даму эту в мешок и бросим в Лету.

Но... все же жаль, что Вы купаетесь на общественном пляже! Ведь это относится к разряду людских противоречий, т.е., с одной стороны, нельзя обернуться, когда Вы завязываете развязавшийся ботинок, а с другой, можно беседовать в почти обнаженном виде (мокрый, обрисовывающий все тело костюм) с посторонним господином на пляже! Это совершенно лишне и не нужно, и, как ни вертите, это той же категории, что и танец танго (мы на эту тему как-то говорили с Юрицыным[98]). Вальс есть вальс, красивый и легкий чистый танец, а танго есть скрытое нечто очень скверное. Нужно храбро смотреть на факты и называть их своими именами. Ну не сердитесь; берегитесь и помните, что

Вы тургеневская девушка. Россия стала гибнуть отчасти от того, что вместо тургеневских девушек появились горьковские Мальвы, герои Арцыбашева[99] и пр. и пр. Скучно, скучно без Вас.

Ваш И. Б.

P.S. А зуб мне уже выдернули!

II

28 августа 1921

28 августа 1921 года.

Милая Людмилица,

Адрес той дамы, которой Вы написали письмо через нашу мастерскую: Галяль-паша, 6. У нас никаких коммуникаций с этой особой нет, и Есаул туда тоже почти никогда не ходит. Таким образом, наша мастерская отказывается от подобных передач.

Ну вот. Воскресенье прошло, как и прочие дни: нудно и нудно. Жарища сегодня была особенная, парная и какая-то безнадежная. Утешаю окружающих тем, что, судя по рассказам лиц бывавших, на тропиках еще безнадежнее. А потом, д[окто]р Перец говорил мне, что сюда приезжают (теперь как раз) лица, служащие в Верхнем Египте, чтобы «отдохнуть от жары», и находят, что здесь рай.

Тем не менее работаем, насколько можем. Архангелы (и большие, и акварельные) неустанно подвигаются вперед. Будут, кажется мне, очень красивыми. Этюд у Лелявских я почти кончил (еще раз или два). Получилась сносная штука. Привезу его сюда на показ Бенаки, но не на продажу; если ему понравится, возьму авансик и сделаю повторение. Контур уже скалькирован. Сейчас (мы уже поужинали, сейчас около 10 ч[асов] веч[ера]) хочу начать маленький эскиз виз[антийского] корабля.

Ну, пишите же! Хотя бы коротенькие весточки. Ведь жестоко посылать через нашу мастерскую письма другим особам, а сюда ничего! Иногда я впадаю в бредовое состояние, и тогда мне мерещится Александрия, кафе, столик, а за столиком сидите и пьете чай или едите мороженое Вы в компании г[оспо]ж Шуберт[100], Преображенской[101] и разных их адъютантов или катаетесь с ними на автомобиле; но тогда я стараюсь урезонить себя и говорю: вздор! Наша милая временно покинувшая нас Людмилица сидит

себе в своей милой комнатке с видом на море и занимается графикой, и ей, бедной, осталось покейфовать только две недельки!

Простите, но еще про любимую Вами даму. Есаул рассказывал Ольге Владимировне, что дама эта жалела его: Иван Як[овлевич] высасывал все силы из Юрия и совершенно истощил его, а теперь очередь за Есаулом. Вот и все; комментариев не надо. Если Вы, Людмилица, человек справедливый (в чем я нимало не сомневаюсь), то назовите это своим именем и объясните, зачем она так поступает.

Ведь она хватается решительно за все, чтобы только очернить меня, и ей это так безумно хочется! Скоро (пока этого еще нет) она начнет лгать на меня, когда ничего другого не останется; и это будет. Но Есаул, молодчина и не Юрий, он сказал, что в квартире г[оспо]жи Степановой для него все равно нет комнаты.

Вы знаете, г[оспо]жа Васильева (жена того полковника, который держит в клубе столовую[102]) очень жалела «бедного доктора Сандера», который так много работает и занят весь день и не замечает, что жена его все свое время проводит у художника Билибина и даже белье ему чинит! Каков номер! Мы очень смеялись с Ольгой Вл[адимировной].

И вдруг все эти рассказы о болезни Фадеева[103] (слова Конопатского: «Это ни для кого не тайна»; рассказы П[етра] Ф[едоровича] Сандера, которому говорили врачи со слов других врачей, но который сам его не лечил, и т.д. и т.д.) есть только гнусная сплетня. Панков с жаром утверждал, что это ложь, и я готов ему верить.

Надо сидеть в своей берлоге и делать свое дело, а то скажешь как-нибудь невзначай:

– Ну, пора домой идти детей кормить...

– Детей?..

– Ну да, Хеопса и Клеопатру.

И довольно. Передача этого сообщения начнет набухать и набухать, а через некоторое время жена полковника Васильева скажет: «А вы знаете? У художника Билибина тайно содержатся в мастерской его незаконные дети». И матерей назовет при случае.

Хеопсик растет, но все же малюсенький. По наследству в нем одна за другой начинают проявляться собачьи замашки. Например, он лежит и дремлет. Подойдешь к нему, чтобы поласкать

его, а он уж, как большая собака, начинает стучать хвостиком по полу и откидывает в сторону заднюю ногу. Начинает тявкать на чужих, вообще входит в роль.

Ну, сажусь за рисование, если найду время, припишу еще.

Сейчас полночь. Завтра утром пойду к дантистке и опущу письмо. Выдумал тему для визант[ийского] корабля. Т.е. корабль будет совсем не византийский, а раннеренессансный. Будет красиво; и корабль, и рыбы, и камни, и вдали скалы и города. Посвящу эскизику вечера три, чтобы увлечь заказчика; сделаю маленькую миниатюрку[104].

Хотел бы через неделю двинуться в Александрию, но думаю, что не успею.

Ну, как Ваша графика? Сделайте еще что-нибудь, а потом пошлем их в «Жар-птицу»[105]. Знаете, милая Людмилица, мне, несмотря на все мои симпатии к Ольге Вл[адимировне], как-то не слишком интересно давать ей жреческие советы, т[ак] к[ак] я знаю, что микроб Антонины Христиановны в ней слишком силен. Бинт и пинцет Петра Федоровича для нее все же самое главное во всем мироздании. Сейчас она очень старается, изо всех сил пытается сделать приличный этюд, смотрит на меня, когда я что-нибудь «изрекаю», как на пророка; меня это трогает, но мне все же, с моей цеховой точки зрения, жаль ее. Я знаю, что когда мы расстанемся, все это рисование постепенно заглохнет и снова останутся бинт и пинцет. И потом, нельзя никогда так слепо и рабски верить преподавателю, как она сейчас мне верит. Преподавателя надо уважать как художника, многому верить, но все же все его замечания надо только принимать к сведению, и, главное, иметь свои собственные желания, хотя бы сейчас и почти невыполнимые. И вот, когда я увидел эту Вашу маленькую графику, я страшно за Вас обрадовался, ибо после некоторого перерыва я снова увидел молодого живого художника. Теперь Вы должны опьянеть от планов и раз навсегда сказать себе, что это для Вас Ваше единственное дело и что никогда у Вас никаких бинтов и пинцетов не будет, и тогда Вы станете уже настоящим художественным подмастерьем по средневековой постановке. Дело будет в шляпе, и Вы будете на мази.

А бедному Есаулу, пожалуй, никогда никуда не выбиться. Он, при всем своем старании, слишком дитя своего Дона и своей ста-

ницы; по природе человек он отнюдь не глупый, но колеса в художественной части его главного мозгового управления работают туго, туго и медленно, на лету он ничего не схватывает, учиться у него нет средств, возраст уже довольно значительный и, наконец, в нем нет таланта хотения. Ведь у молодого художника если и нет еще умения и опыта, но самые желания должны быть все же (и непременно) легкими и талантливыми, а он, по-моему, и этого не имеет. Я присматриваюсь к нему, чего же он хочет, и не вижу ничего.

Ну, первый час. Работайте себе на здоровье и пишите поменьше писем на Галяль-пашу. Ну, что у Вас там есть общего? Т.е. ровнешенько ничегошенько[I], есть там только вредная для Вас неврастеническая психология властной, ультраэгоистичной, стареющей женщины, бывшей прежде красивой, жившей только своими чувствами и завидующей всем, у кого есть что-то и кроме этого. А Минай бы про нее сказал: врэдная[106].

А здесь мы дадим (и даем) Вам руку, которая по мере сил поможет Вам взобраться на трудную и тернистую гору, о которую многие поломали себе ноги и которая называется Парнасом[107], где наверху живут музы.

Всего, всего лучшего. Берегите себя и отдыхайте. Дико без Вас скучающий

Маэстро.

P.S. Сегодня фотографировал в музее. Делал пока пробные, чтобы узнать долготы поз[II]. Завтра дам проявить.

P.P.S. Вы знаете? Умер Александр Блок. Ужасно жаль, и умерто от цинги.

12

31 августа 1921

31.8

Милая Людмилица, чикс! Сегодня я кончил посещение Лелявских. Мечтаю о том этюде, который будем писать вместе. Когда приедете, и здесь будет хорошо[108]. Я получил коротенькую от-

---

[I] Так в оригинале.
[II] Так в оригинале.

крыточку от П[авла] П[авловича] Гронского[109], с извещением, что и его, и моя мать, обе уже в могилах. Бедная старушка; она была такая восторженная патриотка и не дождалась падения большевиков. Про брата моего ничего не пишет. Я и сам уже давно думал, что, вероятно, мать моя не выживет: преклонный возраст и очень больное сердце. Вспоминал разные случаи из детства. Бедные они все там!

Завтра большой фотографический день. Иду в музей; а потом будем ходить вместе. Ну, всего, всего, всего, всего, всего хорошего. Ваш И. Б. Берегите себя! Будьте осторожны!

13

2–9 сентября 1921

2 сентября 1921 года.

Милая Людмилица,

Ну вот, спасибо. Прислали мне хорошее письмо, и на душе у меня именины! И то, что Вы пишете про испанца, тоже вполне благополучно. Ведь, с одной стороны, меня очень легко разволновать, но зато, с другой, достаточно одного Вашего слова – и все улаживается. Ведь я Вам верю больше, чем самому себе, ибо Вы и неправда несовместимы.

Ну, довольно об этом. Здешняя же редакция, очевидно, была «пущена», конечно, не прямо в цель, но с полной уверенностью, что она до цели дойдет. Так и вышло.

Завтра в мастерской гости. Хозяева: мы с Есаулом и чета Сандеров; гости: чета Лелявских и чета Венедиктовых. Жаль, что не будет моей главной помощницы. Поставить, что ли, портрет на Ваш стул?

Без Вас совсем неинтересно. Ведь и правда же, мы столько лет находимся все время рядом, что Вы стали для меня самым близким человеком; оттого-то и в сновидениях Вы сплошь и рядом превращаетесь в иные образы, бывшие мне некогда очень близкими; оттого-то я и беспокоюсь о Вас, как бабушка; оттого-то и скучаю без Вас непомерно; оттого-то... ну и вообще, много разных «оттого-то»!

Через неделю я должен поехать в Александрию и достать денег. Почти все высохли, и серебряный фонд тоже. Не бойтесь, достану!

Эта неделя у меня объявлена на положении высшего напряжения, т.е. рисовать до 2-х час[ов] ночи; иначе не успею приготовить желаемого.

Вчера отправил заказное письмо Бенаки с извещением, что буду в Александрии около 10-го сент[ября]. Жалко, что придется отдать вост[очную] женщину с фруктами; повторение пока только в контуре, и мне не поспеть никак. Конечно, ни о каких Палестинах и думать не приходится. Каттауи все нет, и теперь уже не я ему, а он мне должен. Мне это, конечно, тяжело.

Жду аванса от Касдагли, но боюсь, что он ничего не пришлет, разозлившись на увеличение платы. По 50 же ф[унтов] за штуку маловато, а если и придется, то пусть Есаул жарит почти без контроля.

Большие архангелы двигаются. Кончим их недели через две-три. Вы еще к концу поспеете.

Какие у меня интересные замыслы насчет фотографирования! Аппарат, слава Богу, хороший. Завтра пошлю Вам несколько проб. Работать зимою будем. На этюды ходить будем. Зря времени терять не будем. Я (имея Ваше разрешение) подгонять Вас стану, и, наконец, в Верхний Египет мы... поедем. Хочу освежиться; сейчас 7½ ч[аса] веч[ера], обалдел; пойду в клуб и позову на завтра Тихого. Лукьяновы Вам очень кланяются; я снял его у его стелы[110], а он смотрел мечтательно куда-то вверх.

Ну, всего хорошего. Набирайтесь сил; Вам недолго осталось.

Ваш старый, нудный, но верный И. Б.

P.S. Рисуночки презабавные, а я все-таки боюсь и левой половины, т.е. того, как я себе представляю.

Я не знаю, кого больше люблю: Хеопса или Клеопатру. Она – прелесть!

---

3 сентября.

Милая Людмилица,

Хотел бы Вас назвать как-нибудь понежнее, да Вы не разрешаете, а потому ставлю точки, под которыми подразумеваются самые нежные прозвища в мире.

....

Только что ушли гости. Был еще экспромтом Бибиков[111]. Посидели очень хорошо; перерыли все мои книги и фотографии,

причем Е[катерина] С[пиридоновна] Лелявская выразила желание приходить к нам в мастерскую и просматривать книги. Что же, очень приятно. Грустно быть бобылем!

Грустная и несправедливая организация! Несправедливая (я, в сущности, говорю про жизнь вообще), потому что настоящее хорошее житье небобылей основано на длительности, а длительность на содержательной дружбе и на полном взаимном консонансе, но... требуется входной билет, а чтобы получить его, достаточны признаки чисто внешние, воображаемые и подчас ничего общего с сущностью счастья не имеющие. Нет их – и никак тебе не пройти!

Жизнь зла, хотя и учит. Отчего она не рукопись, которую можно переделать заново, и не эскиз, который можно перерисовать?

Проклятый тот возраст, когда мужичок, едущий с вами в трамвае, начинает обращаться к вам со словом «отец». Это тот возраст, когда все чувства еще юны, но шансы получить тот входной билет, о котором я сказал выше, почти потеряны; и если бы явился злой или добрый волшебник (это все равно) и помолодил нашего брата, для возможности получить билет, то именно мы, какими мы стали бы хорошими спутниками, ибо мы лучше юных знаем, что крепче и что более хрупко!

Жизнь обманывает, как приказчик из Апраксина рынка, зазывающий покупателя на свои дешевые и сомнительные товары, ибо для жизни, т.е. с ее точки зрения, мы просто живые твари, звери; вот, как Муфта и Коричневый мальчик. Иначе говоря, природе важны только щенята, а не наши духовные консонансы, ибо консонансы эти пошли от вкушения плода от древа познания добра и зла, и как только человек-животное вкусил от этого самого древа познания, то Бог (или природа) закричал на него: ах ты такой-сякой! Пошел вон, я тебя проклинаю и ты мой враг!

Еще два слова. Любовь от человека. Влюбленность чаще всего от природы, от этого зазывающего приказчика. Конечно, часто за влюбленностью идет и любовь, особенно если все-таки был возможен контроль; но, пожалуй, еще чаще за влюбленностью – пустышка, т.е. природа сделала свое дело и рассмеялась: ага! попались! Ну а я свое получила и очень рада!

Батюшки! Второй час ночи! Завтра допишу и вложу две-три фотографии, и так как завтра есть завтра, то еще и еще скажу Вам

сегодня: ужасно без Вас скучно и пусто. Как я завидую Тихому, который Вас так скоро увидит и нагородит Вам миллион всякой ерунды!

---

4 сентября.

Уже сумерки. Еще день прошел. Я проработал весь день, аж голова распухла. Скверно, что за последнее время сильно глаза устали; ведь я их не щажу. Перечитал вчерашнее послание и подумал, посылать ли. Ну да уж все равно; ведь Вам не впервые получать от меня подобные эпистолии, да и, насколько я припоминаю, я Вам уже писывал про райские яблоки, La etwas aus der Bibel[1]. Да и то, что я про щенят написал что-то непочтительное, так это – про чужих, а не про наших. Наши – прелесть. Сегодня, ввиду воскресенья, Есаул причесал волосы, надел на себя пиджак и куда-то закатился праздничать (мы друг друга не спрашиваем, когда уходим и приходим); я же сидел и жарил акварелью, как неприкаянный; собачата же возились на пороге, лаяли, рычали, визжали, словом, развлекались вовсю и радовали мое родительское сердце. Право же, с ними как-то веселей. Теперь ведь они ведут себя, подражая взрослым собакам; например, лежат в тени и дрыхнут; пройдешь мимо, они, не вставая, непременно, раза три, четыре стукнут в знак привета хвостиками об пол. Потом шумно бегают ласкаться и при этом прыгают.

Утром раскатился было в Ег[ипетский] музей фотографировать, но тщетно: у этих проклятых тарбушей[112] вечные праздники; сегодня они празднуют свой идиотский Новый год[113].

Посылаю Вам три снимка, хотя Вы их не заслужили: веселитесь напропалую, нас забыли и сюда почти ничего не пишете. Негативы очень хорошие; абсолютно отчетливые. Расплывчатые места на жертвенном столике у кошки получились из-за плохого (слабого) нажима копировальной рамки, т[ак] что снимок этот бракованный. То же вышло на загогулине слева у птички. Мы сделаем себе образцовые отпечатки. Надо будет их вклеивать в альбом, чтобы ничто не потерялось, и делать подробнейшую надпись всего, что о данном предмете известно. Меня эта съемка ужасно интересует, т[ак] что теперь это, а уже не

---

[1] Что-нибудь из Библии (*нем.*).

кинема[I], будет моим запоем. Можно делать великолепные увеличения по 10 пиастров. Научу Вас снимать и заработаем вовсю! Ставлю, как и во вчерашнем послании, многозначительное многоточие...

Съем сардинок и пойду побродить. М[ожет] б[ыть], добреду до Лукьяновых. А эскиз корабля будет недурен. Канашка!

Ваш всегда И. Б.

---

6 сентября.

Милая Людмилица, сижу и колеблюсь: чи идти, чи не идти[II]. Куда? Вы, конечно, понимаете: в кл[уб]. С одной стороны, имею право, ибо работал весь день (сейчас 7 ч[асов] веч[ера]), а с другой – жаль потерять три часа времени. Вас нет; так кто же мне посоветует? Без Вас я корабль, потерявший руль и кормчего. Пишу о корабле, ибо я сейчас весь в корабле, рисуя оный.

Имажине-ву[III], сегодня стук в дверь, и появляется Каттауи. Произошла радостная архилюбезная встреча; я даже чаем его угостил, но без кекса, а с виноградом. Говорит, что совершил интереснейшее путешествие и исключительно посещал музеи. Этому я верю, но мордальон его что-то осунувшийся; по-моему, он не только музеи осматривал. Говорит, что привез мне разные фотографии; вещи его еще не распакованы. С места в карьер спросил у меня, получал ли я еще les nouvelles от princesse russe[IV]; эк ему врезалось это в голову; это он, очевидно, запомнил, что я ему рассказывал про Тенишеву[114]; и тут же, чтобы показать, что он ничуть не хуже меня, он сообщил мне важную новость, что на морском купании в Венеции, на Lido[115], он встречал тоже une princesse russe[V] Радзивилл; на что я сказал ему, что она не russe, a polonaise[VI]. И все они такие, что египтянин, что француз, что немец.

Мою миниатюрку с корабликом, так называемый эскиз для Бенаки, думаю закончить завтра. Это все что хотите, только не

[I] От cinéma – кино (*фр.*).

[II] Приписка в конце страницы: 8½ ч[аса] веч[ера]. Твердо решил: нет!!!

[III] Imaginez-vous – представьте себе (*фр.*).

[IV] Новости от русской княгини (*фр.*).

[V] Одну русскую княгиню (*фр.*).

[VI] Польская (*фр.*).

эскиз. Ну ничего; на этой штучке я хочу его раззадорить, т[ак] к[ак] по такому предварительному эскизику, какой был сделан некогда для Касдагли, правильной цены спросить нельзя; не понимают ведь ни черта. Я же сделал такую вещицу, что всякий человек, хоть капельку понимающий искусство, непременно захочет поцеловать художника.

Архангельские эскизы выходят тоже, как кажется, красиво. Толстая Оля[116] хвалит. Она как-то нагнулась, чтобы поласкать щенят, а мы с Есаулом переглянулись и улыбнулись: ну, право же, второй земной шар! А Петя такой щупленький, вроде Хеопсика.

Простите, что я пишу Вам разные дурацкие штуки, но такое уж перо дурашливое попалось. Все же не думаю, что попаду в запретное отделение Вашего сада. Думаю, что выеду в понедельник, хотя хотел бы и раньше. Вы ведь до 15? Тогда застану Вас, т[ак] к[ак] 15-ое, кажется, в четверг на той неделе.

Не слишком горюйте; в адское пекло Вы не попадете, а так, в Чистилище, ибо адова жара как будто слегка сдала. Нет уже транспирации, т.е. значительно меньше.

Посылаю Вам еще два снимочка. Еще одну «Вашу» птичку и собачек (наши живые лучше). Как только Вы приедете, закатимся на целый день с самого наираннейшего утра в Саккару[117] к Ти[118]. Все же таких дивных птиц, как там, в музее нет.

Так же как Вы пишете, напишу и я, только мало места, а потому сокращаю: with much love yours[I] Старый Джон.

P.S. Вот трусишка Хеопка Чиркинзон (от жида – Мойша и в то же время любимец Чириковой – оттуда ему и фамилия такая) где-то прячется, а милейшая Клеопатра (не знаем, как ее назвать посокращеннее; по-моему, Кутька) лежит, как верная собака, под моим стулом и спит. Это – моя симпатия. Ласковая и все время просит поиграть с нею.

---

9 сентября, миднайт[II].

Милая Людмилица,

Сегодня в 8½ веч[ера], проходя мимо телефона, а шел я к Лукьяновым мыться под душем, хотел поговорить с Вами, но мне

[I] Любящий Вас (*англ.*).

[II] Midnight – полночь (*англ.*).

было сообщено, что Вы вернетесь поздно. Попытаюсь поговорить завтра, а то писем Вы упорно не пишете, так хоть по телефону поговорить, хотя это и накладно.

Дело вот в чем: Вы без меня не уезжайте. Когда Вы едете или, вернее, хотите ехать, 15-го (четверг), 16-го или когда? Я приеду, должно быть, во вторник (13-го) вечером, чтобы в среду с утра быть у Бенаки. Часов около 9 веч[ера] в день приезда зайду к Вам, чтобы показать Вам рисунки. Может быть, Вы остались бы сверх 15-го еще денек или два, чтобы дать возможность передохнуть Вашему уставшему маэстро, который Вас так давно не видел, что один в Александрии не останется ни за что на свете. Весьма вероятно, что удастся приехать даже не во вторник, а в среду утром. Я извещу заранее. Рисую денно и нощно, но все же еще много осталось. Устал так, что держусь прямо на ниточке.

От Касдагли нет ни слуха, ни духа. Все строю сейчас на Бенаки.

Этот Касдагли мерзкий, оказывается, тип. Себялюбивый, чванный и, главное, желающий казаться широким и щедрым, будучи мелочным скупердяем.

Надо приналечь на Бенаки, чтобы он, при своих связях, помог найти еще какую-нибудь работу. Унывать пока рано. Займемся пока кораблестроением, а там видно будет. Цена на знаменитый «котон»[119] подымается, так что господам тарбушам и пр. нечего ссылаться на crise[1].

Будем зимою работать для себя, а так как Вы мне дали полномочия, то я и возьму Вас в переделку! Только держитесь! Имею Ваше же письменное подтверждение. Получил книгу, посвященную выставке «Мира искусства». Очень интересно. Репродукций мало, но зато все в красках и первоклассно отпечатаны. Дают полное впечатление. Меня это ужасно наэлектризовало, точно удар бичом. При первой возможности выпишу и «Жар-птицу». Сейчас писать обо всем этом не буду. Расскажу при встрече, а книгу увидите здесь. Я Вам выпишу такую же. Это будет подарок к Вашим именинам, хотя он и опоздает. Ужасно хочется поскорее Вас увидеть. Вы для меня единственная живая душа, с которой можно поделиться художественными планами. Ольга Влади-

[1] Кризис (*фр.*).

мировна не «горит» этим делом; она просто временно «занимается»; Есаул же еще в слишком приготовительном классе; даже еще и не художественная гусеница, а просто яичко, если только из него что-нибудь получится, так как оно очень залежалось.

Собаки – прелесть. Сейчас они, несмотря на первый час ночи, бурно носятся друг за дружкой по мастерской, наталкиваются на стулья, рычат, визжат, тявкают и иногда шлепаются. Рвут бумажки и грызут ножки стульев. Пускай себе! Мебель не ампирная[120]! Я не протестую. Чиркинзон (он же Хеопсик) в два раза меньше Кутьки-Клеопатры. Начинают лаять на чужих и сопровождать мать в набегах на кошек. Часто спят под моим стулом и во время сна иногда тявкают, когда видят собачьи сны. Интересно бы увидеть такой сон! И ерунда же, вероятно, им снится. Я их нежно люблю.

Муфта уродлива, как смертный грех, грязна, дряхла и беззуба. Шерсть на передней части туловища линяет, а сзади осталась какая-то бурая грива; хвост же превратился в какую-то проволоку. Уж и собачка!

Ну, теперь уже до скорого! Хотя, конечно, я еще успею написать Вам, а Вы, злая девочка, конечно, не успеете.

Всего, всего хорошего. Берегите себя. Ваш И. Б. (Бум)

14

11 сентября 1921

11 сентября 1921 год[а], воскресенье.

За полночь.

Милая Людмилица,

Как и полагается по военным правилам, после месячной осады моих текущих работ, вчера и сегодня был произведен решительный штурм; я почти не спал ночь и сегодня просидел, почти не вставая, 13 часов кряду! Победа полная! На завтра осталось работы не больше как часа на три, на четыре, затем кантовка и ура!

Во вторник выезжаю с 7-час[овым] утренним поездом. Иду прямо к Бенаки, а затем, позавтракав, между 2 и 3 зайду к Вам и принесу Вам все на показ. Если же Бенаки предложит мне в это

же время поехать осматривать яхту, то я Вам протелефонирую и попрошу у Вас другого часа для rendez-vous[I].

Я страшно счастлив, что еду. Только бы удачный исход у Бенаки. Ангелы вышли красивые. Везу 6 штук: 2 этюда (Мокаттам[121], виденный Бенаки, и «Лелявский»; согласился бы только на повторение), купленную и (увы) уже оплаченную «Матоссианку», двух ангелов и миниатюру с кораблем. Эскадра маленькая, но отборная.

Завтра пойду стричься. Решу важный вопрос, какие взять галстуки, и... постараюсь не проспать.

Я и забыл, как Вы выглядите. Ведь, если я не ошибаюсь, Вы малюсенькая полная блондинка со взбитыми воздушным пирогом волосами, с зеленоватыми глазками, с тумбочками вместо ног и с запломбированными золотом зубами. Жалко, что Вы такая. Я бы предпочел, если бы Вы были выше среднего роста, стройная, с темными волосами и с маленькой закорючкой около зрачка одного глаза.

Ну, до скорого! Псята опять теперь в мастерской.

Ауф-видерен[II]!

Иорс трули вис лав[III].

Джон Бум.

15

26 апреля 1922

26 апреля 1922 год[а].

Милая и хорошая Людмилица,

Вчера, во вторник вечером, я вернулся в опустевший Каир[122], а сегодня первый день работы.

Пока что ужасно пусто и бесконечно грустно. Тщательно завернув в бумагу, перевязал веревочкой и спрятал Ваш фартук: милая реликвия. Ольга Владимировна больна; ни сегодня и вообще ни разу во время моего пятидневного отсутствия в мастерской не была, т[ак] что работа нисколько не подвинулась. П[етр] Ф[едоро-

---

[I] Встреча (*фр.*).

[II] Искаж. от auf Wiedersehen – до свидания (*нем.*).

[III] Искаж. от yours truly with love – искренне Ваш, с любовью (*англ.*).

вич][123] говорит (я его видел), что она еще два дня не будет в состоянии приехать. Вот и ускорение работы, и быстрый темп!

Коллаборатриса Чирикова приходила рано и точно, оттого и утрата ее есть большая утрата для дела. Бибиков – молодец: работал неустанно.

Сейчас уже поздно. Я только что вернулся с [«]Parisette[»][124], куда ходил с Бибиковым. Писать много не могу, да и что писать-то? Представьте себе нашу мастерскую, наше с Вами расставание, и Вы можете безо всякого письма вообразить себе все, что здесь делается. Клуб, Тихий, Горицын, дальше – вся невероятно неинтересная клубная публика. Однажды пришлось-таки проехать мимо [«]Connaught House'a[»][125]. Я хотел было отвернуться, но не мог и посмотрел на Ваше окно; окно было темное.

С невероятным нетерпением жду от Вас весточки. Может быть, Вы уже со своими.

В Александрии, чтобы отвлечься и не слишком бесцельно беспокоиться (ибо какую я мог бы оказать Вам помощь? сознание бессилия ужасно), я рьяно фотографировал в музее[126] и наснимал без трех штук пять дюжин!

Я не имею еще результатов. Жду с большим интересом.

Как-нибудь потом напишу Вам об Александрии первых веков христианской эры, но еще не христианской Александрии, а греко-римской. Получается очень интересная канва для новой темы. Вот пришлю Вам после 1-го (сейчас мафиш филюз[1]) снимки и тогда кое-что к ним припишу.

Милая Людмилица, отнеситесь к этой мертвой бумажке с каракульками, как будто бы это я пришел. Вам очень хорошо и верно сказал на прощание П[етр] Ф[едорович]: «Если Вы найдете и наполовину таких друзей, каких Вы оставили, то и это будет очень много». Это – правда.

Когда Вам будет лень или некогда писать письма в конвертах, то посылайте хотя бы открытки с какой-нибудь милой фразой. Это будут Ваши посещения мастерской, и Вы тем самым покажете, хотите ли Вы навещать мастерскую или нет.

Глаз Екатерины Михайловны[127] пошел явно на улучшение. Я очень рад. Жалование Петру Фед[оровичу] продлили на месяц.

---

[1] Нет денег (*араб.*).

Я получил долг от Панкова, написав ему напоминающее письмо из Александрии.

Сегодня же я написал письмо Стрекаловскому[128] с просьбой вернуть долг. Я начинаю быть злым и безжалостным. Вчера же на ночь (тоже чтобы быть злым и безжалостным) я выпил 4 столовых ложки касторки, ну и т.д.

Ну, пишите же, милая, бесконечно милая помощница.

Знаете, в мировом пространстве есть много светил, которые гораздо больше нашего родного Солнца, но если бы оно погасло, то жизнь на земле прекратилась бы.

Привет Вашим.

Ваш И. Б.

[*Рисунок весов*]

Sharia Antik-Khana, 13,
La Caire[1], Egypte.

16

29 апреля – 2 мая 1922

29.4.1922.

Милая Людмилица,

Сейчас почти час ночи. Ольга Владимировна болеет уже вторую неделю и не ходит. В Александрию вернулся Бенаки и справлялся обо мне. Просто паника. Я разрываюсь на части. Бибиков работает в свои определенные часы и затем, конечно, уходит. Конечно, я жалею О[льгу] В[ладимировну], но что это за коллаборатриса! Она, не будучи виновата, меня буквально зарезывает. П[етр] Ф[едорович] не ручается, что она скоро поправится. Сегодня я его вызвал и спросил, надолго ли это, иначе мне придется изобрести что-нибудь иное; но что? ведь пригласить буквально некого. Разные мазуны, вроде Есаула, который, вероятно, думает, что акант есть род крокодила, только тормозили бы дело. Вот-с.

С утра до вечера я в состоянии ярости. Где уж тут египетские сказки и прочие замыслы.

[1] Так в оригинале. Правильно: Le Caire.

И вообще, тоска, доводящая до отчаяния. Целый день – неинтересная мазня, жара, собаки с их клещами, примус или «приказчичий» клуб со всеми его идиотами, Пе[тр] Фе[дорович] и два милых, но все же скучноватых буржуазных семейства, в одном кумир – Колечка, а в другом Сереженька, засим «Галяль» с Габриэлем и, наконец, кинематограф, кинематограф и кинематограф. Фу, какая гадость!!![*]

А раньше было и полно, и светло, и хорошо. Ах да, Сальша меня поднадула. Приходит как-то и говорит, что к ней должна чуть ли не в тот же день приехать M[ademois]elle Beaud[I]- - - - -[II], что она меня приглашает дня через два, а Beaud будет жить у нее. Вчера в 9 ч[асов] вечера пошел, считая, что хозяек будет две, а не одна. Прихожу: апельсины, печенья, чай и все, как полагается, но только никакой M[ademois]elle Beaud нет. Оказывается, что она вообще должна приехать. Ну, посидел, поговорил о политике и об Атлантиде[129] и ушел.

Сегодня ужинал у Лелявских. Правда, накормили вкусно. Говорили о кирпиче, который себе Сандеры навязали на шею, в лице брата О[льги] В[ладимировны] и его семьи (все еще без дела; знает франц[узский] язык настолько, что может купить себе папирос, т.е. «донне муа закуре»[III]), далее – о нашем общем желании сослать наших собак на луну, далее – о фальшивомонетчиках и о теории Ейштейна[130], в которой я ни черта не понимаю. Потом, конечно, кинема. Пришел и Бибиков. Он сейчас solo[IV], ибо жена его в Александрии. После кинема зашли с Бибиковым к Sault'у и выпили кофе по-венски. Засим Sharia Antik-Khana, прогулка с собаками по саду, наконец, сие послание, которое я кончу завтра, а пока пойду спать.

Развеселое житье.

Положил бы динамитцу под весь земной шар да взорвал бы его! Или устроил бы всечеловеческий погром... Ну, зарапортовался.

Спокойной ночи. Отчего нет писем? Беспокоюсь. Милая, милая Людмилица. Без Вас так ужасно скучно.

---

[*] Редакционная поправка, через 4 дня: предлагается читать вместо слова «гадость» – «тоска».

[I] Мадемуазель Бо (*фр.*).

[II] Так в оригинале.

[III] Donnez-moi – дайте мне (*фр.*); закуре́ – искаж. закурить.

[IV] Один (*ит.*).

30.4. Воскресенье.

Ну-с, сейчас 7 часов. Сумерки, и в пальмовых ветках моего сада запутался молодой месяц. Целый день мазал розы; испек 4 штуки. Завтра должен прийти Мидхат; хочу, чтобы было побольше показного, а розы алые и заметные. Сходил на Маруф, принес огурцов и булку. Попишу с полчаса продолжение письма, закушу и пойду к Лукьяшам[131].

10-го мая камп[132] и всех безработных перевозят в Болгарию. Тихий говорит, что в кампе творится нечто невообразимое: шум, гам, все мечутся, не зная, ехать ли или как-нибудь «устраиваться», и, главное, по словам Тихого же, не могут решить, что им делать с курами и собаками. Интересно, что предпримет наш Есаул.

Я никого ютить у себя не стану. Мне до всех все равно. Я стал одиноким, а потому буду черствым эгоистом*, буду работать до упаду и копить деньги. Это – моя новая эра. Только для Вас ворота моей души всегда открыты. Это Вы и так знаете, и если понадобится моя помощь, то обратитесь ко мне, Вы мне доставите большую радость.

Хеопс меня необычайно полюбил, а Кутька почему-то держится в стороне, а он, наоборот, всегда при мне. Вот и сейчас дрыхнет на соседнем стуле.

Вчера видел сценку. Немного в стиле моих предсказаний о г[осподи]не Сивкове (помните?).

Пошел это я в 6½ ч[аса] вечера в клуб [«]Мухамед Али[»][133] (недалеко от нашей площади Сулейман-паша), чтобы повидать своего Мидхата. Там мне сказали, что он придет через полчаса. Я пошел на Нил к Semiramis Hotel[1]. Был чудный закат, золотой; пальмы на том берегу тонули в золоте солнца, и Нил был какой-то очень красивый.

Иду обратно. Вижу впереди меня на широком тротуаре около английских казарм[134] целый караван, а именно: две детские коляски. Высокий несколько сутулый мосье в канотье, надвинутом на уши, ведет за руку девочку, а рядом еще дети; сколько – не по-

* Редакционная поправка через 3 дня: место об эгоизме немного преувеличено, ибо автор не такой уж злой человек и много вообще пишет лишнего. М[ожет] б[ыть], он хочет разжалобить читателя.

[1] Гостиница «Семирамида» (*англ.*).

мню. Одна из колясочных возниц, кухаристого вида, но, очевидно, сама мадам, оборачиваясь назад, резким крикливым бабьим голосом отчитывает мосье, а тот гудит себе что-то в оправдание. Милая семейная прогулка. Я обгоняю караван и говорю: «Bonsoir, monsieur Lefevre[135]!»[I]

Бабий крик умолкает. Лефевр испуганно оборачивается и, улыбаясь, говорит: «Bonsoir, Mr. Bilibine, comment ça va?»[II], ну и т.д.

Вот и занимайся археологией!

Пойду пожру, а потому к тем двум бонсуарам прибавлю третий: «Bonsoir, M[ademois]elle Tchirikova!»[III]

2 мая, вторник.

Наконец-то сегодня большие новости: Ваше интересное письмо из Венеции «всем, всем, всем» и великолепная посылка с фотографиями для художника Билибина. Фотографии великолепны, подбор прекраснейший; видно, что посылала первая коллаборатриса. Художник Билибин (он же – карандаш) от всей души благодарит свою помощницу в запасе (пока еще не в отставке), и т[ак] к[ак] стоимость фотографий указана, то деньги он вышлет. Письмо, пока что, было показано А[лександру] С[ергеевичу] Бибикову, Ольга же Вл[адимировна] до сих пор не ходит (режет меня); сегодня вечером покажу Венедиктовым, к которым иду мыться. Я очень рад, что Вы побывали в Венеции и видели столько красивого. Очень рад, что Вы едете, по-видимому, благополучно, что явствует из того, что написано Вами.

Но... как рылся и в конверте письма, и в посылке бедный, осиротевший Бум, думая найти хотя бы одно слово, лично ему написанное! Но, конечно, такое слово будет; поскорее бы только.

Был у Венедиктовых. Ванна дивная. Чувствую себя облегченным и помолодевшим. Уж и скоблил я себя! Со мной туда пошел пришедший ко мне Ховсепьян. Ек[атерины] Михайловны не видели. Она плохо себя чувствует из-за аппендицита. После ванны пили чай с Ник[олаем] Александровичем и мирно и мило беседовали.

[I] Здравствуйте, господин Лефевр! (*фр.*).
[II] Здравствуйте, господин Билибин, как дела? (*фр.*).
[III] Здравствуйте, мадемуазель Чирикова! (*фр.*).

Известий о сегодняшнем состоянии здоровья О[льги] В[ладимировны] не имеется. И некого взять-то! Не Кассесинова[136] же! Просто ужасно. Но, тем не менее, я работаю и над кораблем. Ваши фотографии дали мне ряд интересных мыслей и тем. Только к чему все это?! Все равно – я раб, и для себя ничего не могу делать.

Сделано сейчас вот что: два букета на овалах и близится к концу весь орнаментальный контур на больших панно. Дня через два приступлю к компоновке маркизы. На корабле я навожу детальный контур на воинов. C'est tout[I].

Просил Ховсепьяна сообщить Юрию, что от Вас есть письмо.

Я установил норму: на свое пропитание en tout[II] тратить максимум 20 пиастров в день. 7 пиастров папиросы, т.е. 810 пиастров в месяц; 64 пиастра в месяц на кинема; итого 874 пиастра. Если положить на жизнь 10 фунтов, то остается на непредвиденные расходы 126 пиастров.

Был брат Махмуда. Условился давать уроки 2 раза в неделю за 5 ф[унтов]. Это на фотографию. Хочу копить деньги на свидание с Вами.

Ну, прощайте, милая Людмилица. Помните, что и за тысячами километров Вас так же любят, как когда Вы были в двух шагах.

Перед каждым важным поступком считайте до ста, а то и до тысячи.

Любящий Вас старый хрыч И. Б.

P.S. Не забудьте ответить мне на такой вопрос, кот[орый] меня очень интересует: что, после Венеции впечатления, полученные в Верхнем Египте, сильно померкли или нет?

Привет Вашим.

17

4–5 мая 1922

4-ое, в сущности 5-ое мая, ибо уже 1 час ночи.

Милейшая Джукси,

Извините, что я Вас так называю, но сейчас я вообще доволен: вернувшись от Перецов, где, как обычно, обедал, засел за

[I] И все (*фр.*).

[II] Всего (*фр.*).

рисование и набросал титульный лист для поэмы Пентаура[137], которую я окончательно выбрал для художественного воплощения.

Голова молодого Рамсеса II, заполняющая собой всю страницу (формат большой). Модель – статуя Рамсеса в Турине[138]; лучший Рамсес; фотографии найду. Фараонский шлем со змеей срезывается рамой*. Шея, ожерелье и часть плеча. На высоте плеча, на фоне маленькие фигурки рабов, ведущих боевых коней или какое-нибудь иное шествие. В углу наверху, в вертикальном расположении, картуш[139] с иероглифом – имя Рамсеса. Вот и все. Будет строго, просто и импозантно. Я очень доволен.

Сейчас писать некогда, ибо поздно, пора спать, и вообще я устал. Сегодня я усиленно рисовал 11 часов: 8 для чужих и 3 для себя.

Вообще, как видите, посылаю Вам письма-дневники, а Вы (маленький свинтусятина) почти всем прислали «частные» или «личные» открытки, а мне пока нет.

Не смейте влюбляться в чеха. В следующий присест напишу Вам о трагедии Е[катерины] С[пиридоновны] Л[еляв]ской, жены Сереженьки, которую мне рассказала Ек[атерина] Михайловна [Венедиктова]. Для Вас – назидательно.

Ну, желаю Вам побольше рисовать и ни о чем другом не думать (разве что о маэстро; о, не ругайте!).

P.S. Ольга Влад[имировна] начала работать.

5 мая, пятница. Половина двенадцатого ночи.

Так вот, эта самая история об этой молодой даме, обладающей большими данными к искусству, но похоронившей свои таланты.

Да, еще маленькое отступление. Оказывается, все мои частные упреки, которые я ей делал по поводу ее рисовального ничегонеделания, были для нее ударом ножа в самое наболевшее место, и она, оказывается, даже расплакалась у Ек[атерины] Мих[айлов]ны. Теперь я изберу другую политику, более обходную, но, конечно, в покое ее не оставлю. Не надо рабынь и – «дорогу женщине!» Не правда ли? Но только... дорогу не по теории г[оспо]жи Степановой. Между прочим, галяльцы[140], с момента отъезда этой дамы, не имеют о ней ни одного известия и, кажется, тревожатся.

* Сегодня, в воскресенье, передумал, и шлем будет сделан целиком.

Итак, к делу. Молодая особа, о которой идет речь, была замужем. Муж боготворил ее и, насколько я понял, не противодействовал ее художественным наклонностям. Во время Деникинской катастрофы он где-то в Екатеринодаре[4] или Новороссийске умирает от последствий сыпного тифа. Образовалась какая-то штука в горле, и он начал задыхаться. Жена помчалась к какой-то врачебной знаменитости и умоляла эту знаменитость немедленно приехать, но знаменитость согласилась приехать лишь вечером, считая, что имеет дело с истерической барынькой. Когда же жена приехала домой, то муж уже умер от удушения. В этой смерти она почему-то, хотя совершенно неосновательно, усматривает свою долю вины.

Вскоре (не знаю, в России ли еще или во время эвакуации) она знакомится с молодым и талантливым по своей специальности инженером С[ергеем] Н[иколаевичем] Л[елявским]. Он – избалованный молодой человек, бывший баловень своей семьи и потому страдающий от одиночества, от отсутствия ухаживаний и семейного комфорта и от предоставленности самому себе. Не знаю, была ли с ее стороны также и доля жалости, но только они очень увлекаются друг другом и сходятся, но не женятся, хотя оба имели полное право. Он настолько пропитан светскими привычками и замашками, до того педантичен, не широк и духовно не свободен, что не ему быть сторонником свободного брака. Да и, повторяю, не было ничего, что бы помешало им повенчаться. Однако он этого до сих пор не сделал, что, кажется, ее в достаточной мере [угнетает]. Во всяком случае, эта встреча и сближение было тем, что я называю «воскресеньем», причем воскресеньем, как в большинстве случаев бывает, не думающим о последующих буднях.

Но будни пришли. Вы знаете их обстановку. Недавно она снова говорила мне и даже с подъемом, что она через два дня придет к нам в мастерскую и вообще будет часто приходить, чтобы смотреть книги и дышать художественным воздухом, который она так любит. Но она ни разу не пришла. Ее не пускают сюда, а меня, по правильному предположению Ольги Вл[адимировны], скоро, вероятно, не будут пускать к ним в дом, хотя завтра еще я туда иду и, конечно, буду подливать незаметной струйкой яд.

И вот, несколько дней тому назад она была у Ек[атерины] Мих[айлов]ны, расплакалась и сообщила ей, что это ее долг во ис-

купление какой-то вины пожертвовать своей личностью для полного счастья своего мужа, но для себя лично она почла бы за высшее счастье уйти не на час и не два, а совершенно, с головою в искусство, которое она безумно будто бы любит. Но она этого не сделает и т.д. и т.д.

Но посмотрим. Ник[олай] Ал[ександрович] находит тоже, что ей надо выбиться на свою дорогу. Я тоже это нахожу и нахожу больше, а именно, что постройку их надо разрушить[I]. Только ради Бога, не делайте каких-нибудь неправильных выводов на мой счет.

Вот-с, милая Людмилица, подумайте об этой истории. Синяя птица не у Вас там, а здесь на пальме у моего окна.

Я почему-то думал, что у Вас будет не в таком продолжительном времени «тоска по родине». Только не бросайте работы. Только, только и только в работе найдете счастье. «Жизнь», по учению г[оспо]жи Степановой, отдельная от работы, мираж или короткое «воскресенье».

Если бы я не был забронирован работой, то сейчас я бы подох от тоски, грусти и пр.

Ну, пишите обо всем самом откровенном и подробнейшим образом. А я... dum spiro, spero[II].

Час ночи. Погуляю с псами и спать.

Днем жара и духота, но сейчас прохладно и продувает приятным ветерком.

18

7–9 мая 1922

7 мая, воскресенье, 12 ч[асов] ночи.

Вчера ужинал у Лелявских. Познакомился у них с г[оспо]жой Лихачевой[142]. Ничего себе. Дама, имеющая взрослого сына (его здесь нет), но очень умело молодящаяся, так что порою выглядит еще совсем молодою. Вот бы мне обучиться этой науке. Держит себя хорошо, немножко развязно, очень хорошо говорит по-французски и прекрасно ведет общий разговор на какую угодно тему. Сидит, закинув ногу на ногу, курит папиросы (мундштук

[I] Приписка в конце страницы: А не оставить ли их в покое?

[II] Пока дышу – надеюсь (*лат.*).

длинный, маленькая золотая спичечница), обладает отшлифованными остроконечно остриженными ногтями и носит легкое декольте, причем одно плечо, как бы нечаянно, обнажается несколько больше, чем другое, платье черное и простое; нога маленькая, чулки черные, прозрачные. Губы сильно подкрашены; волосы тоже, очевидно, крашеные; цвет золотистой соломы. Вот видите, какой подробный портрет, а Вы говорите, что я ничего не замечаю. Потом пошли все вместе в кинема. После же, когда мне пришлось довести эту даму до дому, т[ак] к[ак] Лелявские, естественно, пошли домой, она выразила желание навестить мою мастерскую, но дня не фиксировали.

Утром сегодня фотографировал в музее. Ужасно там все-таки негостеприимная публика, не то что в Александрийском музее. Разрешать брать вещи из шкафов – разрешают, но так, что чувствуешь, что это им и трудно, и нудно, и что вообще они этого не любят.

К поэме Пентаура я приступил. Ел борщ в «приказчичьем» клубе, рисовал Бенакиевский корабль и, с наступлением сумерек, пошел навестить Ек[атерину] Мих[айловну]. У нее целый файф-о-клок[I]: какие-то русские молодожены и, представьте себе, опять m[ada]me[II] Лихачева.

Вечером пошли en deux[III] с Коленькой в [«]Космограф[»][143], а сейчас пишу Вам и сейчас же кончу, ибо я теперь человек сугубо рабочий.

Ах да, часов около пяти – стук в дверь, и пришла проститься Катюша Альтухова. Едет завтра в Сиди-Бишр, а оттуда вскоре, быть может, – в Болгарию. Ей очень не хочется, и она еще и сама не знает, поедут ли ее сородичи или нет. Ее все (и я в том числе) очень уговаривали убеждать сородичей не ехать. Посылка беженцев в Болгарию есть посылка их на явную нищету. Они там будут беженцами 2-го разряда; паек будет очень скудный; русских там до 70 000, и здесь, конечно, лучше, тем более что их «столп», пожилой инженер (я не помню его имени и фамилии), состоит на какой-то определенной службе. Простились очень ласково, очень много, и, конечно, в самой сердечной форме гово-

---

[I] Five o'clock – время чаепития в 5 часов вечера; полдник (*англ.*).
[II] Госпожа (*фр.*).
[III] Вдвоем (*фр.*).

рили о Вас и обещали друг другу обмениваться изредка, в случае если они уедут, хотя бы открытками.

Милая Людмилица, Вы ведь уже давным-давно в Праге, если только Ваша Венеция окончилась благополучно и если никто Вас не похитил в гондоле; что же нет от Вас писем?! Смотрите, извольте писать подробно и обо всем! Посылайте эскизы на обсуждение, помня, что Вы еще самый милый, дорогой и незабвенный член мастерской.

Ну, иду спать. Завтра еще припишу, а послезавтра отправлю.

Ваш И. Б.

P.S. Нельзя не сообщить, т.е. даже должно. Вас, оказывается, провожал с громадным букетом цветов, бегал по платформе и искал Вас арабский толстый господин, сидящий при входе в Музей и говорящий про себя: «Jesuisun russe»[1]. Я сказал ему, что сообщу Вам об этой печальной незадаче.

P.P.S. Спасибо Вам за «нечто» в поезде. Поэма Пентаура будет Вам моей благодарностью.

8 мая. Опять около часа ночи.

Сегодня было много русских посетителей. Очень мешали. Кроме того, через Китикаса пронесся слух, что сегодня должен появиться в Каире Бенаки. Я ждал его весь день, но его не было. Вероятно, будет завтра.

Ох, что-то потрескивает в Бенакиевском дереве! Вот, и сейчас треснуло. Завтра посмотрю; м[ожет] б[ыть], это в верхней доске, т.е. в прессе.

Вот Вы говорили, что я буду на что-то ворчать, когда буду работать над кораблем. Наоборот, я с умилением думал: вот эту площадку замазала милая Людмилица в своем полосатеньком фартуке, и казалось мне, что мы работаем вместе. Ведь многое, что я Вам с легкостью расписываю, это просто так, храбрость, а на самом деле мне так без Вас ужасно скучно. Особенно в эти часы ночного одиночества. Сидишь и вспоминаешь какую-нибудь деталь из Новороссийска, из «Саратова» или здешнюю, каирскую.

Что Вы, например, сейчас вот, в данную секунду делаете, спите ли или веселитесь[?] Ужасно это, когда нельзя никак, никак

---

[1] Русская богиня (*фр.*).

перекликнуться. Когда Вы жили летом в Александрии, был хоть телефон, а теперь ничего, только мысли.

Когда Вы были здесь, я до самого отъезда не мог приять разлуки с Вами, ну, как, например, люди не приемлют понятия о смерти. Однако же случилось; и все здесь, казалось бы, так же; так же ругаются арабы на Маруфе, так же приходит яичница, те же улицы, тот же [«]Connaught House[»], а Людмилицы нет. Это совершенно дико!

Я гоню от себя эти мысли, а они снова лезут и лезут, как муравьи.

Все это, начиная с Крыма, очевидно, тоже, как и у Ек[атерины] Спиридоновны, какая-то кара. Счастье людское – несправедливая штука: одни получают его легко, незаслуженно и даром, а другие, готовые отдать за него всю душу, остаются ни с чем. Эх! Кутька да Хопка! Пойдемте, ребята, спать. Если завтра не припишу и не отправлю написанное, то всего хорошего. Вспоминайте оставшихся позади Вас. Привет Вашим. Ваш И. Б.

P.S. Вам не скучно читать мои длинные реляции здешней жизни? Скажите.

Вторник, 9-ое мая.

Только завтра утром пошлю письмо, а потому отниму у Вас еще немного времени.

Ждали, ждали Бенаки, а он, оказывается, еще и не приехал. Обнаружил новую и довольно значительную трещину, в области города с левой стороны по боковым домикам. Чертова доска!

Что это все маруфные арабы что-то распелись, бьют в бубен и вообще веселятся. Теперь у них пост[144], а по ночам они едят и радуются. Сейчас двенадцатый час.

Завтра Ек[атерину] Мих[айлов]ну везут оперировать от аппендицита. Глазу же несколько лучше.

В следующее письмо (через неделю) я вложу несколько новых музейных снимков. Снимал продолжение птолемеевских[145] рельефов на небольших кусках камня (знаете, предполагаемая художественная мастерская). Александрийские же снимки вышлю попозже, ибо их целых 56 штук.

Посылаю Вам туринского Рамсеса II, которого я переснял из одного издания в библиотеке музея. Завтра закажу большое увеличение для моих целей. Линия профиля, как видите, видна хо-

рошо, но только снят он немного снизу. Мне очень нравится. Конечно, глаза придется сделать, как на фресках и в барельефах, почти en face[I], т[ак] к[ак] этот снимок со статуи и, следовательно, с настоящим перспективным ракурсом.

Буду посылать Вам снимки с рисунков для поэмы Пентаура по мере их изготовления.

Видите, милая Людмилица, я хочу держать Вас в курсе решительно всего, что у нас делается, как будто бы Вы все еще с нами. Делайте и Вы то же.

Повидайте Маковского[146], покажите ему мои рисунки. Если хотите, можете, по прилагаемой здесь бумажке, взять на хранение разные мои старые рисунки, которые могут оказаться у разных лиц, у Маковского, Когана[147] и пр. Это было бы хорошо.

Ну, надо кончать. Боже, как жрут комары! Выглянул в окно: луна светит вовсю. Бойтесь луны и не верьте ей. Она, как вино, обманщица. Решения делайте в ранние утренние часы, когда так подходит музыка Баха или Моцарта, когда мир принимает вид мира Фра Беато[148], а не вечером и тем паче не ночью, когда ангелы уходят и выползают демоны и грех и когда живопись Фра Анжелико сменяется образами Гойя[149] или Фелисьена Ропса[150].

Буду молиться моей богине муз, чтобы она не покидала и Вас и зорко следила за всеми Вашими шагами.

Ну, посылаю Вам все лучшее, что есть у меня в душе и сердце. Вашим привет. О[льга] В[ладимировна] отрабатывает в афтернунное[II] время потерянные часы. Работаем все трое очень дружно, но все же... и т.д. – сказка про Белого Бычка.

Ваш И. Б.

19

16 мая 1922

16 мая 1922, 91/2 ч[аса] утра.

Милая Людмилица,

Только что получил Вашу первую открытку из Праги. Наконец-то! Очень обрадовался, что Вы благополучно добрались до

[I] Анфас (*фр.*).

[II] От afternoon – послеобеденное время (*англ.*).

Праги, а что до прочего, т.е. Ваша одинокость и пр., то это так и должно было быть, моя милая странница.

Ну, ничего! Вы не в Совдепии[1], а потому хоть оно и трудно, но сношения с Вами не потеряны. Это Вы, сударыня, извольте помнить и понимать! Понимаете? Только не делайте с тоски никаких глупостей и необдуманностей; и, наконец, если по прошествии некоторого времени Вы увидите, что поступили неправильно, то имейте храбрость, сломив свое упорство, сознаться в ошибке. Например: бегство, во что бы то ни стало, из Антикханской мастерской в туманную даль. Ведь, милая Людмилица, Вы сами того не понимаете, как близка Вам эта «Антикханская мастерская» (изберем пока такую «фирму»), и если Вы в Вашей экономной по содержанию открытке все же сознались в одиночестве, то насколько больше тоскует от одиночества Ваш старый маэстро, не находя себе прямо места.

И вот теперь опять начинаешь думать о каких-то переездах куда-то и зачем-то, об укладке чемоданов, о брошенных и недоконченных делах, о Парижах и пр. и пр., когда, в сущности, надо еще сидеть здесь и углубляться до корня в Египет. И сидел бы, и не рыпался бы, если бы знал, что ежедневно, как хронометр, ровно в 9 часов утра, а то и раньше, будет стук в дверь, помчатся навстречу собаки, а за дверьми окажется самое милое и самое любимое существо на свете, моя главная помощница Людмилица.

Вот, написал эти строчки, а в глазах что-то набухло.

Считайте же, что мы все еще вместе и, главное, при общем и любимом деле. Жду большого письма с нетерпением. Вообще же должен Вам сказать, что я так многого в Вашем образе действий не понимаю; да Вы и сами не понимаете, честное слово, и, думая что-то распутать, только усложняете дело.

Ну, пойду рисовать. Пора! О[льга] Вл[адимировна] сказала, что придет сегодня часов в 11, но останется на афтернун. Итак, хотя и буду, вероятно, писать Вам сегодня же вечером, но, тем не менее, желаю Вам доброго духа и заклинаю не делать никаких глупостей и необдуманностей. Последнее пожелайте и Вы мне. Есть тоже опасность глупостей, особенно если не будет от Вас писем.

Ваш И. Б.

---

[1] Не в Советской России.

8 1/2 ч[аса] веч[ера]. Через четверть часа пойду к одинокому Н[иколаю] А[лександровичу] Венедиктову брать ванну. Ек[атерина] Мих[айловна] в клинике. Последствия аппендицитной операции протекают вполне благополучно. Вернусь и еще попишу, а завтра отправлю.

«Глупостями» я главным образом называю случайные и недостаточно проверенные встречи. Есть очень и очень много грязных негодяев, набросивших на себя благородные, вполне чистые и непроницаемые плащи, и таких гидальго[151] очень много[I].

Не сердитесь на меня; я ведь теперь бессилен мешать Вам в чем бы то ни было, надоедать и менторствовать. Только и могу, что писать эти бумажки, называемые письмами. Перерыв.

Ну, вымылся, попил у Н[иколая] А[лександровича] чаю и вернулся домой. Жарко, несмотря на ночь. У калитки на тротуаре спят какие-то арабы, вытянув, как жерди, голые ноги. Н[иколай] А[лександрович] просил передать свой привет от себя, равно как и от Ек[атерины] М[ихайловны]. Они тут сделали неловкость по отношению к добрейшему П[етру] Ф[едоровичу][152], а теперь, очевидно, сами чувствуют; ну да об этом в другой раз; а во-вторых, П[етр] Ф[едорович] просил по возможности не распространяться.

Посылаю Вам несколько птолемеевских барельефных этюдов из той же предполагаемой скульптурной мастерской, из которой у Вас есть несколько снимков. В четверг, если дадут, буду снимать из этой же серии.

Равным образом посылаю Вам портрет Вашего осиротевшего маэстро. Снимался для наклейки на вид на жительство.

Сегодня получил еще несколько новых музейных снимков (между прочим, три головы Рамсеса II), но сегодня Вам их не посылаю, не имея еще дубликатов; да и вообще, я прекращу длинные письма и буду отделываться, как и Вы, carissima[II], открытками, если Вы не исправитесь и не будете мне <u>лично</u> посылать один раз в неделю настоящее письмо. Я же это делаю, отнимая на это время от поэмы Пентаура, но, конечно, делаю я это, потому что мои чувства к милой Людмилице гораздо сильнее, чем ее ко мне.

Я Вас на этот раз накажу за Ваше почти неписание тем, что буду писать только о разных сентиментах и ничего о фактах из на-

---

[I] Приписка в конце страницы: Напр[имер], в Ростове г[осподи]н Э...р.

[II] Дражайшая (*ит.*).

шей художественной жизни. У нас, например, был Бенаки, но что он говорил – не скажу!

Хотя вообще надо кончать, ибо я хочу написать еще несколько слов Когану в Берлин. Я получил сегодня, одновременно с Вашей лаконической открыткой, от него письмо, где он укоряет меня в молчании. Я напишу о том, что у Вас есть вещи, годные для «Жар-птицы». Кроме того, я хочу дать Вам коллаборатерскую работу для меня через Когана же. Напишу Вам через неделю, тогда и увидите, в чем дело.

На прощанье скажу Вам, что в Вашей открытке, несмотря на ее крайнюю лаконичность, я кое-что высмотрел. Кроме того, ножничек, который Вы мне подарили, зеленого цвета. Когда увидите, что Вам одной выгребать трудно, то поступайте снова на наш общий корабль, а уж тогда-то мы выплывем. Капитан опытный и сумеет вывести в открытое море. А какими пестрыми и радостными флагами разукрасился бы корабль, если бы на него вернулся сбежавший любимый юнга. Какой бы это был радостный день! Неужели не вернется? Dum spiro, spero.

Ваш старый корабельный капитан далекого плавания.

Джон Бум.

П.С.[I] Пришлите же мне березовый листик!

20

17 мая 1922

№ 2 – в ту же почту.

17 мая 1922.

Вероятно, это письмо Вы получите вместе с другим, где несколько снимков. Прочитайте сперва то, а потом это. Это – наполовину деловое.

Милая Людмилица,

Сейчас 8 ч[асов] вечера, я только что вернулся с маленькой прогулки по Каср-эль-Нилу[II]. В 11 ч[асов] вечера напишу Вам об одном деле, а сейчас порисую немного для себя.

[I] Так в оригинале.

[II] Приписка в конце страницы: Покупал себе ленту для соломенной шляпы: зеленые полоски по черному полю, т.е. надежда во мраке.

Знаете, я шел сейчас по улице и понял, что я уже умер. Идут люди, часто парочками, смеются, живут по-своему, а я никому не нужен; так, вроде какого-то блуждающего привидения. Воздух душный, но все кафе полны народа, из окон слышны звуки рояля, на Маруфе гудит бубен, и все же – какая-то прогулка в пустоте или по кладбищу. Зайти не к кому и некуда.

Вернулся в мастерскую. Здесь легче. Карандаши смотрят приветливо и собаки тоже.

Как непостижимо, что нельзя подойти к [«]Connaught House'у[»] и крикнуть снизу: Людмилица!

Представьте себе, какое святотатство: в Вашем оконце светится чей-то огонек. Ну, порисую.

Вот и 11 часов. Дело в следующем. Коган написал мне, что, имея перед собою мою старую сказку «Василиса Прекрасная», он хотел бы сделать повторение и сразу приступить к печати; при этом он просит дать ему телеграмму с содержанием «да» или «нет». Телеграмму я дал, но только с содержанием: lettre suit, т.е. письмо следует; и письмо отправил.

В письме же я написал, что я очень рад увидеть в новом издании «Василису Прекрасную», но что она должна быть несколько отремонтирована. Требуется новая обложка, новый заглавный лист, которого в старой сказке нет вовсе, новая заставка, новая концовка и новые рамки вокруг картинок. Есть-де у меня в Праге моя помощница, Л[юдмила] Е[вгеньевна] Чирикова, мастерица на все руки, к которой я вообще советую обращаться, и вот этой-то помощнице (с веснушками на носу и с кляксиком на глазу; этого я, кажется, не написал) я пошлю наброски-эскизы, обложки заглавного листа, заставки и концовки (рамки сделает О[льга] Вл[адимировна]) и вместе с набросками – кальки. Она же будет, сразу же принявшись за дело, рисовать и в почти готовом виде посылать мне. Деньги Коган обещает приличные; я же напишу Когану, чтобы известную сумму он отчислил на Чирикову и переслал ей. Когана я прошу, в случае его согласия, ответить мне телеграммой «да». Вам я со следующей почтой вышлю самые подробные инструкции, эскиз, кальки, размеры и вообще все, что относится к делу; и будете Вы за морями и горами моей коллаборатрисой. Вам будет заработок; жаль только, что письмо идет 10 дней. Соглашаетесь или нет?

Кроме того, я написал Когану, что, во-первых, у Вас есть мои новые вещи для «Жар-птицы», а во-вторых, что Вам я поручил собирать мои вещи, разбросанные по городам Европы, и что Вы являетесь, так сказать, моим агентом. Я написал ему Ваш адрес.

Если Вам всех этих вышеперечисленных работ слишком много (надо будет очень торопиться, несмотря на Ваши, как Вы пишете, счастливые и несчастливые новые переживания), то я могу Вас облегчить, оставив Вам лишь обложку и заглавный лист, но это уж непременно.

И вообще, если работы не будет у Вас достаточно, пишите маэстро. Я не могу конкурировать с теми, к кому Вы питаете родственную любовь, как дочь и сестра, но что касается Вашего искусства, то здесь зато у меня конкурентов нет.

У меня же, вероятно, будет еще заказ от Бенаки и, надеюсь, от Мидхата.

Только с Бенаки – дело дрянь. Был он у меня. Я показал ему корабль. Ему он самым неподдельным образом очень понравился, причем он просил совсем не торопиться и приготовить к осени, а он-де 6-го июня уезжает en Europe[I] до... ноября! А есть-де у него место в доме, которое он хотел бы заполнить византийской живописью. Вот Вам и летние поездочки в Александрию и мелкие, но выгодные продажи Бенаки, то эскизика, то этюда, то еще чего-нибудь. Георгий не готов; дела еще масса. Другого же такого клиента у меня нет. Все же числа 1-го или 2-го июня съезжу в Александрию и постараюсь что-нибудь закрепить с Бенаки, который меня очень любит.

Луисезная[II] дама скомпонована. Завтра Бибиков начнет увеличение контура, а я приступлю к компоновке Луисезного болвана. Работаем вовсю, но как Вы были бы сейчас необходимы!

Да, да, да, милая Людмилица, да, да, да! Снова и снова твержу я все то же. И в мастерской пусто, и на улицах пусто, и, главное, в душе пусто, пустыня самая форменная! Я бы хотел, чтобы сейчас повторилась даже не наша каирская работа в мастерской, не поездка в Верхний Египет, а хотя бы трюм «Саратова» или хотя бы новороссийский норд-ост. Изредка вспоминайте и Вы все это; не мешает для разных сравнений и сопоставлений. Тэк-с.

[I] В Европу (*фр.*).
[II] От Louis Seize – Людовик XVI (*фр.*).

Набросал я сегодня вечером голову Рамсеса II. У меня есть теперь и другие Рамсесы. У нас в музее есть недурные. Пришлю снимки в следующем письме.

Сейчас же вкладываю снятый мною в библиотеке музея развернутый снимок с боевой колесницы наверху в музее. Это – один из моих материалов. Правда, отчетливый снимок? Уменьшение колоссальное. Мне эта штука ужасно нравится. У меня будет битва на двух соседних страницах (диптих) в таком духе.

Вот были бы Вы со мною, я бы дал Вам делать целый ряд виньеток для этой поэмы. Ну да Бог даст, взвесите и вернетесь под герб золотых весов на зеленом поле. Только...

Ну, кланяйтесь Вашим Черноморам; теперь они Черноморы, а я, хоть и не идеально, но все же рифмую с именем Руслан[153].

Всего, всего хорошего. Ваш И. Б.

21

21–24 мая 1922

[*Надпись карандашом крупно, на весь лист:* «Это все недействительно, ибо письмо получено».]

21 мая 1922, воскресенье, 11 ч[асов] веч[ера].

Сегодня ровно месяц, что Вы в последний раз увидели на горизонте исчезающие берега Африки. Что же произошло за этот месяц? Это у Вас надо спросить, а у нас все приблизительно то же.

Вероятно, у Вас события идут другим темпом, чем у нас, ибо за целый месяц разлуки я получил от Вас только около десяти коротеньких строчек на Вашей открытке. Неужели это, по Вашему мнению, мой законный и заслуженный письменный рацион? Жду с нетерпением от Вас обстоятельного и длиннейшего письма, иначе и я начну Вам посылать изредка только открытки.

Наконец, может быть, Вы и не расположены читать мои длиннейшие письменные рацеи; помните ли вообще еще далеких жителей Африки, заслоненных новыми встречами и живыми людьми?

Нет! Вы должны написать письмо по-настоящему. Неужели Вы никогда не подумали о том, как это нехорошо морить таким упорным молчанием? Вы же знаете, да, наконец, видели, как трудно было перенести разлуку с Вами, а теперь Вы ее как бы

еще удваиваете, не желая ничего о себе писать. Я не хочу получать писем, адресованных одновременно и Бондыревым и мне; неужели же Вам надо доказательств, что и я «solo» имею право получать от Вас вести?

Я вот иногда хочу спать до чертиков, а сажусь и строчу Вам.

Нехорошо, нехорошо!

Пойду и сниму чайник с примуса: кипит. Я только что вернулся из Гелиополиса[154], куда ездил с Ек[атериной] Сп[иридоновной] Лелявской. Она очень славная. Вчера вечером я у нее обедал, а потом мы пошли в кинема. Серг[ей] Ник[олаевич] сейчас в командировке.

Вчера же мы остались в кинема, когда уже все кончилось, по приглашению Юрицына, на просмотр его фильмы, т.е. не его, а которую он раздобыл из Германии и, кажется, сильно потратился. Присоединились к нам, в числе приглашенных, Бибиков и Венедиктов.

Юрицын уже давно рассказывал мне о ней. Говорил, что это настоящая русская фильма, главная актриса – Полевицкая[155]; изображается настоящая, совершенно реальная драма русского художника, что это – кусочек жизни такой, какая она есть, без американских трюков, детективов, аэропланов и крушений поездов. В Каире-де еще не видали таких постановок.

Ужасно и жаль, и обидно, когда приходится совершать внутреннее разжалование человека, к которому относишься хорошо, как к деликатному, корректному и вообще не плохому. Он ведь претендует на тонкость чувств, на разные рафинированные понимания и, вероятно, считает себя талантливым; и вдруг уже окончательно и бесповоротно убеждаешься, что он бездарен и даже окончательно.

Бедный Юрицын! До чего невыносима эта его пресловутая «русская» фильма под названием «Черная Пантера».

Вся игра основана на неестественной и напряженной до последнего градуса истеричности. Художник (я бы повесил этого актера на первом дереве!) все время смотрит сумасшедшими глазами, то крадется, как тигр, то как-то дико каменеет. Работает с деланным «надрывом». Есть там и страшная красавица, футуристическая эстетка, сталкивающая художника с пути его семейной жизни, и, наконец, жена художника, эта самая актриса

Полевицкая, верх истерики и невыносимого мелодраматизма, который Юрицын рекомендовал чуть ли не как гениальную «русскую» игру.

Пьесу эту нигде здесь не приняли. Юрицын мечется в отчаянии, проклиная тупость Египта, стал еще вдвое, бедняга, зеленее, но, по-моему, Египет в этом непринятии пьесы проявил, сверх ожидания, необычайную тонкость.

Как немногим, очевидно, понятно и как трудно это, по-видимому, понять, что искусство спокойно. Искусство порою может дойти до величайшего нарастания своих основных элементов, будь то линии, краски или звуки, но истерики все же нет. Ведь так же и в природе. Удары волн и пены в прибрежные скалы могут достигнуть во время бури необычайной ярости и силы, рев может стоять оглушительный, но все же тут нет места экзальтации.

Кажется, я не раз Вам докладывал, как порою становится почти стыдно и неловко, когда какая-нибудь актриса начинает читать на каком-нибудь вечере стихотворение «с подъемом». Хочется не поднимать глаз, смотришь в пол и думаешь: «Ну, голубушка, чего ж это ты так? Милая, неловко как-то! Прекрати, довольно!»

Кажется, и мне писать довольно, ибо уже первый час. Воскресенье кончено; завтра – понедельник. Ну, да хранят Вас все боги! Исправьте же ошибку и пишите. Кладу письмо в стол; отправлю ведь лишь в среду.

P.S. Нет, еще несколько слов о Юрицыне. Я с ужасом думаю о том часе, когда он принесет мне на прочтение свои произведения, т[ак] к[ак] он ведь возомнил себя запоздавшим беллетристом и все пишет и пишет и романы, и повести, и драмы, и даже водевили. Я знаю, что все это будет очень слабо. Ведь кто он? Партийный фразер и сочинитель передовиц в теперь уже совершенно никому не нужных старых партийных газетах. Никудышный он человек, очень милый, заслуживающий искреннюю симпатию и большое сожаление.

А вот еще! Обедал я сегодня в Манриете у Сандеров. В 5 уехал. Решил зайти к Ек[атерине] Сп[иридоновне] Л[елявской], чтобы опять соблазнить на кинема (но попал, как уже писал, в Гелиопо-

лис). Перед этим решил зайти в клуб и пригласить себе в компанию Тихого. Куда там!

Еще с самой лестницы слышен его голос. В клубе сидят какието люди, но Кирилл носится как угорелый, грязный как трубочист, в какой-то невероятной куртке (словно кочегар какой-то), надетой на голое тело, и вопит: «Я бы с удовольствием пошел с Вами, но я совсем болен; я сегодня совершенно глухой; и как же я пойду, когда я только что выпил целую бутылку касторки! Посмотрите, вот и лимон». Я убеждал его, что раз касторка принята только что, то пойти на один час безопасно, но он отказался.

«У меня такая тоска, такая тоска... я к Вам очень скоро приду, – сказал он мне на прощание. – Ну, халлас[1]».

---

22 мая. Сейчас 9½ ч[аса] вечера. Пока заваривается чай, напишу два слова, а потом порисую.

Представьте себе: ведь вчера был какой-то почти что мистический день. Я форменно вел себя именинником. Великолепный обед у Сандеров и милая беседа, потом Гелиопольский ужин под звуки оркестра, вообще полный отдых и безделье. Сегодня утром О[льга] В[ладимировна] меня спрашивает: «а не были ли вчера Ваши именины? Ведь, кажется, 8 мая ст[арого] стиля». И действительно! Я их отпраздновал, сам того не помня. Кто же это обо мне позаботился?

Получил сегодня письмо от кн[ягини] Тенишевой, а от Вас – нет. О[льга] В[ладимировна] говорит, что это с другим пароходом. Ну, конечно, завтра будет. Ведь это было бы прямо невероятно с Вашей стороны. Сегодня больше писать не буду. Не нахожу себе место без Вас, милая Людмилица. Невозможно жить на одних суррогатах. Попью с горя чайку и порисую Рамсеса.

Тогда же. Час ночи. Искал профиль Рамсеса. Рисовать интересно, но необычно. В каноне надо искать гармонию и графику и так, что, не вылезая из канонических минимумов и границ, дать все же совершенно современную вещь; но только это искусство совсем уже для немногих. Из Вашей семьи только Вы одна поймете. Оно очень красиво, но ужасно замкнуто и недоступно.

---

[1] Все, конец (*араб.*).

Лукьяновы тоже не оценят, а О[льга] В[ладимировна] – не знаю; немножко, думаю, поймет.

Но я до сих пор не пойму, что понимали, видели и чувствовали египетские мастера. Глаза хоть и ритмичные, но невероятно скованные обязательной формулой, и на том же лице совершенно живые губы и ноздри, а часто и весь нос и подбородок. Я буду рисовать довольно строго по-египетски; мне это нравится.

Эге! Выпалила пушка: мусульманам есть[56], а православному спать. Bonne nuit![I]

P.S. Если Вам понравится наружность моего Рамсеса, то пускай это буду я. Ведь по всему видно, что Вы меня совсем забыли, так что обмануть Вас теперь не трудно.

---

23 мая. Дорогая, милая, незаменимая, незабвенная и самая расхорошая Людмилица. Ваше письмо получил и, увы, не могу кричать ура, так как Вы повергли меня в большую скорбь. Скорбь, беспокойство, тревогу и целую кучу еще чувств вызвало во мне Ваше письмо.

Тяжело, значит, Вам. Ах Вы, бедная, бедная! Ну да ничего. Все будет хорошо, только не впадайте в уныние и, главное, раньше, чем что-нибудь предпринять, считайте до... тысячи; нет, до ста тысяч, по крайней мере.

Спасибо Вам за Ваши заботы обо мне. Я Вам предоставляю полную carte blanche[II] – распоряжаться моими работами, всеми, какие только есть в Европе. Вы – полная хозяйка. В одном из писем я уже посылал Вам род доверенности, но только не знаю, где Вы сейчас, в Праге ли или в этом «страшном» и в данную минуту для меня ненавистном Берлине. Если Вас там еще нет, то как бы я хотел подложить под него мину и взорвать его на воздух! Вы знаете некоторые несносные для Вас черты моего характера, и вот, вопреки всему, мне вдруг начинает казаться, что не столько из-за Праги Вы отсюда уехали, а, главным образом, из-за такой, казалось бы, коротенькой, поездочки в Берлин. О, проклятое бессилие что-либо сказать Вам или крикнуть на дорогу!

[I] Спокойной ночи! (*фр.*).

[II] Чистый лист (*фр.*); здесь – полная свобода действий.

Ну, извините меня; я прекращаю об этом, веря в Ваш здравый смысл и умение (надеюсь, что оно есть) сравнивать поведения разных лиц при разных обстоятельствах; и, наконец, неужели же судьба так нелепо и слепо несправедлива?

Если Вы увидите, что возможность заниматься нашим общим и любимым искусством от Вас ускользает, то не упорствуйте и вспомните Вашего учителя. Он от всего откажется, но выведет Вас в открытое море. Наша мастерская все такая же, как будто Вы только что ушли отсюда, и отчего бы Вам снова не постучать в ее дверь? О, какое бы это было счастье!

Вы желаете, чтобы я не был человеконенавистником и пьяницей. Не бойтесь! Насчет первого я и не знаю, что сказать. Дураков и толстокожих идиотов и действительно очень много. Некоторых люблю, т.е. людей, не дураков. Сандеры милые люди, Тихий, Юрий, когда он не под Магдалининым влиянием, Бибиковы, может быть, Лелявская, папиросник-горбун, Юрицын, хотя и балда, Катя Альтухова, хотя я ее мало знаю, Прукер, хотя и жулябия, Бенаки и, вероятно, еще найдутся. А одну люблю больше всех и больше всего на свете, только она удрала! Эдакая ведь дрянная девчонка!

Передайте мой привет Вашему папе. Бедняга, как ему трудно. А то, что у него лицо несколько распухло, то это, должно быть, от сердца; отек. Если он на вечеринках выпивает по-старому, то это для него очень вредно. Запретите окончательно и навсегда. Расскажите, как Вы переделали Вашего маэстро, а ведь я моложе его. Конечно, сердце болеет от всяких тревог и волнений, и это, конечно, есть главная причина.

Как бы я был счастлив, если бы имел право участвовать в помощи всем Вашим, которые пока еще растеряны и не собраны!

Простите за еще один совет. Ни в каком случае не допускайте, а если случится, то старайтесь сразу остановить у отца Вашего внезапные вспышки гнева. Это очень опасная штука для пожилых людей с неважным сердцем. Пусть курит поменьше. Я вот тоже решил поубавить порцию (из-за этого же органа), но только сегодня пыхчу как паровоз: взволнован Вашим милым, но грустным письмом. Спасибо за листики зеленые и цветочки. Я их нежно поцеловал и спрятал. Теперь это мой талисман; а вообще у меня есть незримое знамя, и на нем есть две буквы; незнающие

могут подобрать разные слова, например, Лихая Чеченка, Лютый Черт, Лукавая Чернокнижница, но некоторые, которые поумнее, подойдут ближе к истине и прочитают: любимая человечица; но правильное чтение, и я скажу Вам его по секрету, это – Людмилица Чиркинзон. Так вот, пока эта надпись останется самой собой, то будет и знамя, а раз знамя, то и полковая честь и готовность идти за этим знаменем и в огонь и в воду.

Эх, расписался! Пойду пожрать. Сегодня у меня «хамский» ужин. Это по-русски хам есть хам, а на языке [«]Connaught Housa'a[»] «хам»[I] есть кушанье. Понимэ?

Сейчас 10 ч[асов] веч[ера]. Поел, надулся чаем, покурил, почитал книжку и сейчас примусь за Рамсеса. Когда будет сделан контур, сниму и пришлю Вам. Но... все же до Рамсеса поболтаю еще с полчасика с Людмилицей, моей милой помощницей. Мои мысли летят всегда и всегда к ней, но куда? Не знаю; –[II] в темноту, в зияющее пространство.

Но частица Вашего физического «я» у меня все же есть; Ваш фартук. Я завернул его в очень плотную бумагу. Спросите у любой настоящей собаки, и она Вам скажет, что у каждого человека есть свой индивидуальный запах. Ну и фартук Ваш, хоть и еле-еле, но сохранил еще обоняемую индивидуальность.

Посылаю Вам несколько фотографий из музейных моих снимков. Те, где сзади крестики, – птолемеевской эпохи из все той же скульптурной мастерской, а на других я сделал надписи. Александрийские снимки приедут позже.

Ну, на сегодня кончаю. Завтра надо кончить, а послезавтра отправить. Завтра набросаю Вам эскизик заглавного листа для сказки о Василисе Прекрасной и вложу кальки. Надо попросить О[льгу] В[ладимиров]ну, чтобы она нашла все мои кальки; искал и не нашел.

Еще насчет конфликта Маковский – Коган. Мне все равно, и я держу нейтралитет, но только дело в том, что я уже обещал Когану мои вещи для репродукции. Дерите с него побольше за репродукции, а деньги оставьте у себя. Можете тратить на книги

[I] Искаж. ham – ветчина (*англ.*).

[II] Так в оригинале.

или если хотите, то так оставьте; прокутим их при встрече. Зовут ведь и меня в Берлин, хотя я... зову Вас в Каир. Скоро вышлю Вам немного финансов: часть премии (в рассрочку, но только молчите и не смейте отказываться) и за дивные присланные Вами венецианские фотографии.

Передайте Гоге[157], чтобы он при сестре-художнице не «выражался». Помните, что Вы – «тургеневская девушка», и все тут.

Половина первого ночи. Вот, оказывается, и порисовал Рамсеса! Пришел Юра со своим знакомым, Баталиным, и принес Ваше коллективное письмо. Видите, насколько верны все наши предостережения, что в дороге бывает много негодяев! А иногда, и этому верьте, что негодяи бывают сначала даже знакомыми, а потом уже обнаруживают свою настоящую сущность.

Итак, до завтра. Помните, что Вы мне пишете один раз в неделю. Столь заведите непременно и отгородите свое рабочее время. На заседания ходите меньше; брешут! как говаривал покойный Нарбут[158].

Маковскому поклонитесь от меня и скажите ему, что я, не зная их дел, обещал дать рисунки для репродукции (но потом пусть Вам непременно вернут) в «Жар-птице», но я рад дать их после и ему, если они ему нужны. Не продаю ничего, но если бы Вам туго пришлось, то Вы можете распоряжаться ими, как хотите, ибо я Ваш маэстро. Тэк-с.

---

24 мая. Среда. 10 1/2 ч[аса] утра. Преступление: пишу в рабочее время, но зато пишу о деле.

Размер всей книжки – 25,5 × 32,5 сант[иметров].

Размер рамы для страницы с заглавным текстом – 22 × 28 сант[иметров].

Я решил сделать заглавный лист так: рама (Ваша же рамка, чтобы Вам было веселее работать), а внутри текст. Текст я заготовлю здесь. Посылаю Вам еще две кальки. Ради Бога, не истерзайте их и чересчур не измочаливайте. Потом верните. Материалы найдете, вероятно, и в Илье-Пророке; да что тут! Тема легкая!

Пусть будет густо, компактно, сочно и много черного. Я сделал пояснения карандашом на полях. Главным образом постройте все идеально правильно, не криво-косо, а с соблюдением правильных прямых углов и т.п. Насчет бумаги, было бы лучше, если

бы Вы нашли наклеенный на картон, гладкий ватман. Ну, и с Богом. Это – лишь начало, а вообще я буду, если хотите, для Вас придумывать разные работишки.

Впрочем, телеграммы-то из издателя[1] нет, хотя и рано: мое письмо не дошло.

Ах да, НЕПРЕМЕННО на всякий случай сообщите мне Ваш телеграфный адрес. Очень важно его иметь на случай какой-нибудь непредвиденности.

Ну, да хранит Вас Амон-Ра[159]!

Не имею права писать больше, ибо я сейчас ... [*по-французски, неразборчиво*].

Через неделю пришлю письмо гораздо короче. Не каждый же раз я буду бить Вас по макушке такими нескончаемыми посланиями.

Это слезы:

Целую крепко незримыми художественными устами Ваш хрупкий и еще не сложившийся, но вполне способный к росту и совершенствованию художественный астрал. Basta!

Всего, всего хорошего.

Ваш И. Б.

22

7 июня 1922

7 июня 1922, Александрия.

Милая Людмилица,

Сейчас я напишу немного, ибо, во-первых, я сегодня ужасно устал, сейчас полночь, а завтра надо чуть свет вставать, чтобы ехать в Каир, во-вторых, от Вас давно (более двух недель) не бы-

[1] Так в оригинале.

ло писем (м[ожет] б[ыть], меня ждет письмо в Каире; не знаю), и я не знаю, какие Вам надо писать письма. Ближайшее Ваше письмо все выяснит. То обстоятельство, если бы Вы были в отлучке из Праги, дел не меняет, ибо почта ходит отовсюду.

Из Александрии я выудил 65 фунтов, через 10 дней приеду снова и снова выужу, но уже в последний раз, ибо Бенаки уезжает.

Тосчища в общем самая мрачная, даже не мрачная, а молочно-серая, как северное небо в октябрьский день. Если Вас моя персона еще малость интересует, то как оно ни прискорбно, но покаюсь Вам сам, честно и из первоисточника: произошел кратковременный прорыв в моем чинном поведении: кутнул. Потом стало еще хуже, и я снова увяз выше головы в работу.

Сандеры, Тихий и даже Лукьяновы очень переполошились. Это проявление любви, т.е. сознание, что люди меня все-таки любят, меня страшно растрогало.

Итак, жду письма от Вас. То, что Вы молчите, меня пугает и приводит в самое необузданное отчаяние. Я стараюсь изгонять из моей памяти воспоминания о Вас или, верите, думы о Вас, ибо это значило бы колотить лбом стену.

Вот когда я получу Ваше письмо, увижу, что и как, тогда и напишу, если будет возможно, длиннейшее письмо, а также буду знать, какого тона держаться.

Сегодня сделал с Конопатским дивную длинную прогулку по морю под парусом на яхте.

Ну, всего хорошего.

И. Билибин

23

13–14 июня 1922

13 июня 1922.

7 ч[асов] вечера.

Моя милая и дорогая Людмилица,

Наконец-то, после четырехнедельного молчания, пришло сегодня Ваше милое, но такое мрачное письмо. Неописуемая радость держать в руках листики, написанные Вами, но мне страшно за Вас, моя милая; Вы как-то растерялись, и почва под Вами колеблется, так же как и подо мною.

Последние дни я походил на сумасшедшего. Наступил пароксизм такой глубокой и невыразимой тоски по Вас, что свет показался мне совсем ненужным и немилым. Вы не думайте, чтобы я вел себя неподобающе, нет! Я работал, как всегда, с моими милыми помощниками, но когда я оставался один, я сознавал, что дальше идти некуда и что я в тупике. Я не могу жить там, где Вас нет. Это так, Людмилица.

Я рассуждал так: ну вот она уехала. Она полетела куда-то, как мотылек на огонь, в несуществующие страны, где есть прекрасные принцы и синие птицы. Дай Бог, чтобы она не опалила своих милых крылышек. Люди злы, обманчивы и беспечны, а Людмилица такая прекрасная и честная. Даже ожегшись, она будет заставлять себя говорить, что она не ожглась вовсе. Но да хранит ее Бог от этого! Но если бы это несчастье и стряслось, то что бы с нею ни было, пусть она знает, что есть друг, который ждет ее возвращения, если только он будет жив. Он сидит и терпеливо ждет ее и только ее одну.

Большая любовь бывает, вероятно, лишь один раз в жизни. Недаром же наш общий приятель П[етр] Е[фимович] Кулаков[160] говаривал, что я – поздно развивающийся ребенок. Не пишите же сразу «нет» и «нет», а посчитайте до десяти миллионов и вообще подумайте. Может быть, готовность отдать за человека последнюю каплю крови (это не слова только) чего-нибудь да стоит.

Я бы оберегал каждый шаг Ваш, и мы работали бы, и, что меня касается, я сделал бы замечательные вещи.

Может быть, даже хорошо, что Вы отъехали (не уехали, а отъехали). Может быть, нужно было положить конец тому длительному и неопределенному состоянию, в котором мы пребывали. Может быть, теперь издалека Вы лучше увидите Вашего горюющего друга и, может быть, когда-то что-то созреет.

О, Людмилица, как я досадую, что вместо меня Вы увидите только эту слабую исписанную мною бумажку. Если бы она умела кричать, то Вы бы оглохли от ее крика.

Когда, когда, скоро ли, скоро ли я снова увижу Вас?!

12 ч[асов] ночи.

Буду краток (т.е. постараюсь быть), ибо чувствую страшную физическую усталость, и сердце устало, точно я камни ворочал.

Вообще же чувствую себя совсем по-детски: точно я совсем маленький мальчик и долго, долго перед этим плакал.

Знаете, где я был сейчас? Вдвоем с Сальшей в кинематографе. Чувствовал себя, однако, не как перед экраном, а как перед виселицей. Спать хочется. «Du courage»[1], что я написал Вам в телеграмме, должно бы в равной мере относиться и ко мне. Надо собраться в комок, подтянуться, совладать с разбежавшимися на свободу из клетки чувствами и бодро идти дальше, надеясь на прояснение горизонта.

Dum spiro, spero. Но эти дни не удавалось.

Давайте протянем друг другу через моря и горы руку, тряхнемте с силой и скажем: встретимся, поговорим и увидим!

Сегодня была мне и радость. Получил письмо от брата. Хотя он не только профессор высшей математики, но даже декан, все же живется ему очень плохо. Получает много денег, а на самом деле, по его подсчету, это выходит 5 р[ублей] в месяц по довоенному курсу. Его молоденькая жена больна туберкулезом легких. Была в какой-то санатории под Москвой, только какие теперь там санатории! Посылаю ему хуверовскую[161] провиантскую посылку. Мечтает о тепле и юге. Видно, что не прочь был бы вырваться оттуда и приехать сюда.

Завтра буду писать деловую часть. Хочу, чтобы Вы мне серьезно помощничали и не думали о хлебе насущном. Доставьте мне хоть эту радость.

Ах, да, печальная новость: Кутька безвозвратно сбежала, а Хопик умер. Очевидно, клещи высосали из него всю кровь. Их здесь в мастерской тысячи и тысячи. Теперь я совсем один, и когда я прихожу по вечерам домой, никто меня больше не встречает, только мыши бегают. Что-то мрачное нависло над мастерской. Улетело веселье, улетела радость.

Вы знаете, ложась спать, я молюсь о Вас, чтобы с Вами не случилось ничего нехорошего. Ну, до свидания, моя милая, милая Людмилица; да хранит Вас Бог!

14 июня. 10 1/2 ч[асов] веч[ера]. Все же настоящего конкретного делового письма на сей раз не напишу, потому что я не один и

[1] Будьте смелой (*фр.*).

мне мешают. Рядом сидит Ховсепьян, пришедший навестить меня. Правда, я дал ему книгу; он сидит и читает, но все же сосредоточиться нельзя.

Я посылаю Вам 1100 крон, что стоило без 11-ти пиастров 5 фунтов. Это, во-первых, возвращение моего долга за чудные византийские фотографии, которые Вы мне купили в Венеции, а во-вторых, ничтожный авансик за Ваши работы, которые Вы, конечно, будете делать для Вашего маэстро. Я хочу, чтобы Вы вообще работали и много работали; я буду Вам посылать небольшое жалованье. Несколько часов работайте для маэстро и еще больше работайте сами и учитесь. Учитесь у себя; ведь Вы же уже большая девочка и, главное, у Вас есть то, чего не надо забрасывать, а надо поддерживать и беречь, есть ignis sacer – священный огонь. Не уходите же из нашего цеха.

Приступили ли Вы к заглавному листу для сказок? Если нет, то поторопитесь, елико возможно, и пришлите мне.

Говорят, что почта отходит теперь отсюда не раз в неделю, а два. Дня через четыре вышлю Вам указания насчет обложки. Потом я поручу Вам несколько заставок для поэмы Пентаура, указав подробно, какие материалы брать; ведь Вы же стали египтологом еще куда раньше меня, а я, как и во всем, оказался поздно развивающимся ребенком.

Сегодня четверг. В воскресенье я снова еду в Александрию. Когда вернусь, мои финансы мне будут ясны окончательно. Я напишу Вам тогда, какое я могу положить Вам жалованье. Вы же, молю Вас, не артачьтесь. Вы мне причинили бы страшную боль отказом.

Мидхат движется. Все уже нарисовано на холсте. Приступили слегка и к краскам. Я сделаю все, если буду жить, быстро.

Ну что же, Людмилица, не летите слишком быстро на огонь. Подождите меня. Поработайте и не грустите.

Все, что Вы мне там пишете про Лелявскую, конечно, ерунда. Это была броня, в которую я было забрался, но не надолго.

Первое время я крепился, бодрился, ходил в гости, болтал всякую чепуху, старался быть веселым, и оно как-то удавалось. Но... я боялся по-настоящему подумать о Вас, подумать обо всем, обо всех возможностях, которые могут Вам встретиться. Мне было страшно это сделать, и я гнал эти мысли. Но вдруг я подумал: все

полетело к черту! Произошел двухдневный «прорыв», о чем я писал Вам. Потом было очень скверно. Дальше я уехал в Александрию, где снова выправился; наторговал на 40 ф[унтов] (повторение этюда с Мокаттама; уже сделано; есть) и дополучил последние 25 ф[унтов] за корабль. Там же я катался под парусом, снимал в музее и вообще отдохнул немного. Но когда, вернувшись в Каир, я увидел, что писем от Вас все нет и нет, то отчаянию моему не было границ. Безо всякого вина сердце мое и билось и колотилось; это был какой-то совершенно небывалый приступ острой черной меланхолии. Вот, Людмилица, что значит не писать писем! Пишите же, моя милая коллаборатриса. Если не хочется писать, то хотя бы три, четыре (а лучше пять-шесть) слова.

Людмилица, если, несмотря ни на что, Вы все же будете искать нового в жизни, то ищите только самого настоящего, самого серьезного и самого проверенного. Не идите на ожоги; они всегда очень болезненны и, право же, не нужны. А потом, как я уже написал Вам вчера, помните, что если будет очень грустно и очень плохо, то вспомните обо мне, о Вашем настоящем друге. Если бы Вам только понадобилось когда-нибудь мое тепло, то я Вас согрею и буду утешать.

Ведь вот обида, что я не принц! Долго смотрелся сегодня в зеркало; принимал разные позы, делал разные выражения, но нет! Положительно, я не принц. Но зато кто мешает мне быть королем? А чем королева хуже принцессы?

Простите меня, что я все долблю, как дятел, все по одной и той же теме. Сейчас кончаю. Хочу сказать лишь одно напоследок. Художественные произведения людей зрелых глубже и продуманнее, чем у молодежи; то же и с чувствами. Если на какого-нибудь «короля» налетит такой шквал, то он перевернет его душевное море до самых морских глубин, а у принца – так только на поверхности. Ведь и я был некогда принцем. У вас, женщин, особенно у хороших, как Вы, не то; у вас всегда до глубины. Отсюда-то и ожоги.

Хотел Вам написать умно и убедительно, а вышло не так, как хотелось. Ну все равно. Привожу вторую фразу из моей телеграммы: [*два слова по-французски неразборчиво*]. Наконец, «не падай духом, Артемий гордый».

Еще раз простите меня, Людмилица, за это письмо. Пусть оно бессвязно и даже истерично, но Вы все же пишите и пишите мне,

иначе я и на самом деле рехнусь. Я знаю, что я – балласт на Вашей душе, что я, может быть, мешаю Вам жить и что если бы мы никогда не встречались с Вами, то было бы лучше и спокойнее, но это произошло, так было начертано в Книге судьбы, и что меня касается, то я, хотя и тяжело раненый, я все же люблю свою рану, потому что она от Вас, а все, что от Вас, мне дороже всего.

Напишите мне, как Вы распорядились с моими рисунками.

Еще раз до свидания. Да хранит Вас Бог. Накатал Вам целое признание. Боюсь Вашего гнева, хотя все, что здесь написано, Вам давно, давно известно.

Ваш Бум.

P.S. Сегодня у меня был деловой разговор с Тихим. Во-первых, написал настоящее духовное завещание. Душеприказчики: П[етр] Ф[едорович] Сандер, Тихий и мой брат. Наследники – мои законные наследники. Нового ничего нет, но это сделано, чтобы на случай моей смерти посланник[162] и консул[163] не имели бы никакого доступа к моим рисункам и ко всей моей хурде-мурде. Это не значит, что я собираюсь ad patres[1], но так, вообще. Во-вторых, буду писать письмо Марии Яковлевне[164], ибо я хочу быть совершенно свободным человеком. Это тоже давно пора сделать. Не знаю только, какие будут результаты.

Брату послал хуверовскую посылку, но написать ему письмо, увы, сейчас уже поздно: час ночи. Пригласите же меня, Людмилица, в Прагу или в Берлин на зиму. Какая Вы, право, негостеприимная. Не пора ли начать хлопоты о получении для Вас права обратного въезда в Египет? Но... тс! Не сердиться!

Привет Вашим.

Ваш И. Б.

24

20–28 июня 1922

20 июня 1922.

Милая Людмилица,

Сегодня я вернулся из Александрии, куда ездил по делам на два дня, и нашел Ваше письмо из Берлина.

---

[1] К праотцам (*лат.*).

Pour en finir[I], как говорят французы, и, чтобы вообще не возвращаться к этой неинтересной теме, имейте в виду следующее: я как был все время, так и теперь продолжаю быть совершенно непьющим человеком. Слова: «запили», «алкоголизм» и пр. ко мне не относятся. Я гораздо меньше алкоголик, чем любой Ваш знакомый, который пьет вино, ибо он пьет, а я не пью вовсе. Случилось со мной это происшествие случайно и неожиданно, было это месяц тому назад, и я забыл уже об этом. Повторять не намерен, ибо оно ничего приятного не дает, ничему не помогает, никаких дум не отгоняет, а лишь, наоборот, болезненно все усиливает. Итак, прошу Вас, забудьте и Вы об этом и обо мне не тревожьтесь. Я сам не хочу, чтобы это повторялось. Не сердитесь на меня тоже, а пожалейте, так как сейчас я глубоко несчастен.

Я писал Вам в Прагу длинные письма, посылал телеграмму и немножко филюза[II]. Очевидно, вы уехали до всего этого, но надеюсь, что Вам перешлют. Не знаешь, куда и писать Вам; Вы порхаете из города в город.

Людмилица, мне неинтересно жить. Четыре года я жил только одной мыслью, и эта мысль была душой всей моей работы и всего моего существования, а теперь, когда я остался один, я увидел, что я – пустой стакан, из которого все выпито до капли, и ничто, ничто меня не занимает. Никакого упрека я Вам не делаю, я не принц и не обитатель страны, где живет Синяя птица, но не делайте и Вы мне упрека. Сердце свободно. Если свободно Ваше, то свободно и мое, и нельзя моему сердцу запретить любить ту, которую оно только и любит. Это не слова, Людмилица. Напрасно Вы считаете, что Ив[ан] Як[овлевич] легкомысленный и поверхностно увлекающийся человек. Нет, того, что со мной произошло, раньше не случалось. Ну что же; так, видно, надо. Боже мой, какая невыразимая тоска, и как я ненавижу сейчас всю эту неинтересную обязательную работу, жару, Египет и вообще все! Мне хочется сидеть, смотреть в точку и тупо ничего не делать. Не думайте, однако, что оно так и есть; наоборот, работа кипит, т.е. не кипит, а движется вполне удовлетворительно.

Единственная мечта, которой я живу – это снова Вас увидеть.

[I] Хватит об этом (*фр.*).

[II] Денег (*араб.*).

Людмилица, подождите меня несколько месяцев. Разрешите мне приехать в тот город, где Вы будете. Я ведь ни о чем Вас просить не стану. Я не юноша и знаю, что любви просить нельзя. Но взвешивать и сравнивать, это Вы можете и должны, и большие дружбы и настоящие преданности – это так на дороге не валяется. Ну, довольно об этом. Не сердитесь на меня и пишите и пишите. Вы не можете себе представить, с каким трепетом я жду Ваших писем.

У нас палящая душная жара. Воздух – как горячая каша. Кажется, что можно схватить его руками. В Александрии лучше. Там я, как всегда, бродил с Конопатским и беседовал на разные темы. Он, говоря о художниках, жалел, что нет больше настоящих учеников-апостолов, которые бы, взяв все богатство учителя, продолжали накоплять его все дальше и дальше. Это старо, но верно. Вот и Вы. Вы не захотели взять всего, что Вам хотел дать Ваш учитель, полетели в другие страны искать неведомого. Ведь не ради Ваших же Вы поехали. Уж сознайтесь. В Вашей знаменитой Праге Вы просидели немногим более трех дней! Я ведь это так и предугадывал.

Ну, ничего! Если не околею (а это может статься, ибо в общем я себя неважно чувствую), то и я двинусь в Европы. Пора и мне. Напишу письмо Когану, чтобы ждал меня.

Вечером, вернувшись с вокзала, зайдя домой и прочитав Ваше письмо, прошел к Венедиктовым. Ек[атерина] Мих[айловна] уже дома и уже толкует о грехе. Боже мой, до чего это скучно!

Бываю иногда у Лелявских, говорят, что их узы поскрипывают, но меня это нимало не касается, и я окончательно прекратил всякие уговоры Ек[атерины] Сп[иридоно]вны заниматься искусством. Слишком ответственная штука расшатывать чужие дома, когда сам желаешь держать полнейший авторитет.

Ходил с Сальшей в кино. Перец, к счастью, уезжает. Завтра, в среду, мне предстоит последняя обеденная пытка. Ведь это – героизм.

Милая и дорогая Людмилица, пишите мне и не сердитесь на мои излияния. Ведь Вы же их и так прекрасно знаете. Разве ново то, что я люблю Вас до отдачи за Вас своей жизни, а Вы меня не любите; и это я знаю. Только иногда я думаю, что поле ранней весною бывает покрыто плотным покровом чистого и холодного

снега, точно зимою; но где-то в глубине, под снегом, внизу, уже начинают журчать живые весенние струи, и настанет день, когда они пробьются наружу и побегут бурным весенним потоком. Dass ist Poesie, nicht war?[I]

О делах завтра. Уже четверть второго. Иду спать. Может быть, встречусь с Вами во сне; дай-то Бог! Ваш Бум, а не Ив[ан] Як[овлевич]!

---

21 июня, 9 ч[асов] утра.

Хотя это и преступление писать письма в рабочее время, но воспользуюсь тем, что Ольга Владимировна еще не пришла, и напишу, сколько успею до ее прихода.

Только что мне принесли № 7 «Жар-птицы». Боже мой, что за ужас нагажен на обложке. Это – Жар-птица в русском стиле! Но вот, Людмилица, я уверен, что если бы автор этого «шефдувра»[II] был бы архи-раскрасавец, самый что ни есть «Принц» по наружности, Вы бы (настолько я верю, что Вы художница), увидав его вещи, не могли в него влюбиться. Не правда ли?

Как мало талантов вообще и какая бездна бездарностей! Вот, например, Конопатский. Он удручает меня совокупностью своей безнадежной и какой-то унылой бездарности и скучнейшими рацеями об истинном искусстве.

Людмилица, рисуйте медленно и умно. Не делайте ничего зря и помните все наши заветы. Не меняйте маэстро. Другого такого, как я, не найдете, ибо нет другого. Там какой-то бедный Ванякич влюбился без ума и без памяти в милую девочку Людмилицу и страшно мешает художнику Билибину работать, это одно, но что художник Билибин не имеет в своем роде никого себе подобного, это другое. У этого художника есть настоящее мастерство и настоящий талант; у него есть волшебство в руке, и то, к чему он прикасается, становится красивым. У него еще много, много заманчивых планов и замыслов, надо дать только покой его наболевшей человеческой душе, и тогда польются новые вещи. И раз этот художник, этот учитель хочет, как своему апостолу, передать все свои знания молодой художнице Л[юдмиле] Ч[ириковой], то эта художница должна, несмотря на сомнения человечицы-Люд-

---

[I] Это поэзия, не правда ли? (*нем.*).

[II] Искаж. от chef-d'œuvre – шедевр (*фр.*).

милицы, сильно об этом призадуматься. Мы бы горы сдвинули с места, работая с удвоенной силой.

Ну, пришла О[льга] В[ладимировна]. Дал ей прочесть Ваше письмо, где Вы меня пробираете. Я жду того длинного письма, которое Вы хотели написать и не написали. До вечера.

---

7 ч[асов] вечера. Бибиков уходит. Я жду с минуты на минуту чистый костюм из прачечной и тоже уйду. Буду писать Вам еще вечером, а завтра утром отправлю.

Вы должны читать мои письма по-особенному, не ставя каждое лыко в строку. Я просто отвожу душу и порой болтаю все, что придет мне в голову.

Пожалуйста, Людмилица, если у Вас есть заказы, то заготовьте сразу целую уйму эскизиков и некоторые из них, наиболее отдаленные по времени, пришлите на просмотр мне. Ведь, конечно, Вы сами понимаете, что почти вся графика последнего (№ 7) номера «Жар-птицы» – ерунда, недоноски какие-то. Там рисует какой-то Кравченко. Слабо. Ноль по технике, но претензии есть, т.е. ширма. Скажите Когану, что СТЫДНО давать такие обложки, как работа г[осподина] Шлихта.

Неужели же Вы еще не соскучились по Вашем учителе? И неужели Вы не хотите его увидеть? Напишите мне (не забудьте этой просьбы) мой маршрут из Каира. Мне интересно, куда Вы хотите меня сослать.

Что касается «Василисы», то это Вам решать. Я посылаю Вам материал для обложки. Письмо в Берлин идет около 7–9 дней. Коган обещал 20 ф[унтов]. Часть работы я дам Ольге Вл[адимиров]не. 10 ф[унтов] Вы бы, во всяком случае, заработали. Надо мне подумать; может быть, буду искать еще одного коллаборатера. У меня остается три месяца времени. Потом я еду. Еду, конечно, с одною и только одною мечтою. Великий выезд. Конечно, обратно не приеду. Те, кто будут мне советовать обратный приезд, желают моей смерти. Т.е. я с наслаждением вернулся бы обратно, но... с Людмилицей. Тс. Не злиться.

Что же это свиньи не несут мне костюма! Пойду ругаться. До скорого!

Эге! Уже почти полночь. Вернулся от Лелявских; вернее, от Лелявской. Сидел, курил и рассказывал разные эпизоды из своего далекого прошлого, а она с интересом слушала. Вышло это tête-à-tête[I] случайно; я и не знал, что ее муж в командировке. Вы опять мне что-нибудь скажете по этому поводу и на что-то благословите. Только не на что благословлять меня; я бы и сам был рад, если бы мог, для отвлечения мыслей, приударить за кем-нибудь немного; только не могу совершенно; противно даже подумать.

Итак, за дело. Посылаю Вам не эскиз, а план обложки. Уменьшено в два раза. Пишу Вам все это на тот случай, если Вы согласны это делать. Если нет (я буду очень опечален, так сказать, символически опечален), то откажитесь сразу же и верните все кальки; они будут нужны здесь. Вообще же, молю Вас, не трепите их больше; они и так еле держатся; и не потеряйте их, а складывайте в какое-нибудь одно памятное Вам место.

Сделайте контур жирный с затеками (закруглениями) в углах, вообще по правилам нашей фирмы.

Возьмите наклеенный на картон ватман (или другую какую подходящую для акварели бумагу) и начертите карандашом с соблюдением прямых углов прямоугольник размера 32 × 25,5 сант[иметра]. Это – размер всей книги.

Все другие размеры видны на плане. Их надо только увеличить в два раза. Вы – девочка умная (и самая милая, простите!) и все поймете сами. Рамка чистоганом на кальке № 2. На углах какие-нибудь розеточки или вообще кельк-шоз[II]. Надписи я сам сделаю. По бокам надписи с обеих сторон две очень густые маленькие цветочные композиции: стебелек, листья и цветы. Сделайте композицию очень густую и крутую. Линия жирная, сочная, как на той ростовской моей графике, которую Вы с собой взяли.

Под надписью большая композиция, которая, может быть, приблизительно, вписана в круг. Элементы – ваза, птица и цветы. Материал – калька № 1. Там, конечно, все в других размерах; кое-что придется уменьшить, кое-что раздвинуть и пр., но опять-таки повторяю, что Вы – девочка умная (и самая милая, простите!) и все поймете сами.

[I] С глазу на глаз (*фр.*).

[II] Quelque chose – что-нибудь (*фр.*).

Раскрашу я здесь. Деньги пусть Вам не Коган дает, а я. Это моя работа. Мне будет платить Коган; а я Вам буду посылать фунтики, а фунтики куда лучше марок. Я заплачу даже больше 10 ф[унтов].

У меня уже есть больше, чем нужно для дороги. Коплю понемножку.

По-моему, Вы можете сделать эту работу. А мне-то как будет приятно думать, что милая дорогая Людмилица работает где-то над тем-то делом!

Вот и все о сказке!

Ну, теперь снова – болтовня. Вот, между прочим, уговор. Вам я пишу разные излияния любовного свойства. Вам это известно.

Не отвечайте мне никакими неприятными словами. Вы ведь и так, как и я Вам, мне много обо всем говорили. Я знаю. Учтите, что я сейчас какой-то полупомешанный усталый неврастеник, мучимый одной и той же неотступной мыслью. Если Вы будете совсем молчать, я буду сходить с ума; если Вы будете писать мне «жестокие вещи», я тоже буду сходить с ума. Пишите мне добрые, дружественные письма, чтобы каждое письмо было для меня живительным зарядом на целую неделю работы.

А потом увидимся... Еще и еще раз прошу Вас: о вине забудьте; не будет его, как уже и нет. Я ведь теперь не прежний, а тот, которого Вы сделали. Я настолько уверен, что этого, конечно, не будет, что теперь даже жалею, что написал Вам об этом и огорчил Вас. Простите меня, милая, дорогая Людмилица. Простить надо. Напишите, что простили. Не забудьте.

Строчки, зачеркнутые в начале письма, – о Дроздове. Я написал было, пользуясь тем, что и Вы упомянули его имя, а потом раздумал; ну его к Богу. Не скрою, что то, что Вы написали, мне очень понравилось. Людмилица, я знаю, что Вы можете быть очень рассудительной и мудрой особой и умеете взвешивать и сравнивать, а также раскусывать разные фрукты и в переносном и в прямом смысле.

В прямом смысле, что Вы сейчас там раскусываете? Мы едим дыни, абрикосы, сливы, черешни, начались фиги и виноград. Апельсины – халлас[1]!

---

[1] Кончились (*араб.*).

Скучно без милых песиков. Хопик меня очень тронул. В последний день он уже так ослабел, что лежал в углу зеленоширмовой комнаты на подстилке и не мог встать; я видел, что он умирает; но каждый раз, когда я подходил к нему, он слабо повиливал хвостиком. В последний раз я подошел к нему минут за десять до его смерти. Он даже не мог повернуть в мою сторону своих глаз, но все же еле-еле повилял хвостом. Вот это преданность! Милые псы, как они нас любят, но я... люблю Вас не меньше, и если бы у меня был мохнатый собачий хвост, то и я повилял бы Вам в момент моей смерти.

Не знаю, напишет ли Вам в эту почту Ольга Владимировна, а потому напишу Вам об одном классическом случае, который она мне рассказала. Если напишет и она, то у Вас будет тот же факт в двух изложениях. Дело касается Вашей бывшей повелительницы, ненавистной мне г[оспо]жи Степановой.

Когда я был в Александрии, Юрий был в гостях у Сандеров. Разговорились про скорый приезд Ее Величества. От нее поступают повелительные письма, что куда поставить, словом, приказы. И вот Юрий, говоря о дочери г[оспо]жи Степановой, назвал ее Ириной Васильевной. Ольга Влад[имировна] спросила его, почему такое почтительное, даже заглазное, величание, тогда как все привыкли, что зовут ее Ирочкой и что ей только 17 лет. Юрий на это сказал, что от Степановой было получено строгое письмо, где было сказано (<u>точно</u>), что только m[ada]me Blanche[1] имеет право (удостоилась монаршей чести) называть эту девчонку (моя терминология) Ирочкой, а все прочие должны ее величать Ириной Васильевной. Ольга Владимировна не выдержала и вспылила: «Как, взрослых барышень Чириковых было вольно называть Милой и Валей, а 17-тилетнюю девчонку надо называть Ириной Васильевной?» На что Юрий ответил, что так приказано. Нравится? Уж и дрянь баба, вздорная, злая и тщеславная! Небось эту свою собственную цацу с разными английскими летчиками знакомить не станет!

Что ее-то Вы скоро раскусите, в этом я уверен.

Ну, Людмилица, начинаю прощаться. Уже второй час ночи. Я люблю писать Вам письма. Хоть и не видишь Вас, но все же эти мгновения принадлежат только Вам, хотя почти все мгновения

---

[1] Мадам Бланш (*фр.*).

имеют одну и ту же собственницу. Работы – тоже. Вы останетесь довольны Вашим маэстро и увидите, что художник Билибин совсем еще не старый человек.

Да хранит Вас Бог, но и сами себя храните. Совета считать долгие числа перед поступками не забывайте; начните считать такое длинное число, чтобы Вы окончили его как раз к моменту моего приезда. Как я беспокоюсь о Вас, думая о тех хищных волках, которые рыщут везде и всюду! Иногда когда подумаешь да дашь волю воображению, то прямо не находишь себе места!

Живите с сестрой Ольги Владимировны, и хоть я ее почти не знаю, передайте ей от меня самый теплый привет. Непременно. Скажите Когану, что я ему напишу со следующей почтой. Буду просить его протекции для получения разрешения на въезд в Берлин. Передайте ему это; ведь все равно напишу. Целую Вас в кляксик на Вашем глазу. На таком расстоянии можно; получается настоящий воздушный поцелуй. Всего, всего хорошего.

Ваш всегда и всегда Бум.

23 июня. Милая Людмилица,

Опять преступление; опять пишу Вам утром до прихода О[льги] В[ладимировны]. Хочу успеть написать два слова, то, о чем мы говорили вчера вечером с Н[иколаем] А[лександровичем] Венедиктовым после того, как я взял у них ванну.

Мы говорили о том, в связи с анализом жизни четы Лелявских, что комбинации полного аккорда в супружеских соединениях очень мало и что такие счастливые созвучия – громадная редкость. Все же и он, и я наметили по одной, по две парочки, где люди дожили до старости, как Филемон и Бавкида[165] или как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна[166]. «Как ужасно для оставшегося, когда один из них умирает», – сказал я. На это Н[иколай] А[лександрович] ответил, что другой обыкновенно очень быстро умирает тоже, т[ак] к[ак] вместе с первой смертью от оставшегося отлетела та неведомая какая-то жизненная сила, заставлявшая его думать, двигаться, делать свои дела, вообще жить[167].

Когда я шел к себе домой, то я чувствовал, что это произошло и со мною. Иногда люди отдают друг другу свое тело, а иногда (м[ожет] б[ыть], это еще больше) всю свою душу без остатка: на, мол, бери. И вот когда один человек покидает другого, то, укла-

дывая в чемодан свои вещи, он, незаметно для себя, укладывает и душу другого, а тот, оставшийся, остается ни с чем; так, автоматом каким-то.

Ну, написал, а теперь буду красить.

24 июня, 1.30 ночи.

Хочу написать сейчас хоть что-нибудь и не столько для Вас, как для себя, ибо, когда пишешь, получается какое-то отдаленное подобие разговора с Вами.

Все по-старому. Перемен нет. Мышь попалась в мышеловку, да умер какой-то служащий в Compagnie des eaux[I].

Я усиленно работаю 8 ч[асов] в сутки в «официальные» часы, а по вечерам спасаюсь из дому от компании с самим собою.

Решение покинуть Египет, если не умру, непоколебимо.

Маркизы для Мидхата будут очень красивыми. Пришлю Вам эскизы, когда освободятся, для помещения их в журнал, но если дадут за них хорошую цену, то продам и здесь, хотя жалко. Хочу иметь деньги в кармане, когда буду в Вашей Европе.

Сегодня, как всегда по субботам, был у Лелявских. После ужина поехали на веранду в Гелиополис, а потом, вернувшись, пили у них чай. Лелявский, несмотря на свою математико-инженерную педантичность, оказался очень верующим человеком. Беседовали о простом и детском подходе к вере, о разрушении самодовольства Базаровщины[168], о бесконечности и о положениях нашего батилиманского Алексея Ивановича.

Шел пешком по Каср-эль-Нилу, смотрел на страшных, но все же жутко живописных ночных женщин, а сейчас вот построчу немного да и спать. Завтра в музей не пойду, а буду рисовать маркиз.

Степанова приехала. Я ее, конечно, не видал. Был я приглашен на сегодняшний вечер в Гелиополис же к Бурксеру на новоселье, но, узнав, что там будет Степанова, не пошел. Пойду к нему solo в понедельник.

Сегодня же был у меня перед вечером Ховсепьян. Он рассказывал, что Юрий говорил ему о приезде Степановой с дочерью и что ему (т.е. Юрию) приказано величать m[ademois]elle[II] Степанову полным именем.

[I] Компания по водоснабжению и водоотведению (*фр.*).

[II] Мадемуазель (*фр.*).

Я бы на Вашем месте хоть чуть-чуточку обиделся.

Посылаю Вам ex-libris[I], сделанный мною для Бенаки, и фотографию контура второй маркизы; теперь эти контуры уже почти готовые и очень красивые (честное слово) акварели. Этих маркиз нигде не помещайте, а ex-libris, если кому нужно, можно. Я очень торопился с ex-libris'ом и не совсем им доволен, а монограмма наверху в круге – старая Бенакиевская, которой он не хотел менять, но которую я считаю неудачной.

Все время думаю о Вас. Ну, иду спать.

---

25 июня. Около полночи.

Сегодня было воскресенье. Вечер закончил у Лукьяновых. Прошел еще один день моего тюремного заключения, и если буду жив, то момент свидания с Людмилицей приблизился еще на один день.

Сегодня решил работать с утра и в музей не ходить, но... Вы мне оставили тройное наследство: 1) Махмуда, 2) M[ademois]elle Salle[II] и 3) г[оспо]жу Димову, и вот эта-то последняя и пришла ко мне сегодня в 11 утра. Рисовать, конечно, было невозможно, и мы приступили к самым мистическим и теософским темам. Клиентелы[III] у нее почти нет; она такая худая и маленькая; остались одни глаза с синевой под ними. Просит передать Вам всякие приветствия, говоря, что Берлин – опасный город, pas pour les jeunes filles[IV]. Правда это?

Послезавтра надеюсь получить от Вас письмо и надеюсь – менее строгое. Как я люблю получать от Вас письма и как я боюсь их! Вдруг внутри окажется что-нибудь страшное!

Ну, чтобы повеселить Вас, расскажу Вам забавный казус, бывший с неделю тому назад. Кончали мы афтернунный рабочий перегон. Была душная жарища. Бибиков отпыхивался на лестнице, рисуя верхушки на Мидхата, а я сидел в самом черном погребальном настроении у стола и тоже что-то делал. Вдруг стук в дверь,

---

[I] Из книг (*лат.*); книжный знак, указывающий на принадлежность книги определенному владельцу.

[II] Мадемуазель Саль (*фр.*).

[III] Clientèla – клиентура (*фр.*).

[IV] Не для молоденьких девочек (*фр.*).

и влетает Сальша в одном из своих веселых приподнятых настроений; хохочет, вообще весьма оживлена.

Я подумал: вот и прекрасно; попробую с нею развлечься, и пригласил ее пойти съесть мороженое в [«]Сирос[»]. Она охотно согласилась. Вышли втроем, но Бибиков шел домой. Внезапно, у самого [«]Сироса[»], встречаем П[етра] Ф[едоровича] Сандера. «А я к Вам, – говорит он, – Вы куда?» «А вот идем в [“]Сирос[”]». «Он пе венир ав[е]к ву?»[I] – спрашивает П[етр] Ф[едорович], на что, конечно, получает приглашение. Сели за столик. Фонтан брызжет, музыка играет; народу – битком.

Сальша начинает развивать легкую эпикурейскую[169] философию, причем за одобрением часто обращается к П[етру] Ф[едоровичу], а он смотрит на нее испуганными глазами и повторяет «вуй»[II].

Она увлекается, говорит, что не надо быть si triste[III], что не надо prendre la vie au serieux[IV], что она с удовольствием поделилась бы с нами своим легким esprit français[V] и, наконец, надо ехать в Париж и prendre une petite amie[VI].

«Вуй, вуй», – повторяет П[етр] Ф[едорович] с выражением ужаса на лице; а потом, оказывается, он сообщал своей жене: «Знаешь, Оля, эта Сальша говорила такие ужасные вещи, что я не знал, куда мне смотреть».

Вот и вся история.

Ну, пойду спать. Будьте целы и невредимы, бодры, работайте с удовольствием и плодотворно и не забывайте тех, кто всегда и всегда, денно и нощно (сны) с Вами. Прощайте им их невольные промахи и, как я говорю Махмуду, сравнивайте, сравнивайте, сравнивайте и взвешивайте.

[*Рисунок весов*]

26 [июня]. 9 ч[асов] утра.

Обыкновенно в этот час в глубине дорожки, ведущей к калитке, показывалась милая Людмилица. Собаки срывались с места и

[I] On peux venir avec vous? – Можно пойти с вами? (*фр.*).
[II] Искаж. oui – да (*фр.*).
[III] Таким грустным (*фр.*).
[IV] Воспринимать жизнь всерьез (*фр.*).
[V] Французский дух (*фр.*).
[VI] Найти подружку (*фр.*).

мчались к ней навстречу. Как все это было хорошо, а теперь ничего этого больше нет!

Тот же день, час ночи.

Только что вернулся от Бурксера и позавидовал их гнезду. На стенах у них ничего нет; квартира маленькая, беленькая. Скромная плетеная мебель, но есть внутреннее тепло, излучаемое местами, где живет любовь. Вот у Лелявских этого тепла нет, ибо их любовь прихрамывает; а у меня на стенах красивые вещи, но мрачно, точно в гробнице фараона.

Иду спать, а под подушку, как все последние дни, положу некую комбинацию из предметов, которой меня научили, чтобы обо мне думала та, о которой я всегда думаю. Напишите мне (это очень важно для проверки этого волшебного средства), думали ли Вы обо мне в эти дни.

Вас ужасно не хватает в нашей работе, и как бы мне хотелось показать Вам вот сейчас, сию минуту эскизы моих маркиз. Очень красиво получаются.

Завтра вторник. Неужели не будет от Вас письма; а если будет, то дай Бог, чтобы хорошее. Ну, Людмилица, значит, так. Если Степанова будет Вам шипеть в письмах на мой счет, то ей ничему не верьте. Я сам не побоюсь написать Вам о себе все дурное, на то и наши старые отношения. Только сейчас горизонт идеально чистый.

В Каир не хотите? Говорят, у Вас там кого-то убили и вообще какие-то осложнения. До свидания, дорогая и милая коллаборатриса. Вы считаете еще себя членом нашей мастерской или уже Вы чужая? Не думаю.

28.6, ночь.

И вторник прошел, и среда, а письма не было. Я так надеялся. Самые ужасные, самые мрачные и самые фантастичные мысли о Вас лезут в голову. Людмилица, значит, неправда, когда Вы говорите, что любите мое рисование, ибо Вашим молчанием Вы тормозите мое дело. Начинаешь прямо лезть на стену от беспокойства, а тут изволь компоновать! Если Вы искренне говорите, что Вы мне чем-то обязаны в рисовальном отношении, то сочтите это как бы за свой долг писать Вашему (бывшему, что ли?) маэс-

тро один только раз в неделю, хотя бы несколько строчек. Почему Вы беспокоитесь, если не успели вернуть кому-нибудь несколько пиастров долга, и одновременно считаете совершенно допустимым заставлять мучиться самого преданного Вам человека, может быть, во всем мире, прекрасно зная, что он мучается? Грешно Вам, Людмилица!

Ой, Людмилица, Людмилица, как я боюсь за Вас! Как я боюсь Вашего Берлина и как я боюсь Вашей встречи с одним человеком, которого чутьем я считаю недостойным Вас.

Читая его вещи, я чую запах его души. Это – определенный, специфический запах. Если бы, скажем, даже не Вы, а какая-нибудь другая русская честная и прямая девушка вроде Вас сочла бы в сердечном опьянении его за огонь и полетела бы к этому пламени, то этот человек, мне так кажется, не остановился бы и не стал бы считать не только до десяти, но даже до трех, а сказал бы себе: летит ко мне, значит, бери! И был бы в его ожерелье новый лишний камешек и только.

Берегитесь, Людмилица! Мне ведь теперь ясно, что не в Прагу Вы ехали из Каира!

Ну, довольно об этом. Может быть, все обстоит благополучно и милая Людмилица сидит и корпит себе над графикой. Пришлите мне посмотреть эскизики. Мне очень интересно, какой Вы будете делать Ноев ковчег. Тема прекрасная.

Мы же с Ольгой Владимировной приступили сегодня (28 июня) к живописи обеих маркиз на обоих панно по готовым эскизам. Я поставил срок на обе вещи 40 дней. О[льга] В[ладимировна] не верит, что успеем. Ну, 50; и то было бы хорошо.

Ведь я делаю еще один заказ для Бенаки; византийского юношу на коне с соколом в руке и с собакой внизу. Размер 80 × 67 сант[иметров]. Акварель. Работается вечерами. Цена 150 ф[унтов]. Композиция начата. Деньги, деньги. Хочу к Вам приехать с полным бумажником.

Посылаю Вам начало серии коптских[170] тканей. Эти снимки из [Греко-римского] музея в Александрии. Эпоха – ранняя христ[ианская].

Теперь – несколько слов насчет тех денег, которые Вы получили за право репродукции с моих оригиналов (смотрите, получите их обратно, и пусть с ними обращаются бережно). Считай-

те их за аванс от меня за Ваши работы; ведь это всего три фунта. Я бы был так бесконечно рад, если бы Вы согласились. Ну пожалуйста.

Ну, да хранит Вас Бог.

Ваш И. Б. (Бум)

25

1–5 июля 1922

NB. Письмо получено, т[ак] ч[то] первую часть прочтите вообще.

1 июля 1922. Час ночи (суббота).

Милая Людмилица,

Меня невольно тянет к перу и бумаге, хотя я и не знаю, получу ли я от Вас хоть в этот вторник письмо, и если получу, то какое. Страшно.

А о чем писать? Да все о том же, о моем прогрессирующем умопомешательстве. Вам это надоело, и я, вероятно, мешаю Вам жить.

Только Вы знаете, что такое по учению теософов ад. Это – стремление и невозможность достигнуть желаемого. Многое из того, что во мне происходит, Вы назвали бы ревностью. Я не знаю, что это такое, но я больше так не могу, я и действительно совершенно съехал с рельс, а поэтому мой отъезд есть дело окончательно решенное. Уеду я, если не умру, ровно через три месяца. Я работаю очень интенсивно 4 часа при О[льге] В[ладимировне] и 4 часа при Бибикове. Работа идет продуктивно, но потом, в одиночестве, я работать совершенно не могу и каждый вечер я куда-нибудь удираю. Веду себя совершенно чинно; иначе и нельзя, потому что иначе можно, и действительно, натворить дел. В музей я больше не хожу и поэму Пентаура я окончательно забросил к черту. Какая тоска, если бы Вы знали!

Иногда силишься посмотреть на все со стороны. Ну, в жизни маленького человека Ивана Яковлевича встретилась какая-то девушка, Людмилица. Он к ней, а она от него. Может быть, есть где-нибудь и tertius gaudens (латинский термин, т.е. третий ликующий). Ну и что же? Ведь это как обычно, и стоит ли из-за этого стулья ломать? Но это, однако, неверно. Для этого нужно вы-

лезти из себя, а пока мы живы, мы в себе, и когда мне режут мою руку, то мне очень больно и в ту минуту я не могу заниматься поэзией. Да и зачем руку! Если живот болит, и то не станешь читать стихов.

Наконец, эта проклятая обманщица – надежда. Она нет-нет и улыбнется, а рана от этого не затягивается, а только расширяется. Надежда вопреки всему... и тут же говоришь себе, нет, не вопреки, потому что у Людмилицы у самой была путаница в душе, и многих пунктов она сама не разрешила. Я не знаю, продолжала ли она любить этого (ненавистного мне) tertius gaudens, но, с другой стороны, это слово «дружба», которое мне упорно подносилось, было совершенно туманно, неопределенно и, главным образом, точно не взвешено. Было больше, чем дружба, но было большое колебание. И знаете, что меня поддерживало? Ваши глаза, Ваш взгляд. Глаза говорят больше, чем разрешено речи и даже мысли.

Я помню одну такую встречу, когда Вы приехали из кампа, а я сидел уже в Каире (но еще не окончательно, а по кампoвому отпуску) и вел себя очень скверно. Вы написали мне перед тем из кампа очень строгое и очень решительное письмо. Я знал, что Вы должны были в этот день приехать, и пошел по направлению к клубу, решивши встретить Вас «невзначай», т[ак] к[ак] в Вашем письме Вы написали какие-то очень жестокие вещи. Я и на самом деле наткнулся на Вас случайно. Вы обедали или пили лимонад, уже не помню, в маленьком ресторанчике под клубом, и вдруг увидели меня. И первое, что было, – это Ваш взгляд, такой радостный, такой добрый и такой бесконечно ласкающий, что я его как сейчас помню и никогда не забуду. Это был не простой взгляд. Это Ваша душа посмотрела в мою душу, может быть, и сердце тоже. Потом Вы сразу втянулись в себя и, кажется, довольно строго со мною поздоровались.

И в Крыму бывали такие же взгляды.

Раз, когда я делал этюд на Вашем участке, в щели между камней, Вы вдруг появились высоко на верхушке камня, посмотрели вниз и улыбнулись. На Вас было желтое платье, Вы были освещены солнцем, и казалось, что Вы были самим ласкающим солнышком, поцеловавшим мою душу.

Ну да много есть, что можно вспомнить; и красиво все было, только стихи, а не проза. Может быть, это даже минус, ибо проза применимее к жизни и к реальному осуществлению.

И все же... dum spiro, spero. Может быть, Вы и очень далеко уйдете, а потом... вернетесь.

Четверть второго. Спать!

4/7, вторник.

Ну, спасибо, милая и дорогая Людмилица, приехали и славные обезьянки, и наконец письмо, очень и очень хорошее, страшно меня порадовавшее.

Мое сумасшествие пресеклось, и я торжественно объявил Ольге Вл[адимировне], что я снова принимаюсь за поэму Пентаура. Я не прикасался к ней более месяца.

Был перерыв. Начал писать в 8 ч[асов] вечера, и теперь полночь. Приходил Тихий, который прокомментировал с юридической точки зрения то письмо о разводе, которое я посылаю М[арии] Я[ковлевне]. Это очень трудное письмо. Я не хочу вызывать к себе никакого сочувствия, умышленно не затрагиваю никаких моральных сторон, конечно, не помещаю никаких патетических обещаний, а, наоборот, пишу так, чтобы дело базировалось на недоверии ко мне, как и вообще требуется от всех юридических актов. Я выясняю мое неустойчивое положение и прошу ее сообщить мне свои условия, но намекаю, что развод для нее во всех отношениях выгоднее неразвода. Тихий сказал, что он очень доволен моим изложением, и, в сущности, сделал мало поправок и предлагал мне включить одну фразу, от которой я наотрез отказался, а именно, чтобы М[ария] Я[ковлевна] прислала бы мне свою фотографию с детьми. Это была бы, особенно в таком письме, несомненная фальшь и какая-то мелодрама.

Во всяком случае, дело начато. Посылаю, как и это письмо, послезавтра.

Сделаю все от меня зависящее (а не выйдет, то уж не моя вина), чтобы, если нечто в моей жизни встретится, не повторялось более неприятного положения Ренс Рудольфовны[7].

Ну, Людмилица, завтра, в письмописательный вечер, напишу Вам еще.

Работайте и беритесь храбро и за трудные задания, Вы ведь человек с художественной инициативой, с Божьим огоньком. Это я Вам всегда говорил. Техника получается от времени. Давайте спокойно работать, а осенью встретимся.

Какой мир воцарился в моей душе, когда я узнал, что один страшный для меня призрак растаял в Ваших же собственных глазах. Ну конечно же! Верьте же, Людмилица, что не только ревность, но и опыт заставляли меня говорить Вам то, что Вам так не нравилось и чего Вы мне не разрешали.

В литературе есть два течения, возвышающее и растлевающее душу. Это очень элементарно и, может быть, сказано языком приготовишек, но это так. И то, и другое может быть ярко и талантливо, как может быть ярок, талантлив и остроумен Отец лжи – Дьявол.

Я помню, однажды, в Питере, на одной ассамблее моей матери приятель гр[афа] Алексея Н[иколаевича] Толстого и моего брата проф[ессор] Ярцев обрушивался на мужчин и женщин в произведениях Тургенева, называя их безвольными тряпками, бессильными и моральными калеками. Он с увлечением говорил, что мужчина должен быть отважным самцом, брать женщину, когда загорится его кровь там, что ли, в общем – арцыбашевщину. И это нравилось.

Но все же это глубоко неверно. Поцелуй прекрасен, но поцелуй в великой любви, которая может заставить человека принести себя в жертву другому, пойти за ним в сибирские рудники или ждать его возвращения до седых волос. А у этих растлителей поцелуй есть символ завоевания плотью плоти, а потом слова и трескучие фразы, которые забирают очень много жертв в свои ловушки, а еще дальше – мрак.

Нет, не надо их, и верьте, что ангел лучше черта. Я, кажется, уже говорил Вам это. И сегодня, когда я с трепетом прочел Ваше письмо, я был так бесконечно рад, что Вы сами сказали все это. Еще раз спасибо. Иду спать с песнями. До завтра, т.е. для Вас – до следующей строчки.

5.7, вечер.

Вот что, милая философша, я Вам посылаю 5 англ[ийских] фунтов. Ни-ни! Не рыпайтесь и никаких возражений. Я Вам еще здесь, в Каире, неоднократно говаривал, что Вы вполне заслужили премию; так это – часть премии. Ведь Вы же моя лучшая помощница, и каждый день я так чувствую Ваше отсутствие в работе (а о другом, конечно, и говорить нечего!). И потом, эти посылочки являются для меня родом валерьяновых капель: я, посылая, думаю, что если у Вас сейчас недохватка, то вместо того, чтобы брать ненужные и утомляющие работы, Вам чуть-чуть поможет маэстро, он же Бум. Между прочим, получили ли Вы 1100 чехословацких крон, которые я Вам послал? Вы ничего не пишете. Я боюсь, что эти деньги пропали.

На этот раз, по совету банка, я посылаю Вам так называемый чек на Лондон, т.е. не марки, а фунты. Ваши марки страшно падают, и дней через 7–10, когда Вы получите это письмо, Вы, вероятно, будете в состоянии получить большее количество марок, чем если бы я сегодня же разменял фунты и послал Вам марками. Этот чек Вы предъявите в любой большой банк в Берлине, и Вам дадут марки по курсу дня или, быть может, попросят зайти через дня три, четыре. В [«]Credit Lyonnais[»][1] мне сказали, что так очень часто делается; Вы же все-таки поговорите с людьми знающими.

Итак, не протестуйте; это я делаю больше для себя, чем для Вас, а у меня здесь так мало удовольствий; мне же это сделать нетрудно. Мой фонд растет; я коплю его неукоснительно; на то, что у меня есть, я мог бы оплатить проезд в Европу и уже даже обратно.

Куда же мне ехать, Людмилица? Прямо ли в Берлин или в Берлин, но через Париж, чтобы хоть одним глазом взглянуть, что это за Париж такой. Если бы я знал, что Вы сидите себе паинькой и рисуете (пока, дай Бог, не сглазить! – оно, кажется, так и есть), то я рискнул бы проехать через Париж, а оттуда до Вас рукой подать. Можно и через Берлин проехать в Париж.

Наконец, у меня есть и фантастические планы. Я в Париже. Получаю работу. Нужна коллаборатриса. Пишу: сто тысяч раз

[1] «Лионский кредит» (*фр.*), название французского банка.

милая и два миллиона дорогая Людмилица, приезжайте, меняйте Шпрее на Сену. Не пишите, что Вы пустили корни; даже большущие деревья выкорчевывают, а не то что такой штамбик, как Людмилица. Вот какие планы. Вы говорите, что не хотите ехать на зиму в страны экзотические; ну, Париж к таким странам не относится.

Еще раз возвращаясь к теме об исчезнувшем призраке. При встрече, если хотите, письменно, Вы мне хоть немножко расскажете, как это произошло. Ведь правда? Людмилица, помяните мое слово: скоро падет еще один призрак, но каирский и женского рода. Нехорошие флюиды исходят из этого фантома, тоже растлительные, но перемешанные с малиновым вареньем. Вы были каким-то загипнотизированным орудием какого-то непонятного спорта или, если позволите так сказать, какой-то моральной извращенности. Очень похоже на знаменитую Напу. Вы поймете после, что я был прав. Оберегать Вас от меня ей было не за чем, Вы и сами не маленькая, да и не в том дело. Зачем же она явно толкала Вас на встречи с «принцами» во что бы то ни стало, называя это «жизнью» и т.д.? А ведь это было.

Был у меня как-то Юрий; сидели и болтали. Вдруг он каким-то робким голосом спрашивает меня: «А Вы не зайдете к нам поздороваться с Магд[алиной] Вл[адимировной]?» Я посмотрел на него и сказал ему: «Вот что, Юра, поговоримте откровенно и с глазу на глаз и без передачи. Ведь Вы же все видели, что здесь происходило, и все, конечно, понимаете. Мало ведь, если человек пришивал иногда другому пуговицы, стряпал иногда обеды, а в самом главном был постоянным и самым непримиримым противником». «Да, я знаю; это было убеждение Маг[далины] Вл[адимировны]». «Ну пусть оно при ней и останется; но тогда между нею и мною была промежуточная инстанция и ради нее отношения для видимости поддерживались, а теперь между нами ничего нет, воспоминания мои слишком свежи, такие воспоминания не скоро забываются, а потому никаких отношений между нами быть не может и, конечно, я к Вам не приду».

Юрий подумал и сказал: «Я нахожу, что Вы совершенно правы».

Ольга Влад[имировна] держится всецело моего мнения.

Ну, страничка кончается; время близится к полночи.

Рисуйте же. Рисуйте медленно с карандашной подготовкой и ничего не бойтесь. «Не падай духом, Артемий гордый!» Пришлите мне что-нибудь на просмотр. Людмилица, я ведь еще прогрессирую, при условии, когда меня не мучают, маэстро Вашим могу быть с успехом; менять маэстро, во-первых, не годится, а во-вторых, Вы и не найдете другого такого «книжного деда». Еще поработаем вместе. НЕПРЕМЕННО И В СКОРОМ БУДУЩЕМ, если я только не околею. Я совсем развинтился, устал до ошаления, чувствую сердце, а жарища в этом году ужасающая, духота и тяжесть. Все каироты находят, что это одно из жарких лет. План обложки ведь Вы же от меня получили. В следующем письме будут разные заказики. Заготовлю письмо исподволь за неделю. Пишите раз в неделю; если некогда писать длинное письмо, посылайте открытку, т.е. сигнал «чикс». Ну, да хранит Вас Бог и все светлые силы. До свидания, дорогая. Целую Вашу душу.

Ваш Бум.

26

6 июля 1922

6.7.1922, четверг, около 9 ч[асов] утра.

Письмо уже запечатано, но пока Ив[ан] Конст[антинович], который понесет сейчас его на почту, еще здесь, припишу еще немного.

Во-первых, Джон всегда помнит свою малютку. Вернее, весь день Джона есть непрерывающая[ся] мысль о милой, далекой малютке.

Во-вторых, сидя за утренним чаем и перечитывая Ваше письмо, я увидел, что я не ответил Вам на некоторые деловые пункты.

Значит, заглавный лист для Василисы (план) я сто лет тому назад вместе с кальками послал в Прагу. План же обложки и тоже с кальками я послал в Берлин на Hospiz[1], где Вы жили. Не посылал пока больше, т[ак] к[ак] Вы же ведь еще ничего мне не прислали.

Пришлю Вам заказы и по поэме Пентаура. Книги Вы для меня выбрали, очевидно, прекрасные. Если Вы мне еще их не послали, то и не посылайте, а передайте мне лично с Луисезным реверансом из рук в руки.

[1] Общежитие, пансион (*нем.*).

Еще раз повторяю, что, пока я дышу, Вы не можете чувствовать себя одинокой в работе или стучать, как Вы пишете, зубами от голода. Людмилица, моя милая дорогая малютка, и это Вы увидите, что наши души пустили друг в друга корни. Вот погодите; мой сосед Гавази, друг Каттауи, архитектор, который живет в той комнате, где жил противный турок, рассказал мне интересную вещь. У нас с ним почти ежевечерно бывают беседы перед сном. Он сидит совершенно голый и поливает свою почти совершенно лысую голову, хотя ему 33 года, каким-то снадобьем (у меня снова лезут волоса), а я прихожу поболтать «деми-ню»[I]. Вчера он спросил меня: «Dites-moi, Bilibine, franchement, suis-je chauve (лысый) ou non?» – «Vous voulez une réponse franche?» – «Mais absolument». – «Eh bien, vous êtes transparent»[II].

Итак, я отклонился. Интересная вещь заключается в том, что в Париже есть какая-то американка, которая за 15 дней сделала одну старуху такой красивой и молодой с виду, что та даже вышла замуж. В крайнем случае и я пойду к ней и скажу ей: делай из меня принца и больше никаких!

Ну, пришла Ольга Вл[адимировна] и принесла полученную ею Вашу открытку. Опять этот ненавистный глагол «запил». Да что за чушь!!! Я – абсолютный трезвенник, а если вдобавок буду получать такие милые и дорогие письма, как вчерашнее, то я и в следующей жизни (по теории перевоплощения) ничего спиртного в рот не возьму.

Ах да, перевоплощение. Димова, которая иногда меня навещает, договорилась до того, что сообщила мне, что она сама своя бабушка, мать своей матери. Ее бабушка умерла, когда ее матери было 13 лет, а потом душа бабушки вселилась в тело внучки. Каково!

Венедиктовой будут скоро делать операцию глаза. Сегодня – четверг. Будет Махмуд. Он, свинья, не принес мне в последний раз денег (5£[III] в месяц); пришлось напомнить. Ну, Ольга Влад[имировна] велит приниматься за работу.

[I] Demi-nu – полуголый (*фр.*).

[II] Скажите мне, Билибин, честно: я лысый или нет? – Вы хотите, чтобы я ответил честно? – Ну да. – У вас голова просвечивает (*фр.*). Сложно дать адекватный русский эквивалент последнего предложения. Transparent – букв. прозрачный (*фр.*).

[III] Фунтов стерлингов.

Wer ist so ganz allein geblieben?
Dass ist der arme Herr Bilibin.
Wen muss man bis zum Tode Lieben?
Den ewig treuen Herrn Bilibin.
(*Schiller*)[I].

Ну, всех благ. Не забывайте очень хорошо питаться и покупайте себе и сладости. Ваш пур тужур[II].

И. Б.

Я о. л. в.[172]

27

8–12 июля 1922

8 июля 1922, суббота, двенадцатый час ночи.

Милая крошка,

Это не я Вас так называю, а Диккенс[173], так что я не виноват.

Сейчас я отказался от одного из моих любимейших удовольствий, а именно от поездки при полной луне на автомобиле к пирамидам. Обедал у Лелявских и я же был автором этой идеи поехать на автомобиле к пирамидам, которую я им дал несколько дней перед этим. Они же пригласили к обеду какую-то чету Зусманов (она себе немножко говорит по-русски, а он просто лопоухий богатый коммерсант города Каира, апломбистый и пренеприятный). Я сейчас не переношу всякие ненужные, неинтересные и случайные встречи. Я адски устал, и мне нравится отдыхать, т.е. сидеть в милой компании и, не думая ни о чем, что-то болтать. Провести же несколько часов (я и так уже провел несколько часов за обедом) в компании каких-то совершенно ненужных Зусманов совершенно нестерпимо, и я, под предлогом спешной работы, побрел домой, содрал воротник и вскипятил

[I] Кто остался совсем один?
Это бедный господин Билибин.
Кого нужно любить до смерти?
Верного господина Билибина
(Шиллер) (*нем.*).

[II] Pour toujours – навсегда (*фр.*).

чай. Попью, побеседую мысленно с одной моей любимой Далекой[I], почитаю, покурю и пойду спать.

Завтра же я все же, вероятно, попаду на пирамиды, но с Сандерами, братом Ольги Владимировны[174] (мой третий коллаборатер), его женой и Бибиковыми. Поедем в траме[II], но зато будет своя компания, отдых и непринужденность.

Снова жду и боюсь вторника. А вдруг будет письмо хуже последнего. Бог даст, не будет, а будет снова милое, доброе и вполне благополучное письмо.

Скоро, скоро увидимся! Время летит быстро. Работа идет. Нельзя сказать, чтобы со скоростью курьерского поезда, но зато и не товарного. Ведь жарища-то какая! Иногда впадаешь в какое-то не моральное, а просто самое физическое отчаяние! Хоть бы глоток прохлады, хоть бы на пять минут прозябнуть! Липкая испарина, тяжесть в голове и какая-то удручающая апатия. Какой-то крокодилизм.

Как жаль, что Вы, гордость и слава нашей мастерской, но все же заключившая Брест-Литовский сепаратный мир[175], не увидите наших маркиз. Это тоже ведь, как и Вы, будет каким-то шефдувром. Жалко, что это достанется балде Мидхату. Эскизики к маркизам – ну прямо душки. Наконец, ведь будет и еще один шефдувр – шассер авек эн фокон, стиль бизантен[III]; этот готовится ан дубль[IV], так что Вы его увидите, если, считая до пяти миллионов, дождетесь Вашего верного маэстро и не увильнете с принцем на планету Марс.

Это – я пишу эту билиберду (только я имею право употреблять это слово) от усталости.

Когда Сальша волнуется, то ее волнение бросается ей на нос; и он немного пухнет и краснеет; она же его тогда пудрит. Она иногда заходит; третьего дня мы были с нею в кинема. С нею все же можно говорить и отношения наши довольно камарадные[V]. Вас она очень любит! Потешьте ее и напишите ей храбро, невзирая ни на что, философское письмо по-французски.

[I] Так в оригинале.

[II] Tram – трамвай (*фр., разг.*).

[III] Chasseur avec un faucon, style byzantine – охотник с соколом, византийский стиль (*фр.*).

[IV] En double – в двух экземплярах (*фр.*).

[V] Искаж. от camarade – товарищеский (*фр.*).

Боже мой, как я Вас люблю! Тс! Молчать и не возражать, а я удеру в соседнюю комнату и выпью дю тэ[I]. Оревуар[II]!

9.7. Полночь.

Воскресенье прошло, увы, без пирамид, ибо Пе-Фе[176] оказался занятым. О[льга] В[ладимировна] решила изображать из себя верную Пенелопу[177], двое ново-манчиевцев[178] тоже отказались ехать, жена Бибикова пошла куда-то в гости; словом, расстроилось. Я рисовал целый день и даже до полночи.

Целый день, конечно, беседовал с Вами и мечтал, чтобы между нами установилась вполне благополучная и, на самом деле, не волнующая переписка.

Вы, «часом», как говаривал Нарбут, не думали ли в эти дни обо мне? Недели две тому назад и раньше я был окружен какими-то беспокойными и тревожными флюидами, а сейчас наоборот; точно кто-то обо мне хорошо думает и охраняет.

Дай Бог, дай Бог, чтобы следующее письмо было от Вас хорошее.

Я все вспоминаю прошлое, Крым, Новороссийск (только не Ростов; ненавижу его из-за...), пароход.

Помните? «Сударыня, если бы у апельсинов были ножки...» и т.д.

Ах, да! Пришлите мне стишки про Милу на Мраморном море. Не забудьте!

Завтра, в 11 ч[асов] утра, ко мне должен прийти admirer[III] моих вещей греческий министр, т.е. посланник. Китикас мне, однако, сказал, что это будет визит платонический. Ну, иду спать. Да хранит Вас Бог!

10 июля, понедельник. Полночь.

Ну, моя милая Людмилица, завтра – вторник, желанный и страшный день: письма. Но если и не будет письма, то хотя я и погрущу, но сумасшествовать не буду, так как Вы меня предупредили в Вашем последнем милом письме, что могут быть и двухнедельные промежутки. Пишите все-таки тогда, если некогда, открытку.

[I] Du thé – чаю (*фр.*).

[II] Au revoir – до свидания (*фр.*).

[III] Поклонник (*англ.*).

События дня: Махмуд прекратил уроки на 2 месяца; он провалился на экзамене и у него переэкзаменовка, а страдаю я; 10£ вылетает из бюджета; жалко. Греческий посланник не был; надул. Я возобновил рисование поэмы Пентаура, т.е., вернее, стер все, что было сделано и начал новую голову Рамсеса. После второго «перегона» пошел прогуляться с конечной целью зайти в клуб и съесть там котлетку, что и выполнил с честью. Там был Юрий и жаловался, что от жары он совсем ослабел, голова не работает и руки опускаются; а Ваш дряхлый столетний (или, м[ожет] б[ыть], трехсотлетний) маэстро отбарабанил сегодня ровно 10 часов и еще пишет одному милейшему существу письмо.

Людмилица, а я сегодня много думал о том, какие бы у нас могли быть роскошные... дети... Ради Бога, не вопите преждевременно. Я совсем не о таких детях говорю, а о художественных, о картинах и пр. Ну что, успокоились?

Право же, я начинаю делаться недурным художником и кому же, как не Вам, передать мне всю мою полную чашу? Нужно только стать на ренессансную точку зрения, т.е. все для картины, а не так, как теперь: все для неприкосновенности и независимости индивидуальности.

Жизнь двух людей в одном общем любимом деле – это такой великолепный консонанс[1]. Конечно, если художник может, он мог бы творить и один, как Микель-Анджело или Леонардо, но ведь они были титаны, а вообще это трудно. Трудно человеку быть одному. Мне, например, невыносимо трудно; а раз так, то не должно быть дисгармонии. Если бы мы работали вместе, то от Вас шли бы веяния весны и молодости, а от маэстро шли бы сила и опыт; грозди винограда в сочетании с фиалками. Адски шикарно!

Такой бы «бизантен» сделали, что просто ай-люли! Что там Магдалина наговаривала Вам про мою старость! Это директор банка или статский советник могут быть старыми, а наш брат, пока творит, возраста не имеет. Так, некто неопределенного возраста.

Ну, вообще и так далее.

На это тоже не отвечайте, а ответьте устно при встрече.

[1] Consonance – созвучие (*фр.*); в музыке – один из важнейших элементов гармонии.

Жду Ваших работ. Об одном прошу: не устраивайте войны между Германией и Францией. Это было бы ужасно, потому что тогда, пожалуй, до Вас и не доберешься. Нет, пожалуйста, этого не надо.

Я еду, еду, еду! Скоро я вывешу синий флажок с белым квадратиком посередине, т.е. пароходный сигнал: готовимся к отплытию.

Сегодня я родил (окончательно) двух прехорошеньких акварельных девочек: Жульетту и Гортензию. Это – эскизы моих двух маркиз, которые были не совсем докрашены. Завтра закантуем и повесим. Жестокие люди художники: не успеют произвести на свет ребенка, как тотчас же его вешают.

В мистику не ударяйтесь. Превратитесь в Димову и будете думать, что Вы не Вы, а Ваша прапрабабушка. Рисуйте и думайте о маэстро, ибо, пока он не околел, это не мистика. Вот и все, и будет прекрасно.

Я весь мозг свой о Вас продумал. Наверное, если бы можно было раскрыть мой череп и посмотреть, что там делается, то, вероятно, все мозговые извилины приняли форму [буквы] Л., т[ак] к[ак] другой работы у моего мозга нет.

Иду спать, скоро час. Что-то будет завтра?!

P.S. Что такое – Саша Чёрный[179]? Т.е. его возраст, наружность, национальность и семейное положение. Пожалуйста, доложите-с (это я «шутю»).

11.7. Вторник, 7 ч[асов] вечера.

Письма не было. Все же это очень нехорошо. Не поверю, чтобы при какой угодно занятости нельзя было в течение целой недели найти буквально пять минут времени и начиркать два слова на открытке. Это – такая ничтожная просьба. Неужели же я не заслужил даже открытки? Нехорошо, нехорошо, Людмилица. Теперь мне ждать еще целую бесконечную неделю, а если и там не будет письма, то тогда я снова начну сходить с ума от беспокойства.

Сегодня я проработал 8 ч[асов] на ногах; упорно мидхатил. О[льга] В[ладимировна] снова заболела и сегодня не пришла. Если это снова надолго, то для работы это ужасно.

Очень красиво выходят деревья на «маркизах». Конечно, это не «Луисез», а так, приблизительно; есть немножко от гобелена, от Пуссена[180], а главное – от нашей фирмы. Я говорил сегодня Бибикову, что было бы очень интересно исполнить в таком стиле громадный романтический пейзажище: тяжелые купы деревьев частью зеленых, но мутноватых и темных, частью коричневых; тяжелые груды облаков и туч с просветами сине-зеленого неба довольно интенсивного тона, потом какие-нибудь скалы, на них руины замка или чего-нибудь подобного; на заднем плане море и паруса. Можно сделать замечательно красивую вещь, но работать надо, несмотря на большой размер, очень тщательно и очень медленно. Бибиков сказал мне, что я мог бы сделать такой эскиз, оставив ему с Ольгой Владимировной, а они, дескать, сделают увеличение и пришлют мне в Европу для окончательной отшлифовки. Нет, без меня этого делать нельзя, да и некогда нам; дышать некогда.

Да, медленность и тщательность – великое дело. Оно же – терпение и небоязнь долгого труда, т.е. то, чего не выносят Судейкин и Ко. Я представляю себе мысленно такой отчасти гобеленного типа громадный пейзаж, над которым работалось долго и спокойно. На первом плане могут быть и небольшие фигуры, напр[имер], группа всадников в плащах.

Это может делаться вместе с помощниками, но только где их взять? Ненадежная все публика.

Взять хотя бы моих. Бибиков работает (и вполне естественно) до первой интересной для него архитектурной работы.

О[льга] В[ладимировна] старается самым добросовестным образом, но она при П[етре] Ф[едоровиче], и его дело есть в ее глазах, конечно, важнейшее на планете. Нужно ему уехать, скажем, в Гренландию, и она поедет, конечно, туда же.

Была милая Людмилица, но она, бросив дело, не выдержала и, под предлогом тоски по родным, полетела в поисках далеких миражей; к ее же счастью, кажется, во многом разочаровалась, и, может быть, наступит час, когда она обернется назад. А как ее здесь не хватает.

А пока что чувствуешь себя дирижером при разбегающемся оркестре, а потому и сам дирижер, не доведя своей программы, решил удирать. Ведь Вы знаете, что лично мне еще совершенно рано

трогаться отсюда, но если я не околею, то я поеду в Европу, будь там что будет. Это решено бесповоротно. Один я здесь задохнусь.

В промежуток этого отрывка письма я успел сходить к Венедиктовым; взял ванну, поужинал у них, вернулся домой, порисовал полтора часа Рамсеса, а теперь кончаю этот отрывок, ибо уже первый час. Пред Венедиктовыми зашел к Ставриносу (librairie d'art[1]), где узнал, что сегодня курьера не было, т[ак] что, может быть, завтра еще и получу что-то от кого-то.

Рисуйте же по моим заветам, ибо Вы – моя ученица и моя бывшая и будущая помощница, т.е. в будущем не помощница (это пока Вы были маленькой Людмилицей из [«]Connaught House'a[»]), а сотрудница, т.е. в точном смысле коллаборатриса, соработница. Тэк-с.

12.7. Полночь.

Никаких писем не было. Что поделать, когда Вы, вероятно, только изредка вспоминаете, что есть где-то мастерская на улице Antik-Khana. Не все же такие неизлечимые сумасшедшие, как этот бывший надоедливый маэстро. Новые люди и новые друзья, а новое так привлекательно!

А тут прошел день, один из многих, такой же, как вчерашний, и такой же, как и завтрашний. Прибавилось немного на маркизах; попались две мыши в мышеловки, а это уже событие.

Все три коллаборатера работали. День был проклятый по жарище. Сейчас сижу за столом, порисовав часа полтора Рамсеса. Где-то на крыше незримая арабка очень чистым и молодым голосом выводит типичную и все повторяющуюся песню; мне очень нравится.

Что-то Вы сейчас делаете? Работаете и не унываете. Нет счастья вне творчества; оно не изменяет, не обманывает и не заставляет разочаровываться. Только если корабль очень качают извне бурные волны, то внутри, в каюте, рисовать невозможно, а потому не надо править туда, где бушуют бури; во-первых, поломаются снасти, а во-вторых, у Вас, моя милая Людмилица, будет морская болезнь.

Грустно что-то. Интересно, в какой шляпке Вы сейчас щеголяете? Посмотреть бы на Вас.

---

[1] Библиотека искусств (*фр.*).

Ну, кончаю. Перечитал написанное. Боже, чего я только ни нагородил! А все можно было бы резюмировать в одном лейтмотиве, а он из трех слов: местоимение, глагол и местоимение. Voilà![1]

Ну, всего, всего хорошего! Будьте целы и невредимы. Посещайте почаще в мыслях Вашего маэстро и Бума.

Ваш И. Б.

28

13–19 июля 1922

13/7, четверг, полночь.

Дорогая Людмилица,

Еще последнее письмо не уехало из Египта, а я уже строчу Вам новое.

Я нашел свои рельсы. Вдали – Вы, мой маяк, к которому стремится мой корабль, а здесь – я. Другого ничего нет и нечего искать, а потому, думая о Вас, надо уйти с головою в работу, что я и делаю.

Если не будет ничего устрашающего, то так оно и пойдет, пока не встретимся, а там – как оно записано в Книге судеб.

Только что установил точно профиль Рамсеса. Это было целое археологическое изыскание. Пока я доволен. Очень интересно. Вот идеальное поле для самой аристократической графики. Чтобы делать египетские композиции, линия должна быть чиста, как тянущийся звук из-под смычка скрипача-виртуоза. Я не говорю, чтобы это было так у меня, хотя и стараешься.

Конечно, дай Бог сделать мне здесь одну, максимум две вещи для поэмы Пентаура. Остальные же (ведь очень много заставок) я мечтаю делать вместе с Вами, когда мы свидимся. Я не думаю, чтобы Вы разлюбили Древний Египет.

Вы должны мне помочь в поэме Пентаура, иначе это будет одним из столь многих мною начатых и не конченных дел.

Деревья на маркизах растут помаленьку. Я очень доволен одной партией листвы, которую я сегодня намазал. Прямая логика подсказывает, что вслед за этой работой надо бы делать для себя большой декоративный пейзаж, о котором я Вам писал, но на это уже совершенно нет времени.

---

[1] Вот так! (*фр.*).

Не поддавайтесь, если Вас стали бы сманивать на разные кубизмы и футуризмы[181]. Это – отцветающая марка. Идите так, как Вы начали. Это будет деревцо, а теперь только стройте вокруг него подпорные стенки и ухаживайте за деревом.

Книжного искусства (графики) не бросайте. Ведь, кроме того, что оно интересно, Вы сами большая патриотка и подумайте, какое у нас для этого впереди громадное поприще.

Сегодня мне некто гадал на картах по системе краснокожих индейцев. Вышло, что хотя и в будущем, но корабль мой приплывет, куда правит его капитан; но плаванье предстоит большое.

Ничего! Хотя бы обогнуть три раза земной шар, но лишь бы прийти в желанную гавань. Молю Бога, чтобы гаданье сбылось. Лицо сказало мне, что у него всегда выходит верно.

Ну, час ночи, пора закрыть и очи.

Вот и поболтал с Вами. Если бы и Вы так же со мною беседовали!

Да хранит Вас Провидение.

14/7. Пятница. Полночь.

Ну и устал же я. Пишу будто пьяный. Сейчас искал и, кажется, нашел линию шлема на голове Рамсеса. Как мне не хватает Вашего мнения! Я так люблю показывать Вам мои вещи и советоваться с Вами, хотя Вы еще маленькая, а я большой.

Рисованием я хочу забить все прочие мысли. Это есть тоже, если хотите, род сумасшествия. Если бы было возможно, я бы работал всю ночь.

Сегодня, например, перед вторым рисовальным перегоном я сел отдохнуть на полчаса в кресло с весами (трон повелителя Антикхании), но взглянул на Ваш батилиманский портрет, и мне остро и ясно представилось, что чтобы с Вами сейчас ни произошло, я ничего сделать не могу. Меня даже в жар бросило, и снова эта тоска. Потом пришел Бибиков, потом Я[ков] В[ладимирович] Белобородов (шарики выделывает на маркизных рамах), и работа потекла.

Вы, моя дорогая и неоценимая Людмилица, давали мне подчас мудрые советы, хотя Вы и «крошка». Не нужно было делать рам на маркизах, а надо было заполнять все деревьями и фигурой. Выходит-то оно богато, но зато вдвое медленнее. Ведь без рам оба панно были бы почти уже готовы. Ну что делать! Через неделю, может быть, деревья кончим. Но Боже, сколько еще дела!

Как трудно работать, если бы Вы знали, при ужасной усталости и невероятной жарище. А тут еще непременно хочется привезти Вам показать хоть что-нибудь из поэмы Пентаура.

Ну, до свиданья, дорогая «крошка», т.е. «малютка». Пойду под мустикер[182].

Местоимение – глагол – местоимение.

15/7. Суббота. Около полночи.

Только что вернулся от Лелявских. Там мир и тишина, и она гладит его по затылку. Новостей нет; жарища и тоска. Сейчас буду писать письмо Рериху в Америку. А пока – м[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

P.S. Сейчас (письмо Рериху уже готово) поймал себя на мысли: вспомнил, что завтра воскресенье, и Людмилица, следовательно, утром не придет. Не могу жить без Вас.

16.7. Воскресенье. Полночь.

Снова, милая Людмилица, нахлынула какая-то невероятная тоска. Когда же? Когда же? Такая пустота в душе, что прямо хоть вешайся. Время, оказывается, не всегда врач. Чем больше времени проходит со дня нашей разлуки, тем все острее и острее тоскую я по Вас и все больше и больше стремлюсь Вас увидеть.

Безо всякого преувеличения, каждую секунду без перерыва, когда фактически не сижу за работой, думаю только о Вас. Поэтому я стараюсь вложить все свое время в работу, т.е. борюсь изо всех сил с этой самой тоскою, но она, очевидно, сильнее.

Сегодня пошли часов в 7 вечера с Бибиковым «развлекаться» в Эзбекийский сад, где было гулянье в пользу русских голодающих. Это бесцельное шатание по дорожкам с безобразными киосками, фальшивой Эйфелевской башней, триумфальными арками и прочей мерзостью, оставшейся после бывшего здесь же французского quatorze juillet[1], залепленной разноцветными лампочками и флагами (всеми, кроме русского), созерцание идиотских каирских морд и вообще все, как оно есть, навело какую-то меланхолию самоубийцы. Бибиковы – и те стонали.

---

[1] Четырнадцатое июля (*фр.*); национальный праздник Франции – День взятия Бастилии, начало Великой французской революции.

А если бы тут же, как когда-то прежде, были и Вы, то, может быть, и даже эта идиотская Эйфелевская башня, сколоченная из садовых жердей, показалась очень милой.

В 9 ч[асов] пошли в [«]Космограф[»]. Это – верный утешитель, но ведь и он действует, когда посещаешь его редко. Я хожу теперь в кино один раз, редко два раза в неделю, а то все рисую, т.е. беспощадно принуждаю себя рисовать.

УТРЕННЯЯ ЦЕНЗУРА [*часть текста зачеркнута*]

... работищи проклятой еще уйма! Пишите хоть почаще, пожалуйста. Послезавтра вторник, желанный и жуткий день.

Раскрашивал я сегодня, ввиду воскресного отдыха, персиянку с двумя арабчатами. Выходит замечательно красиво. Вот я и подумал: какой я (не Ванякич, а maître[I]) хороший, редкий и единственный в своем роде инструмент. У меня (извините меня, Людмилица) волшебная рука. Сейчас я в такой поре, что все, к чему бы я ни прикоснулся, выходит красиво (маркизы, византийский всадник, корабль и пр.). Нужно беречь этот инструмент, держать его в хорошем футляре, в холе, а он брошен кое-как под лучи палящего солнца, может треснуть, сломаться и перестать звучать. И сколько грошовых инструментиков имеют полную о них заботу, а моя скрипка заброшена, точно никому не нужная щепка! А она на многое имеет право. Тяжело мне.

Ведь когда я смотрю на свою вещь, сделанную уже некоторое время тому назад, и нахожу ее хорошей, то я смотрю на нее уже не как автор, а как сторонний зритель.

Однако уже второй час. Редкому инструменту надо идти спать; это тоже для инструмента вредно.

Хочу, чтобы и Вы стали хорошим инструментом, и очень хотел бы подарить для него футляр. A demain![II]

17.7. Понедельник, полночь.

[*Зачеркнуто*]

Новостей нет. Целый день рисовали; потом я брал ванну у Венедиктовых, затем порисовал Рамсеса, а теперь строчу это посла-

---

[I] Мэтр (*фр.*).

[II] До завтра! (*фр.*).

ние, ожидая завтра письма от Вас. Неужели не будет?! А если да, то какое?! Меня всегда жуть пробирает.

Сегодня я видел Вас во сне, но сна не опишу, ибо мне от Вас, пожалуй, влетело бы! Сон был самый, если можно так выразиться, салонный, никакого шокинга[1] не было, но зачем у Вас был много говорящий неодушевленный предмет, этого я не понимаю, хотя мне это очень понравилось. Что, очень ясно? А больше ничего не скажу.

Сегодня, когда я рисовал в послеполуденный перегон своего византийского всадника, то я думал о том, что возможна целая теория ритма и гармонии линий, а также, конечно, дальше и красок. Эта теория могла бы быть зафиксирована в стройные законы, как теория музыки и контрапункт. Большинство художников работает чувством и нутром, причем многие стали бы презирать такую зафиксированную теорию, думая, что это была бы сушь и мертвый педантизм. Но это вздор. Сознательность только поднимает искусство. Если бы Римский-Корсаков[183] не знал теории музыки, то выиграл ли бы он от этого? Конечно, нет. С другой стороны, знай человек в совершенстве теорию и законы данного искусства, но не имей Божьего огня, то разве выйдет из него художник? Конечно, нет. Зато талант, помноженный на сознательность, может стать сильнее во много раз.

По-моему, Стеллецкий[184], при большом знании стиля, гармонии и ритма по-настоящему не чувствует. Его вещи все-таки написаны не легкими стихами, а спотыкающимися в ритмическом отношении толчками, хотя и с громадной исторической эрудицией. Вообще же большинство не умеет обращаться со стилями, ища в них какую-то историческую точность. Мы – люди новые, XX в. Для нас стиль есть только повод. Я не могу скопировать точно какую-нибудь византийскую мозаическую композицию, ибо многое меня в ней шокирует, но еще больше – нравится; и имея перед глазами безразлично какой стиль, я должен уловить тот ритм, который мне в этом сыром материале мерещится, размер этого нового стихотворения, его гармонию, и это будет мое личное, хотя и в строгом каноне данного стиля. Просто же срисовывать – глупо. Надо быть талантливым художником, но одновременно и умным.

---

[1] Shocking – возмутительный, ужасный (*англ.*).

А у Судейкина подчас бывают прямо глупые вещи. Вообще глупят много.

Не помню, писал ли я Вам про одну свою беседу с нашим здешним знаменитым Голенищевым[185] у [«]Гроппи[»][186] за мороженым о поэме Пентаура.

Я ему рассказал, что я приступил к этой вещи. Тогда он спросил меня: «Значит, Вы будете оживлять Древний Египет и давать ему плоть и кровь?» «Нет, – ответил я, – я буду строго придерживаться канона». – «Тогда это будет, значит, точная копия?» – «Нет, не копия. Будет строгий канон, но вещь будет абсолютно моя». – «Ну, тогда я ничего не понимаю».

Я не старался объяснить ему дальше, ибо все эти археологи от самых вершин до самых мелких фитюлек вроде нашего «профессора», Лукьяши, ни черта, в сущности, не смыслят.

А вот сегодня, между прочим, я за ужином, после ванны, говорил о теории линий Венедиктову, и он, по-видимому, слушал с интересом и давал сравнения из теории музыки.

Эге! Второй час. С трепетом жду завтрашнего дня. Хоть бы и сегодня увидеть мне Вас во сне! М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

P.S. Как мне пригодились, моя дорогая и милая коллаборатриса, присланные Вами венецианские фотографии! Все время пользуюсь ими. Большущее спасибо!

18/7. Вторник. Полночь.

Получил я сегодня Ваше недлинное письмо, и хоть оно после двухнедельного молчания коротковато, написано чуть-чуть суховато, без обращения, все оно меня, как и всегда, несказанно обрадовало, ибо в нем я усмотрел много хорошего. Вот Вы, милая Людмилица, тоскуете по, очевидно, не хватающей теплой душевности. Боже мой, ведь это же и мой крик душевный! Спасибо Вам, что Вы мне «ничего» не пишете, а я-то уже буду бухать все для отвода души. Но только все, что я бухаю, есть только слабое и в сто раз уменьшенное на бумаге изображение того, что на самом деле.

Получив Ваше (как бы выразиться?) безразличное согласие, чтобы я появился в Берлине, я, не колеблясь ни секунды, присоединил к ряду моих бесповоротных решений то, что я еду не в

Париж, а прямо в Берлин. Навещу Венецию, Флоренцию и, м[ожет] б[ыть], Равенну.

Ваша художественная мама к Вам приедет и поможет своей любимой и драгоценной малютке ходить. Вообще же мы непременно затеем что-нибудь настоящее и большое, при чем Вы будете не безразличной подмастерицей, а официальной сотрудницей с Вашими милыми инициалами Л. Ч. (т.е. любимая человечица).

И, знаете, это не фантазия.

Когда я приеду [в] Берлин, у меня будет на книжке [«Лионского кредита[»][I] фунтов 200–250. Может быть, и больше. Беру меньшее, хотя и мечтаю о большем. Фунтов 75–100 придется послать в Англию. У меня начата корреспонденция по делу моего развода; придется очень себя урезать. Оно, конечно, так и должно, но зато, если дело выгорит, будет liberté[II]! Письмо с моей стороны уже послано; жду первого ответа. Это, во всяком случае, необходимо.

Теперь дальше. Я хочу доставить себе ту необходимую роскошь, о которой я мечтал всю жизнь: иметь возможность сделать значительную вещь не по заказу. Если, по Вашим ценам, я ассигную на это фунтов 75–100, то несколько месяцев проработать можно.

На текущую жизнь найду себе заработок в Берлине. Если находит Мозалевский[187], то я-то, конечно, найду. Жить буду скромно, как и здесь. Вас приглашаю в верные сотрудницы, и будет у нас снова мастерская. Бибикова только не будет.

Кроме того, как я писал Вам, Вы, как старый и опытный египтолог (старше, чем я, в этом деле), должны, конечно, участвовать и в поэме Пентаура. Под одними рисунками будет подпись И. Б., а под другими – Л. Ч. И будет [*в круге*] великая, единая, неделимая

И. Б. [*рисунок весов*] Л. Ч.

Антикханская мастерская.

Будет очень, очень хорошо.

Жалко только, что это Берлин, а не другой какой-нибудь южный город на берегу Лазоревого моря, окруженный скалами. Любите, Людмилица, Вы эти серые городища!

Ну, ничего. Скал не имеется, так я буду той скалой, о которую Вы всегда можете надежно опереться. Вы же будете плющом, тем самым, который Вы мне раз посадили.

[I] См. примеч. на с. 137.

[II] Свобода (*фр.*).

И будетъ

Великая, единая, неделимая
Н.Ф. Л.Ч.
Антикварная Мастерская.

Будетъ очень, очень хорошо.

Жалко только, что это Берлинъ, а не другой какой-нибудь южный городъ на берегу лазореваго моря, окруженный ~~скалами~~. Любите, Людмилица, Вы эти сырыя городища!

Ну, ничего! Скалъ не имѣется, такъ я буду той скалой, о которую Вы всегда можете ~~надежно~~ опереться. Вы-же будете плющемъ, ~~[illegible]~~ тѣмъ самымъ, который Вы ныне разъ посадили.

Ну, размечтался! Только будетъ это это еще не завтра. Все-же я такъ себя утѣшаю: помажу съ полчаса и думаю, что вотъ я уже на ~~полчаса~~ ближе къ Людмилицѣ. Дня черезъ четыре, а, можетъ, и черезъ пять кончимъ деревья. Небо, конечно, уже сдѣлано. Потомъ задній планъ, земля и, наконецъ, самыя дамы. За указанія спасибо. Будетъ ~~разноцвѣтно~~, хотя я не понимаю, которая изъ нихъ въ шляпѣ. Обѣ вѣдь въ шляпахъ. Вѣроятно, та, которая безъ перьевъ. Когда эскизикъ раскрасился, плечо, по моему, не шокируетъ. Большеголовыми-же онѣ кажутся изъ-за грузности головныхъ уборовъ.

Ну, размечтался! Только будет-то это еще не завтра. Все же я так себя утешаю: помажу с полчаса и думаю, что вот я уже на полчаса ближе к Людмилице. Дня через четыре, а может, и через пять кончим деревья. Небо, конечно, уже сделано. Потом задний план, земля и, наконец, самые дамы. За указания спасибо. Будет рассмотрено, хотя я не понимаю, которая из них в шляпе. Обе ведь в шляпах. Вероятно, та, которая без перьев. Когда эскизик раскрасился, плечо, по-моему, не шокирует. Большеголовыми же они кажутся из-за грузности головных уборов.

Мозалевский ничего себе парень, но, как говорят в Одессе, «чтобы да, так нет», и, во всяком случае, не простак (это Вы не раскусили), а хитрюга основательная и не слишком искренний, прикидывается. Мы с Нарбутом знали его хорошо. Нарбут называл его: Мозоль. Конечно, он не дурной человек, и я буду рад его увидеть. Теперь он женат и, вероятно, стал основательнее. Это ведь он напал однажды с поцелуями на Шурочку[188], когда я, спавший уже мертвым сном после выпивки, почуял это каким-то сверхсознанием и явился, как привидение, в прихожую, где велась атака, и, заорав: «Не смей обижать Шурочку», вытурил его из квартиры. На другой день я ничего не помнил, а рассказала мне это Шурочка.

Рисует он скверно и скучно, т.е. рисовать совсем не умеет. Выработал себе какие-то листики и деревца, которые выделывает довольно виртуозно, и за ними прячет свою немощность. Не знаю, м[ожет] б[ыть], теперь он пообучился, но так было раньше. Помещал во время войны карикатуры в «Лукоморье»; убожество.

Мы ведь его приняли раз по недоразумению экспонентом на «Мир искусства», но потом, конечно, перестали.

Боже мой, уже половина второго! Когда же спать? О Вашем желании прыгать козлом и о Когане (это, конечно, не в связи одно с другим) напишу уже завтра. Скоро я пошлю Вам еще чуть-чуть филюза. Вы ведь моя коллаборатриса.

Все время пытаюсь разгадать Ваш сон; кое-что в голове уже мелькает.

Ну, спасибо за письмо. Берегитесь и будьте трусихой, не в искусстве, а в берлинской жизни. Там ведь у вас, поди, уйма всякой самой аморальной и беспардонной шантрапы, которая причисляет себя к «артистической» среде, многим из которых место в

тюрьмах, но которые умеют ловко болтать на «смелые» жизненные темы или корчить из себя рыцарей без страха и упрека. Ради Бога, подальше от них! Вы ведь далеко не всегда умеете разбираться в людях, а потому осторожность – прежде всего! Это верно, Людмилица. Ну, до свидания, дорогая малютка. Иду спать.

19.7. Среда.

Деловая часть

1) Прилагаю Вам письмо Когану[189]. Прочтите его. Пожалуйста, выцыганьте у него все мои вещи, которые не в работе. Советую прийти к нему раньше, «так», по какому-нибудь своему делу, и, не вспугивая его, узнать, что у него там есть. Хорошо, если бы Вы были не в единственном числе, а со свидетелем. Действуйте самым любезным и мирным образом.

А потом: «Ах, да, А[лександр] Э[дуардович], я вот получила от И[вана] Я[ковлевича] для Вас записку. Это – настойчивое желание И[вана] Я[ковлевича]. Я тут ни при чем» и т.д. и т.д.

Напишите на расписке то, что Вы фактически заберете, а на те вещи, которые оказались бы в работе, расписки до момента фактического получения не давайте. Если же он что-нибудь (жулик паршивый) тайно продал, то я его, когда приеду, притяну к ответственности.

2) Сегодня я был в германском консульстве, где узнавал, что надо сделать, чтобы попасть в нач[але] октября в Берлин. Немец сказал мне, что я должен написать просьбу в Polizeipräsidium, Ausländer Abteilung, Berlin C[1], где надо мотивировать, зачем я еду и на какой срок. Ответы ясны: зачем? – видеть Людмилицу; срок: пока Людмилица как-нибудь меня очень не огорчит, а т[ак] к[ак] это может не быть, то, значит, пока будет хорошо в Берлине. Во всяком случае я жду сейчас Бурксера и мы составим такую бумажку. Я спросил немца, нужно ли послать эту просьбу самолично, заказным письмом, или же можно переслать друзьям в Берлин, чтобы те хлопотали. Поэтому посылаю Вам, а Вы, дорогая, уже похлопочите. Попросите у кого-нибудь протекции; м[ожет] б[ыть], Е[вгений] А[лександрович] Ляцкий[190] может помочь. К Когану как-то не хочется после Ваших сообщений обращаться.

---

[1] Управление полиции, Иностранный отдел, Берлин C (*нем.*).

После уже, когда я вернулся после консульства в мастерскую, О[льга] В[ладимировна] сказала, что там все напутали, что требуются-де какие-то опросные листы. Пойду туда еще раз и, если надо, пришлю и листы, а Вы пока пустите в ход ту бумагу, которую я посылаю. Я пишу, что я имею приглашение от издательских фирм, что еду наблюдать за изданием своих произведений и срок пребывания я (пока) назначаю, чтобы не запугивать немцев, в 6 месяцев. Потом ведь можно и продлить.

А не хотите ли получить на всякий случай право на въезд в Египет? Ей-богу же, это никого ни к чему не обязывает.

Бурксер Вам очень кланяется.

Конец деловой части

Пора кончать, ибо это будет уже не письмо, а тюк. О козле. Прыгать можно, но только на хорошей лужайке, окруженной надежной изгородью. Иногда молодые козочки так увлекаются прыжками в опасных местах, что, промахнувшись, падают в пропасть. Так что прыгать надо осторожно, но если без аллегорий, то прыгайте на здоровье, но только не пейте после прыжков напитков, предложенных незнакомыми козлами (ведь речь идет о козлах). Вот, как раз, я зачеркнул тут целые страницы. Это – мне рассказывали здесь, как разные милые, «корректные» молодые люди незаметно подливают барышням разные капли. Я зачеркнул, чтобы не сердить Вас, но я и сам не подозревал, как часто это проделывают разные флиртующие и танцующие франты. Сколько на свете мерзостей!

Я внял Вам. Своих маркиз я удлиню, благо что еще не поздно. Сидит сейчас у меня Панков. Бедняга совсем без дел. Он просит Вам поклониться и передать, что Вы что-то позабыли. Очевидно, рисунок.

Ваш сон еще не разгадал, хотя, несомненно, раз вырезанный квадрат остался у меня, то нас связывают незримые силы. Где бы Вы ни были, и я там буду. Квадрат: четыре стороны света, север, юг, запад, восток. Это пока предварительная разгадка. Пишите, пишите, пишите. Да хранит Вас Бог. М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение]. Ваш И. Б.

P.S. С Панковым мы разговорились глубоко теоретически... о любви и о счастливых браках. Представьте себе! Он находит, что часто женщины мало ценят настоящее глубокое чувство и выби-

рают какого-нибудь совершенно недостойного молодца, получающего даром тот цветок, которого другой, настоящий человек, добивался годами. Совершенно ведь моя мысль. Ай да Панков! Я дал ему даже хлеба с маслом и чаю.

29

20 июля 1922

20 / VII – 1922. Каир.

Многоуважаемый Александр Эдуардович,

Так как для разных моих целей я определенно желаю, чтобы все мои работы находились в одном избранном мною месте, то я очень прошу Вас выдать все имеющиеся у Вас мои работы моей помощнице Л.Е. Чириковой, причем она, для порядка, выдаст Вам расписку в получении ею таких-то и таких вещей.

Вероятно, сохранился каталог вещей, бывших на Лейпцигской выставке. Если у Вас таковового не окажется, то я наведу справки и найду. Я бы не хотел, чтобы что-либо пропало, тем более что продано мною ничего не было.

Осенью я буду сам в Берлине, но до этого, тем не менее, прошу Вас исполнить изложенную в этом письме мою просьбу, как будто я просил бы Вас своею собственной персоной.

Искренне уважающий Вас

И. Билибин.

30

23–25 июля 1922

Каир, 1922 год.

23 июля, воскресенье. Полночь.

Дорогая Людмилица,

Вчера вечером я был в храме и слушал музыку небесных сфер...

Несколько времени тому назад я познакомился здесь с одним милым швейцарским доктором, а имя ему Форкар. Еще раньше я познакомился с его приятелем, голландским доктором Лоцци, но только он уехал на лето в Голландию. Оба эти доктора, помимо своей медицины, страстные натуралисты и часто предпринимают поездки в автомобиле на ночь с субботы на воскресенье и на вос-

кресные утра в пустыню. Теперь же вместо отсутствующего Лоцци поехал я. Я взял с собою краски и фотографию, а Форкар захватил целую гору вещей; тут были и палатка, и надуваемые воздухом матрацы, и ружье, и ящик с целым рестораном провизии, вообще уйма вещей.

Он – грубовато сложенный мужчина с простым, но открытым выражением лица, любит многое, что и я, например, этнографию, много молчит, о еде, как Перец, не говорит вовсе, не сплетничает, вообще какой-то северянин с виду. Возраст такой же юношеский, как и мой. Взял он еще с собой итальянчика, слугу-механика, хотя прекрасно правит своим автомобилем сам.

Есть старая отменная караванная дорога из Каира в Суэц через Гелиополис. По ней мы и покатили. Выехали в субботу в 6 ч[асов] вечера. Вдоль дороги, на холмах пустыни, приблизительно на расстоянии 15-ти километров одна от другой стоят старинные высокие восьмигранные каменные башни. Напоминают генуэзские. В старину когда по этой дороге ходили караваны, то они ориентировались по этим башням, т[ак] к[ак] от одной елееле видна вдали следующая. Солнце только что село, когда мы докатили до третьей башни, т.е. проехали километров сорок в глубину пустыни. Башня стоит в полуверсте от дороги, а у самой дороги – стены некогда бывшего здесь караван-сарая, т.е. постоялого двора. Тут мы и остановились. Доктор с итальянцем стали разбивать палатку, а я пошел к башне, которая высится на хребте невысокой гряды, увенчанной темными каменными глыбами. Великолепный вид на пустынные дали открывается оттуда, но главное, что поражает после крикливого Каира, это – молчание, тишина. Когда стемнело, я пошел к нашей стоянке. Палатка была готова. Мы надули мехами наши матрацы, получается великолепно. Зажгли фонарищи – глаза у автомобиля и сели ужинать. Поели основательно, побеседовали и выпили чаю. Где-то вдали лаяли шакалы и изредка попискивала какая-то ночная птичка.

Потом мы потушили огни, и тут я увидел звезды. Я давно не видал одного неба, только неба и больше ничего, и Боже, что это был за восторг. Внизу ничего нет, какая-то пустота и чернота на месте пустыни, а наверху горели бесчисленные светочи и такие яркие и крупные, что казалось, они как-то обступили нас со всех сторон, и будто раньше я никогда их такими не видел.

И при этом тишина. Храм.

Кажется, Гераклит[191] (боюсь, что не он) говорил о музыке небесных сфер, о той неосязаемой небесной мелодии, которая порождается вечным движением небесных светил (панта реи), т.е. все движется.

И начинает казаться, что времени нет. Кажется, надо сделать еще маленькое усилие воли и фантазии, и начнешь верить, что там, за темнотою пустыни, стоит людный и большой Мемфис[192], что сейчас там царствует XIX династия[193] и что это существует и еще живо.

Потом мы пошли в палатку. Засыпая, я видел в открытый треугольник входа в палатку все те же чудные звезды. Ночь о звездах... Я буду ее долго помнить. Ночь с Богом, а не с людьми.

Проснулись мы от острого холодка. Было около четырех часов утра. Было еще темно. Небо было какое-то сероватое и все в тучах. Храма больше не было. Доктор взял ружье и пошел куда-то в темноту караулить зверей, а я стал дожидаться света, чтобы сделать набросок с башни. Когда настало время, я отправился и нечто намазал. Пустыня при восходе солнца тоже великолепна, но только все же самое большое впечатление на меня оставили звезды.

Потом мы пили чай, совершили маленькую променаду[I] по пустыне, а в 10 ч[асов] утра я уже мылся и переодевался у себя в мастерской, а затем пошел в музей[194].

Обедал в клубе. Рядом со мною сидел «музыкант» (пивная бочка) Готлиб[195] и один молодой русский врач. Я рассказывал им, где я был, а они мне на это сообщили: «Заехали бы по дороге в какой-нибудь дансинг и захватили бы с собой двух женщин, и было бы куда веселее!»

Потом днем я рассказал об этой же ночи Каттауи и его другу архитектору Гавази, и они сказали: «Mais il fallait prendre des femmes»[II].

Зато Бибиков, с которым я сидел вечером в [«]Космографе[»], говорил, что он очень хотел бы прокатиться также в пустыню и

[I] От promenade – прогулка (*фр.*).

[II] Но надо было взять женщин (*фр.*).

послушать тишину. Бедный Бибиков; ему будет очень одиноко, когда мастерская осенью прекратится.

Хотел еще о многом написать, но уже час ночи. Иду спать. Да хранят Вас яркие светила! М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

24.7, понедельник. Полночь.

Можно, пожалуй, простить человеку грубость, эгоизм, вообще многое, но нельзя простить бездарности, особенно если она смешана с глупостью.

Третьего дня утром, читая за чаем одну книгу, я даже впал в острое уныние и какое-то безнадежное состояние. После я проверил свое состояние, спросив у Бибикова, каково его мнение, т[ак] к[ак] и он получил с посвящением, как и я, такой же шедевр. Бибиков сказал: «А я не думал, что он такой дурак».

Не догадываетесь?

Это зеленый Юрицын[196] отпечатал (и, очевидно, на свой счет) в Берлине книжку своих произведений, рассказ и несколько драматических вещей, и презентовал нам. Не покупайте, но если можете достать прочесть, то прочтите. Все же ведь наш каирец, а Вы достаточно попили нильской водицы.

Рассказ и прочее – все из совдеповской жизни. Все не от жизни, а от какого-то фельетона из петербургского листка, ходульно, крикливо, напыщенно, пошло и, главное, удручающе бездарно. А ведь он мнит себя почти гением.

«Я все пишу и пишу, а из головы моей так и прет!»

Вот и выперло. И, Боже мой, что выперло!

Стиль Брешко-Брешковского[197], базарная имитация Метерлинка, а в общем Юрицын.

Человек он милый и, вероятно, неплохой, но в дураки-то я его давно уже произвел. И ведь жалко его; на издание этой книжонки он, вероятно, потратил из последних денег, а теперь будет с истерикой вопить, что публика бездарна, что она не ценит искусства, что ей нужен балаган и пр. и пр.

А теперь он кончает свой кукольный театр, пьесы для которого он написал сам. Я не читал, но знаю, что они Юрицынские. Боюсь, что прогорит окончательно, хотя кто его знает. Ведь ес-

ли Юрицын пошл и бездарен в творчестве, то публика-то ведь еще ниже. Ведь нравится же Вербицкая[198].

И вот, Людмилица, Вам еще поучение.

Не выслушивайте людей о том, что они собираются сделать, а посмотрите, что они на самом деле уже сделали.

Ведь этих слововыпирателей много, особенно у нас, у русских. Как пойдут шпарить про разные там категорические императивы и вообще про всякие такие жупелы, так разные маленькие девочки развесят уши и слушают.

Ну, так-то.

Людмилица, как Вы были бы сейчас необходимы в нашей мастерской. Ужасно Вас не хватает. Не знаю, как я справлюсь. Я пока держусь и рисую от 10-ти до 12-ти ночи Рамсеса, но, после целого рабочего дня, после всей этой жары, духоты и ненавистного пота, это так трудно. Но смотрите же, давайте делать основательную фундаментальную вещь. Вы еще птенчик, и если будете упражняться в полетах, при помощи довольно старой птицы, то Вам же лучше будет. Выше после летать будете! Если бы у меня в Ваши годы был такой маэстро, какой есть (а не был) у Вас, то я теперь летал бы раз в пять выше.

Сейчас, пожалуй, искать мастерскую в Берлине еще рановато, но потом я пришлю Вам денег и попрошу Вас поискать. Только Мозоля я в помощники брать не буду. Вы ему этого, конечно, не говорите; он обидится. Только изведет он, если его взять, да и умеет он мало.

Вас мне нужно во что бы то ни стало. У Вас есть настоящее живучее зернышко, а у Ольги Владимировны нет его (не говорите ее сестре). Только не философствуйте слишком. Любите искусство очень и очень просто и настолько же серьезно. Преодолевайте с неослабным терпением величайшие трудности; не падайте духом; помните, что путь очень и очень тяжел и долог; также помните, что искусство очень ревниво, но зато знайте, что и награда велика и ни с чем не сравнима.

Ну-с, скоро час, следовательно – бай-бай. Завтра – вторник, день получения писем. Будет ли что-нибудь?!

Ох, как еще нескоро увижу мою славную помощницу Людмилицу и как я о ней стосковался!

Смотрел я на этого самого Готлиба. Артист тоже! По вечерам играет в дансинге очень определенной окраски. Ну что же, это – его служба. Это – работа; но только дует он ежедневно, по его словам, кружек по 15-ти – 20-ти пива; Панков же говорит, что это неправда и что пьет он гораздо больше. Было у него какое-то сбережение. Он же сам говорил мне, что он начал его тратить, ибо жалованья не хватает из-за пива. Говорит: тоска. Целый день дрыхнет; раздуло его, как бочонок.

Читает в клубе вслух нежные письма от своей жены, собирающейся или, во всяком случае, порывающейся к нему приехать. Он говорит, что очень любит ее, и сам же мне рассказывает, что раза два-три в неделю ходит в известные дома к известным женщинам. Говорит, что он ищет «уюта». Хорош дядя!

Я ему сказал вчера, что он уже почти труп, а он в ответ смеется.

Лукьяш все что-то язвит, но пока мы еще держимся и не поссорились, но он может довести отношения до разрыва. Я и не понимаю, что ему нужно, но всегда со своим тоненьким тенорковым смешком он отпускает колкости. Я, конечно, отвечаю тем же.

Вот кто мне все больше нравится, так это Бибиков. Мы произвели его в полковники. Ну, ровно час. Поскучайте по мне немножко! Джири-бирбири-бумсочка! М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

25.7. 9.30 вечера.

Я – сердитый и злой. На Вас злюсь. Сейчас придет Бибиков. Он будет компоновать свою обложку для «Жар-птицы», а я – рисовать Рамсеса; а пока я побранюсь с Вами.

Вот Бибиков, у которого жена уехала три дня тому назад на две недели в Александрию, чувствует себя уже, по-видимому, мучеником одиночества. Ольга Влад[имировна] тоже говорит про него: бедный Бибиков! Остался один!

А Бибикову так и полагается; это – его естественное состояние. Вы тоже того же мнения.

Вместо письма мне кто-то прислал из Берлина две книги по индийской части. Спасибо пославшему, ибо я как раз ныл, что за чаем читать нечего; все эти Масперо[199] надоели, «Современные записки» отчитал, начал читать «Salambo» Флобера[200], но только длинно уж очень, хотя я еще не вчитался. Это Вы послали? Но знаете,

если бы вместо всех книг об Индии Вы прислали бы мне одну маленькую открытку, мне было бы в миллион раз приятнее. Когда я увидел в глубине сада почтальона, я запрыгал от радости, но, когда он протянул мне книги, я в ярости хотел швырнуть их в угол.

Иногда мне кажется, что Вы умышленно продолжаете меня «воспитывать», показывая, что я такой же Ваш просто знакомый, как Бурксер или Бондырев.

Ведь поймите, Людмилица, что, когда Вы уехали, Вы опустошили всю мою душу. Не смотрите, что здесь на бумажке буквы начирканы, а представьте, что я сам здесь стою, живой, как я есмь, и я пытаюсь, я не знаю чем, прошибить Вашу жестокую бесчувственность. Ну хорошо, Вам трудно писать раз в неделю, пишите, когда некогда, открытку. И на открытку нет времени три минуты? Что за невероятный вздор!

Когда же после двухнедельного перерыва Вы оказываете милость и решаетесь послать мне письмо, то как раз тут появляются гости, письмо пишется наспех, но все же через неделю не посылается ни строчки!

Ведь я живу только от вторника до вторника! Жарища, скучища, усталость. Я работаю как вол. Единственная мечта – вырваться отсюда. Ваши строчки дают и бодрость и силу продолжать работу; так неужели же я не заслужил, если Вашему Величеству нет времени писать писем, чтобы Вы подарили мне раз в неделю минуты три Вашего драгоценного времени?!!!

Стыдно Вам, Людмилица! Очень и очень нехорошо! Ну, Бибиков пришел, а потому кончаю препирательства... Вот я и ругнул Вас. Так Вам и нужно. Нет, право же, нельзя же быть такой жестокой, как Вы. Ведь я так мало прошу.

Ваш И. Б.

П.С. [*зачеркнут*] Может быть, я скажу Вам сейчас очень приятную вещь. Следующее письмо я напишу Вам только после получения письма от Вас.

Если же еще не будет писем, то начну Вас бомбардировать телеграммами. Значит, Ваша пословица – «С глаз долой, из сердца вон».

31

26–28 июля 1922

26.7. Среда, 9 час[ов] вечера.

Милая малютка, Вы, конечно, виновны, но заслуживаете снисхождения. Сегодня утром О[льга] В[ладимировна], придя на работу, принесла мне на прочтение полученное от Вас письмо. Ну, слава Богу. Все же хоть и не мне письмо, но дружественной и союзной державе. Даже сейчас это письмо осталось у меня на столе.

Вы пишете, чтобы я снимал в арабском музее. Если это Ваша воля, то будет исполнено, но только все это замедляет минуту моей свободы и день свидания с Вами.

Я же не снимал и по другой причине, по той, по которой я вообще сейчас ничего не снимаю. Меня ничто не интересует. То, что я делаю, я делаю, чтобы вырваться отсюда; вырваться отсюда я хочу, чтобы увидеть Вас, а увидеть Вас я хочу, потому что это – моя единственная мечта и единственная цель. Рамсеса я делаю, чтобы показать Вам, потому что мне кажется, что это будет Вам интересно, а если Вам неинтересно, то я его самым индифферентным образом брошу и даже могу уничтожить.

Что будет дальше, не знаю. В конце концов всегда бывает этот самый конец. Если я и мечтаю об искусстве, то опять-таки только «через Вас». Будет мастерская; задумаем великолепную штуку, а Людмилица будет участвовать. О, тогда заработаем! Наученные опытом Касдаглиным, Пезасиным и Бенакиевым, мы такую вещь разворотим, что небу будет жарко!

И наконец, так-таки я и буду снимать в арабском музее! Я, значит, задерживаюсь на лишние дни, а там разные Луна-парки с «лешими», водяными, домовыми и вообще всякой чертовщиной!

Людмилица! Уговор! До моего приезда никому не оказывать предпочтения! А когда я приеду, тогда и устраивайте «состязание певцов», но только и старый Мейстер[1] должен участвовать. Не забудьте этого пункта и напишите мне. Тогда я буду с особым рвением готовиться к турниру, хотя я и так готовлюсь. Этому Вашему лешему Вы не сообщайте очень простого средства против бороды, которое я знаю: бритва. Чикс и готово! Я готов на эту

[1] Meister – учитель, мэтр (*нем.*).

жертву, только, конечно, не здесь. Во-первых, здесь Вас нет, а во-вторых, если бы я обрился, то Мидхат не дал бы мне больше ни пиастра, думая, что меня подменили.

Не пейте много пива и разных других напитков. От пива толстеют, а потом вообще в голову начинают лезть разные мысли, которые не допускаются, когда человек трезв. Работайте побольше. Ведь я и спрошу у Вас: а ну-ка, подмастерье, покажи, что ты сделал?

А Дроздов, значит, еще дышит где-то. Это меня очень пугает. Ведь бывает же возвратный тиф.

Сегодня мне принесли обратную расписку от моего письма к Марии Яковлевне. Значит, она его получила и, должно быть, скоро будет ответ. Мне стало ужасно грустно, когда мне принесли эту расписку. Хотелось бы устроить дела как-то так, чтобы после взаимного освобождения могли бы возникнуть хорошие и теплые отношения. Да и вообще так было бы хорошо не иметь долгов и смотреть на весь мир с чистой совестью. Может быть, тогда и счастье улыбнется (это уже почти мистика – возмездие), а я бы со своей стороны отдал бы за это счастье все, до жизни включительно, не как эгоистический юнец, а человек зрелый. Боюсь только тона ожидаемого мною письма от М[арии] Я[ковлевны]. Я написал очень деловито и очень корректно, т[ак] к[ак] разводить сентименты было бы, для начала, фальшью. Хотелось, чтобы и с ее стороны тон был выдержан правильно. Ну, увидим. Меня очень это волнует.

Ну, довольно о мрачных вещах.

Я рад, что мне удалось рассмешить Вас рассказом о Сальше и Пефе[201]. [*Сбоку сделан отпечаток пальца с надписью:* «Это я».]

Раньше, чем писать о чем-либо дальше, умоляю Вас относиться к моим письмам не как к бумажкам, а помнить, что это – я, я сам, живой человек, такой же живой, как все эти Ваши лешие и пр. В доказательство посылаю Вам отпечаток с моего указательного пальца, совершенно реального. Я напоминаю Вам, что я не письмо, а живой человек. Цвет отпечатка зеленый, эсперанс[1], т.е. dum spiro – spero!

Вот если бы был уже осуществлен всеземной телефон с матовым стеклом рядом с аппаратом, чтобы можно было видеть того, с кем говоришь! Это было бы почти свидание. Пока же его нет, то, милая, дорогая Людмилица, похлопочите о моей визе.

---

[1] Espérance – надежда (*фр.*).

Ведь ей-богу же, будем работать на совесть. Умножим свои силы и сделаем что-нибудь для Русского музея. Я не шучу, а смотрю на это как на наш долг. Будем работать все под своими именами; Вы будете первой скрипкой в оркестре, а я буду дирижировать. Ведь, право же, я могу хорошо дирижировать. Подумайте: наше дело, наш цех, наше искусство! Не сходите только с нашей дороги, а по нескольким дорогам идти сразу нельзя.

И, наконец, хоть раз напишите мне, что Вы будете все-таки хоть чуточку рады меня увидеть и вообще какую-нибудь фразу вроде той, из «сверчка на печи». Вы и не знаете, какую Вы мне дикую радость доставили той фразой!

Милая, дорогая Людмилица!!!

Ну, пойду поем сардинок, винограду и попью чаю, а потом докончу эти страницы. Сегодня вряд ли удастся рисовать Рамсеса. Если книжки посланы по Вашему приказу, то спасибо Вам. Я начал читать книгу Бонзельса[202] «По Индии». Мне в ней многое нравится. Нравится то, что он так любит природу, и то, что он формулирует очень многое в обработанной литературной форме, именно то, о чем я сам думал, так сказать, «в сырье».

Море он хорошо определяет. Мне вспомнилась моя батилиманская слуховая галлюцинация, о которой я Вам, конечно, рассказывал. Это когда я, после ночи бражничанья, впал (у С.Н. Михайловского[203], у Паратино) в странный полусон, полубодрствование и услышал голос тенора, голос Моря. Тот голос пел тоже бесстрастно, но божественно хорошо, и как я тогда говорил, так запел бы какой-нибудь врубелевский[204] Ангел.

В этой книге много верных мест.

Однако же надо есть, хоть совершенно не хочется. Все окна и двери – настежь, а движения воздуха – никакого. Ночь, но все же стоит эта мокрая, душная, стопудовая жара. Руки и лоб покрыты испариной, а мозг – из свинца.

Поел и выдул четыре чашки чаю. Почитал книгу. Хорошо бы попасть в Индию. Напишите мне такое письмо: еду в Египет, а оттуда поедем в Индию. Говорят, зимой здесь ожидается необычайный съезд богачей-американцев. Вот устроили бы выставку, заработали бы деньжат и покатили бы.

Ну а так как Вы вряд ли напишете такое письмо, то тогда я уже приеду в Берлин вместо Индии. Итак, хлопочите, пожалуйста, о моей визе.

Новостей у нас нет. С Галялем я порвал начисто. На улице ни «ее»[205], ни же ейной дочки не встречал пока. Юрий иногда заходит. Вчера, после почти двухнедельного отсутствия, к концу нашей работы, в момент, когда Бибиков высоким гнусом выводил какой-то романс, впорхнула Сальша, очень оживленная и веселая.

«Что с Вами случилось, – спросил я ее, – мы уже думали, что Вы или умерли, или в кого-нибудь влюбились. Узнать о первом нам было невозможно, потому что к Вам нельзя ходить, а узнавать второе – это indiscret[I]».

Она стала хохотать и заявила, что она вполне жива, что мы и видели, а от второго она vaccinée pour toujours, т.е. получила прививку навсегда. Я заметил ей, что прививки часто действуют только на известный срок. После этого мы решили идти в пятницу в [«]Космограф[»], три одиноких человека, хотя наш «полковник» одинок только на две недели.

Я провожал ее до [«]Connaught House'а[»], куда она шла к кому-то в гости. Она спрашивала, как поживает notre petite[II]. Я сказал, что, по-видимому, неплохо, заводит новых друзей, а старых начинает забывать. Дальше я сообщил ей, что я изменил Франции и еду в Берлин. Она начала вопить, что это ужасно. Я заметил ей, что я туда еду из-за людей, которых я хочу видеть à tout prix[III], а не из-за Берлина, куда я, конечно, не поехал бы, если бы был один, а теперь еду туда с громадным удовольствием. Сальша снова завопила: но Вы будете в Париже, и Вы и Loudmilla[IV]! Дай Бог исполниться ее пророчеству!

Вкладываю Вам два снимочка с раскрашенных маркизиных эскизов. Хотел было не вкладывать: так непохоже и отвратительно вышли снимки. Темные места вышли светлыми, и наоборот. Отношения совсем не те. Легкая желтизна по краям очень нежных белых облаков вышла грубыми линиями и т.д. Вообще же завтра или послезавтра мы кончаем весь пейзаж. Остается балюстрада, трава и самые маркизы.

[I] Нескромно (*фр.*).
[II] Наша малышка (*фр.*).
[III] Любой ценой (*фр.*).
[IV] Людмила (*фр.*).

Жду с нетерпением Ваших работ.

То, что Вы написали про дождик, барабанивший Вам: дрянь, дрянь, дрянь, то это он правильно барабанил. Дрянь, дрянь, что забываете друзей. Старый друг лучше новых двух!

Ну, Людмилочка, милая, хорошая, единственная, неоцененная [неоценимая?] и, главное, любимая, всего, всего хорошего. Все, что Вам нужно, привезу, сниму и, вообще, сделаю. Да будет над Вами Аллах! М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение]. Ваш И. Б.

П.С. Привет Пинегину[206] и Мозолю.

27.7.

Здравствуйте, с добрым утром! Специально распечатал уже запечатанный конверт, чтобы вычеркнуть одну последнюю строчку.

P.P.S. Почему это Вы, посмотрев на мою фотографию, снова вспомнили выпивку? Во-первых, она снята была еще до выпивки, вскоре после Вашего отъезда, во-вторых, трезвость – это я (это Вы знаете сами) и, в-третьих, выпиваете Вы, а не я, и это очень нехорошо, что Вы полюбили напитки. Я же просто устал, устал так, что еле держусь на ногах. Ведь я же сейчас не щажу себя. Вот и все. Не смейте больше и заикаться о моих каких-то выпивках!

28.7. Полночь. Пятница.

Видите, моя милая Людмилица, как я рано начинаю это «следующее» письмо. Предыдущее только сегодня отчалило в Европу. Будет день, и я так же отчалю.

А я все-таки буду Вам посылать телеграммы с оплаченным ответом. Ведь иногда хочется сообщиться с Вами сейчас, сегодня, а не через двадцать дней. Хотелось бы только знать Ваш телеграфный адрес. Не бойтесь и напишите мне его. Не забудьте! Его мне надо знать во всяком случае; вдруг явится неожиданная необходимость. Поверьте, что я злоупотреблять им не буду. Сейчас бы я и не мог; у меня текущий самый отчаянный финансовый кризис – что, конечно, не имеет никакого отношения к «заграничному» фонду. Надеюсь, что дня через три все урегулируется, т[ак] что когда я буду кончать послание данной недели, то все наладится.

Сегодня я опять грущу, смутно о Вас тревожусь, боюсь, что Вы вдруг забудете считать до миллиона, и жить как-то ужасно невесело.

Одно и то же, одно и то же, одно и то же...

Сегодня днем, когда я вырисовывал, как автомат, сбрую на коне моего нового византийского всадника, на улице заиграла уличная шарманка. Заиграла она какой-то простой мотивчик, но этого было достаточно, чтобы сбить меня с моего автоматического равновесия. Ведь я сейчас вроде человека, идущего в воздухе по канату. Канат этот – то Рамсес, то византийский всадник, то маркизы. На минуту образуется какое-то равновесие, и идешь; но вот малейшее дуновение извне, хотя бы дребезжащие звуки шарманки, и равновесие теряется.

Что за человек Ваш новый знакомый, которого Вы называете «лешим»? То, что Вы пишете о нем Ольге Владимировне, т.е. о том, что Вы не можете в него влюбиться, в это я, пожалуй, верю. Вы, по духу человека из «Мира искусства», не можете быть поставлены в пару, скажем, с Ломакиным. Этот Ваш новый знакомый местами неплохо описывает природу, но любит он также и разные апашистые трущобы, а я боюсь жизненной философии бытописателей этих мест, как бы они ни старались показывать человеческую сторону этих мрачных клоак. Эта философия бывает порою слишком упрощенной и довольно-таки опасной.

Не сердитесь на меня. Вы скажете, что я опять ревную. Да и что значила бы моя бессильная ревность, когда Вы в Берлине, а я в Африке.

Но если Вы не забыли считать до миллиона, то я рад, что наконец Вы окунулись в Ваш любимый «город» с его шумом, треском и людьми. Веселитесь и развлекайтесь себе на здоровье, но только ни в каком случае не теряйте равновесия.

Помните, что Лермонтов умер 28 лет от роду[207], а следовательно, он принадлежал любимой Вами «молодежи». Но ведь к парусу он относится, порицая его стремления.

> А он, мятежный, ищет бури,
> Как будто в буре есть покой[208].

Он знает, хотя он и молод, что в буре нет покоя, и если бы он мог, он остановил бы этот парус. Если корабль раньше времени, раньше выхода в широкий океан, попадет в бурю, которая поломает ему снасти, то с поломанными снастями ему нельзя плыть дальше. Буря – тормоз и несчастье.

Я теперь пишу, вот, и все боюсь попасть в Юрицынский стиль. Единственно, что меня утешает, это то, что Вы знаете, что

пишу я все, что взбредет в голову. Напечатаны эти гениальные мысли не будут.

Почитываю книгу Бонзельса «По Индии», которую мне прислал какой-то берлинский благодетель. Автор – умный человек. Конечно, местами мудрит, и все же до «Пана»[209] ему далеко, а книга такая же пейзажная, как и «Пан». Ведь, конечно, не в Индии дело, как в «Пане» не в Норвегии. Ведь что изображено – это такой же внешний сюжет, внешняя тема или выставочное название вещи, как и у нас в живописи. Но в том-то и дело, что в «Пане» живопись неизмеримо выше, а у Бонзельса хоть и талантливо, но местами пестро и красочно. Все же места есть очень и очень верные, и я хотел бы, чтобы Вы обратили на них свое внимание. Это меня потому радует, что другой человек говорит как раз то, что я говаривал Вам не раз. Вот, например: «...ибо нет в мире соприкосновения и близости, которые могли бы доставить человеку такое же счастье, как полное общение с природой, и лишь в нем наиболее исчерпывающе выявляется наше ощущение жизни. Одновременно с этим пробудились во мне тогда и забытые воспоминания о суете и произволе европейской жизни, которая охватывает все, что является целью человека, но не даст счастья. СЧАСТЬЕ НЕМЫСЛИМО БЕЗ ПОКОЯ, нужного для самоуглубления, – самоопьянение ведет к обнищанию духа».

Глубоко верно! Это именно глубочайшее порицание того толкания в какую-то «жизнь», стоящую особняком от истинной, настоящей и богато заполненной жизни, того толкания в бурю или в угар, в чем я так обвиняю одну известную Вам Вашу менторшу. Ясное, тихое утро, а не «по вечерам над ресторанами...».

Час ночи. Халлас[1]. Да хранит Вас Светлый Бог.

32

30 июля – 1 августа 1922

30.7. Воскресенье. Полночь.

Только что вернулся от Лукьяновых. Боже мой, какие неприятные характеры. Шпильки без конца. В общем я ужасно не люблю мужчин с писклявыми теноровыми голосами.

---

[1] Конец (*араб.*).

Когда же Лукьянова, говоря на бесцельную и нудную тему о том, кто будет спасать Россию (она, очевидно, с дворянами-монархистами), сказала: «Всякая там гниль вроде Ваших инженеришек Венедиктовых...», я встал и стал прощаться, спросив ее, достаточно ли она знает моего знакомого, «инженеришку» Венедиктова, чтобы так называть его. Она сказала: «Поверьте, нам все известно». Что – все, не знаю. Расстались вежливо, но сразу. Дело близится к войне.

Во всяком случае, каков бы Венедиктов ни был, но он мой знакомый, и Лукьяновы это знают. Хамство это.

В афтернун я ездил один на пирамиды. Хорошо там. Величественно и вечно. Надо же мне Вам привезти хороший пирамидный этюд.

В траме читал Рабиндраната[210] «Дом и мир». Прочел, правда, еще немного, но не могу сказать, чтобы я сразу пришел в восторг. Мне кажется, что оно немного элементарно. Может быть, рано еще судить. Перевод очень плохой.

Сейчас снова строчу, разорвав перед этим целых семь исписанных страниц письма. Все – предостережения, хотя и верные, но скучно изложенные. Это уж моя тяжкая и неизлечимая болезнь; вечные и вечные, ни на минуту не прекращающиеся думы о Вас. Относитесь, как и ко всякому больному, терпеливо, но знайте, что и в бреду произносятся иногда вещие слова.

Будьте непрерывно духовно трезвой и ясной. Думайте о грядущем и не кидайтесь в мимолетное. Не забывайте, что Вы – «тургеневская девушка». Это – прекрасная категория. Не поддавайтесь облегченной эмигрантской психике и речам ее проповедников.

Если бы слепой и несправедливый рок натолкнул Вас на человека не из Вашей категории, то это было бы Вашей духовной смертью. Сгоряча не почувствовали бы, а потом пошла бы пытка. Я ведь это знаю и не желаю этого тем, кому хочу добра.

Ну, ничего. Зимою будем вместе работать, и я опять буду садовником Вашего художественного деревца. Подождите, какие на нем будут плоды! Только имейте терпение.

Мы все, не павшие морально, люди дореволюционной русской культуры, каждый по своей прямой специальности, должны собраться в духовные крепости-хранилища, чтобы сохранить то, что мы вынесли в себе из нашей страны. Те же старшие, которые

могут учить и направлять других, должны передавать свои заветы своим избранным.

Я не знаю, может быть, я и не прав, но мне кажется, что там, в этих крепостях, надо держать себя несколько утрированно по-рыцарски. Это – противовес культуре одесского порта и одесским портовым песням из разных притонов. Не нужно забывать той божественной музыки, которую сыграл в одну проникновенную и высокую ночь старик-немец Лемм Лаврецкому[211].

Помните это дивное место из «Дворянского гнезда»? И вот эту-то музыку и надо сберечь и передать более счастливым нашим наследникам, если счастье вообще вернется в Россию.

Веселитесь и развлекайтесь, но так, чтобы слишком шумными и быстрыми движениями не загасить своего огонька, судьба которого всецело зависит от Вас. А раз огонек загаснет, то снова зажечь его Вам уже не удастся, потому что Вы – женщина, русская, очень честная и прямая.

Искусство более ревниво, чем люди.

Вчера, между прочим, мне сказала Ольга Владимировна, что, ввиду сложившихся жизненных условий, она считает себя очень второстепенной художественной работницей. «Вот я бы завтра очень хотела поехать с Вами на пирамиды на этюд, а не поеду, потому что это – единственный свободный день у П[етра] Ф[едоровича]», а потом добавила: «и все мы женщины такие».

Это верно и верно.

Ну, пойду спать. Вот если бы я был поэтом, я написал бы коротенькое стихотворение на такую тему: «Я сер и скучен для людей, и им со мной не весело. Я – однообразная и глухая стена у проезжей и торной дороги. За стеною мой сад, в котором я выращиваю свои цветы, и все они для Тебя».

М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

31.7. Понедельник. Полночь.

Во-первых, завтра – август, а во-вторых – вторник. Новому месяцу несколько дней тому назад я показал, конечно, золото (часы; надо бы деньги) и то Ваше письмо, где Вы написали про Джона и его малютку. Надеюсь, что таких писем будет много.

Вчера Лукьянов в начале моего визита рассказал мне следующий казус.

Однажды Лефевр спрашивает его, что же ему, Лефевру, делать с Вашими столами в музее и почему не ходит la demoiselle russe[I].

Лукьяш провуйкал (глагол, изображающий французский говор Лукьяша «вуй») ему, что mademoiselle находится в Берлине. Лефевр почему-то не верил, но наконец сдался, когда Лукьяш сказал ему, что он знает совершенно точно; все же Лефевр удивился, почему mademoiselle не пришла проститься.

Через несколько минут Лефевр вбегает в библиотеку, где сидел Лукьяш, и с испугом спросил Лукьяша: «Да, но кто же там сидит сейчас? Там сидит же la demoiselle russe, но только она невероятно растолстела».

Вот видите, милая малютка, вполне реальное тело madame Sander[II] сыграло роль Вашего астрала.

В связи же с астралом должен сообщить, что сегодня встретил Димову. Она сказала, что давно меня не видала, а следовательно... снова всплывет Людмилицыно наследство.

Вчера со щемящей тоской думал о Вас в трамвае, когда ехал на пирамиды, и вот по какому поводу.

На Булаке[212] села напротив меня барышня, очень милая, свежая, ясная и совсем какая-то не каирская. Как-то отдаленно она напоминала Вас; и одета была в Вашем духе, и просто и мило. Сидела строго и глазами не стреляла. В районе Зоологического сада[213] она начала проявлять явное беспокойство, выходила два раза на переднюю площадку и искала впереди, на пути, кого-то глазами. Вдруг, перед одной из остановок, она словно преобразилась, высоко подняла кверху свою чуть костлявую руку и кому-то стала делать сигналы. На остановке в вагон вошел плюгавый молодой англичанин мелкого калибра и сел рядом с нею. Поехали дальше. Она совершенно расцвела, смотрит на него влюбленными глазами, что-то очень быстро и немного захлебываясь ему рассказывает, прикасается время от времени очень нежно рукою до его локтя, ну, словом, сияет и радуется непомерно.

Он же маленький, невзрачный такой; бритый большой подбородок (но зато бритый! Красота какая!) загнут крючком кверху, как у бабы-яги; зубы крепкие, маленькие и сидящие далеко друг

[I] Русская девушка (*фр.*).

[II] Мадам Сандер (*фр.*).

от друга; пускает ей в нос дым от своей папиросы и, почти не улыбаясь, цедит какие-то британские звуки сквозь зубы.

И подумал я: и почему же она его полюбила? Эту мерзость; и за что? Даже обидно за нее стало. А потом вдруг подумал: вот и Людмилица, может быть, едет сейчас с каким-нибудь совершенно мне незнакомым субъектом в трамвае и тоже очень ласково ему улыбается...

Это – один из пароксизмов моей болезни. Сегодня я начал красить одну из маркиз. Пейзажи над балюстрадой закончены. Византийского же всадника дня через три начнем калькировать.

Разрешите мне поспать. Уже час. М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

1.8. Полночъ.

Людмилица, сегодня вторник, а писем не было. Если Вы очень больны и если с Вами случилось что-нибудь очень тяжелое, тогда дальнейшие строчки никакой силы не имеют; но если Вы в таком состоянии, что вполне способны писать, то нет слов, какими можно было бы выразить Вам упрек и порицание.

Вы знаете, конечно, в какое прямо исступленное состояние приводит меня это Ваше совершенно необъяснимое и какое-то упорное, словно намеренное, молчание. Работать я сегодня не мог, и, после невыразимых мучений и волнений, день окончился сильнейшей головной болью. Чтобы как-то отогнать мысли, я пошел в [«]Космограф[»], но и там все время думал все о том же.

Если смотреть на Ваше поведение со стороны, не зная Вас, то его можно было бы назвать черствым и жестоким, но так как Вы – человек добрый и отзывчивый, то это просто невероятная легкомысленная забывчивость и МАХРОВЫЙ ЭГОИЗМ.

Неужели же, Людмилица, нет никаких сил, чтобы сломить Ваше упорство и убедить Вас, что если Вам некогда написать письмо, то об открытке не может быть и речи!!! За чаем, в трамвае, да, Господи помилуй, сколько есть возможностей. Беда, если желания нет; ну его! Вот надоел-то!

Ведь это же возмутительно!!

Помните, Вы называли одно мое письмо, посланное Вам из Каира в камп, «счетом». Ну как же Вам после этого не посылать счетов?! Неужели же я не заслужил платы за все мое к Вам отношение

хотя бы в виде еженедельной маленькой ничтожной открытки? А ведь пошла уже ТРЕТЬЯ неделя, что я от Вас ничего не имею!

Позабудьте на одну минуту Ваших новых приятелей и вспомните на одну секунду старых, которых Вы даже когда-то называли друзьями; вспомните немножко условия моей жизни; подавляющее однообразие, тоска, вечные думы о Вас, жарища, от которой Вы спасались в Александрию и которая в этом году, по всеобщему признанию, превышает летнюю жару последних годов, и неустанная интенсивнейшая работа.

Весточки от Вас для меня – бодрящая помощь, то, чем я живу. Чем я перед Вами провинился, что Вы мне так неумолимо и жестоко отказываете в этой помощи?!

Хотел бы я, чтобы Вы испытали то, что я испытываю; это было бы, по крайней мере, справедливо.

Постарайтесь же, милая и дорогая Людмилица, на которую я сердиться не умею, загладить Вашу вину. Нельзя же так, право, поступать. Стыдно Вам, Людмилица, нехорошо!

И почему же Вы, наконец, не посылаете рисунков? Давно пора. Это я пишу Вам как маэстро.

Вот погодите, приеду в Берлин; тогда заставлю Вас работать.

Чтобы реабилитироваться, хлопочите, ветреная головушка, о моей визе. Ну, все хорошо. Боюсь я за Вас. Дай Вам Бог мира и тишины. Ваш И. Б.

М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

33

2 августа 1922

2 августа. Среда. Полночь.

Милая и дорогая Людмилица,

В сущности, после вчерашнего разноса (и поделом) я был бы должен гордо завернуться в тогу и на время замолчать; я же неизлечимый больной и не могу не написать Вам, раз есть еще свободный час и отправка писем завтра.

Меня раздобрили пирамиды, куда я опять сегодня ездил на этюд. Со мною ездила на-восемь-денная соломенная вдова Лелявская, муж которой поехал отдохнуть на восемь дней в Порт-Саид.

Когда наступили сумерки, а звезды и луна начали разгораться [на] небе и небо на западе было золотое, как на византийских мозаиках, мы пошли в ресторанчик против [«]Mena-Hause'a[»][1] [214] и поужинали, а потом пошли при яркой луне уже к Сфинксу[215].

Это так прекрасно, так просто и проникновенно и так величественно, что, как бы ни был затаскан сфинкс с пирамидами, ничто не может затемнить впечатления. И, главное, было тихо-тихо, ни арабья, ни туристов не было совершенно. Редкий случай. И лежал, как всегда, растянувшись и затонув в песках этот удивительный зверь, такой молчаливый и такой привлекающий...

Ну, кажется, вдаюсь в беллетристику. Это – не по моей части. У вас там своих письменных спецов много, а я – маляр.

С Лелявской болтать интересно. От далеко не глупой и интересной женщины почерпаешь много полезных сведений по части вашего женского сословия.

Я опять хочу сказать Вам несколько слов о письмах и о силе писем. Я знаю, что сейчас мои письма или, вернее, значение их – почти ноль. Письмо – в «мирное» время много значит; тогда пиши хоть из Австралии, хоть с луны. Теперь же у вас там время «военное», великая стратегия и тактика, и тогда посылать письма все равно что атаковать неприятеля, имея в руках перочинный ножичек, когда с другой стороны выставлены пулеметы, подведены фугасы и мины и вообще пущена в ход всякая техника. А ловят – Вас.

Я это чувствую и знаю, что я не ошибаюсь. Я беснуюсь, безумствую, знаю, что к Вам надо прийти на выручку, но я сижу плотно привязанным к двум столбам в моей мастерской, оставшимся после работы для Касдагли.

Я сейчас изложу Вам все дело как ясновидящий, сидя в Каире и почти ничего не зная, а так, как мне чудится, и я уверен, что когда-нибудь после Вы мне скажете, что я не так уж ошибался.

Я продолжаю бояться главным образом Д[роздова][216].

Вы были с ним знакомы очень короткое время, но Вы окружили его своим воображением, сделали из него мираж или кумира и уверовали в свое произведение. В людях Вы разбираетесь плохо и до сих пор считаете одну женщину Вашим другом, тогда как, на

---

[1] Так в оригинале; правильно: Mena-House'a.

самом деле, влияние ее на Вас было самое пагубное. Она тоже способствовала раздутию Вашего кумира. Наконец, Вы главным образом (а м[ожет] б[ыть], и исключительно), чтобы встретиться с этим мифом, поехали в Европу.

Встреча произошла; что-то было, чего я не знаю, но Вы мне сообщили, что я был прав в охарактеризовании этого человека и что Вы в нем разочаровались.

Вероятно, Вы поняли или увидели, что он, мня себя принадлежащим к категории «гениев», считает, что он может делать многое, что не разрешено простым смертным; что его «я хочу» есть необходимая для него пища богов и что эксперименты над живыми душами есть для людей его веры и касты акт совершенно допустимый и необходимый для большей яркости горения их огня. Конечно, это неверно, но об этом – не здесь.

Вы отшатнулись от него. Почему и как, фактов я не знаю, хотя, если Вы мне после расскажете, я бы очень хотел их знать. Я был в восторге тогда, когда Вы мне написали об этом разочаровании. Но сейчас я снова безумно тревожусь, ибо я чувствую, что недуг продолжается, так как Вы грустите и подавлены. И в этой грусти и кроется глубочайшая опасность, ибо если бы Вы, раскусывая орех, увидели, что он пустышка, что мираж разлетелся, то о чем же жалеть тогда? Ведь нет же ничего! Должно бы, наоборот, наступать спокойствие. То был сон, а сейчас пробуждение и солнечное утро.

Грусть же может вызвать губительный рецидив. Вам жаль миража, и воображение Ваше, помимо логики, жалея о несбывшемся, говорит: а если бы оно сбылось!

И вот если этот человек, учтя Ваше состояние и найдя слабое место, прикинется волком в овечьей шкуре и окажется ловким актером, то он легко может выиграть дело; мираж снова воскреснет, и тогда – конец.

Поэтому будьте трезвы, осторожны и разумны. Пусть Вашим оружием в данный момент будет разум, а не чувство.

Меня нет с Вами; от меня только бумажки с каракульками, которые достигают своего назначения только через восемь или девять дней после того, как они написаны. Какое бессилие!

Но все же иногда возьмите и обернитесь назад и посмотрите, не обронили ли Вы где-нибудь или, вернее, не забыли ли Вы где-

нибудь чьей-то большой, большой, самой настоящей и глубокой любви? Ведь это не ничто, Людмилица? Не говоря о многом другом, это – тепло, это – заботы, это верная Ваша броня и защита от всех невзгод нашей несправедливой судьбы.

А письма-то Вы все-таки мне пишите. Хоть у Вас и грусть и все прочее, все же пишите. Конечно, Вы – эгоистка.

Почему, когда у Вали[217] убили ее жениха, это – настоящее горе? Почему, когда у Вас разлетелся мираж, это тоже горе? А почему же у меня, если бы Вы вдруг решили, что Вы нашли Синюю птицу, и я тем самым потерял бы все, чем я жил и дышал последние годы, не настоящее неописуемое и катастрофическое горе?

Вы-то уж для меня не мираж, а самая настоящая живая Людмилица, от которой у меня остался только рваный ее фартук, кусок ее внешней оболочки.

Подождите, Людмилица, право же, а вдруг в моих-то садах и летает эта самая Синяя птица и поет она так, что Вам будет понятен каждый звук ее песни, потому что наша песня у нас с Вами общая. Так захотел Бог, ибо вдохнул в Вас тот же огонь, что и в меня.

А пока держитесь спокойно и крепко. Пусть Ваша крепость будет несокрушимой твердыней. Не дремлет враг, но пусть бодрствуют и сторожа Ваши.

Ну, довольно писать. Хлопочите о моей визе. Работать и работать! Делать наше любимое дело, и да здравствует наше искусство.

Будьте же паинькой. Поклонитесь от меня сестре О[льги] В[ладимировны], хотя я ее почти не знаю. Ваш до [*нарисован гроб*] И. Б.

P.S. Мидхат был; фин[ансовый] кризис миновал.

34

16–23 августа 1922

Среда. 16.8. Полночь.

Милая и бесконечно дорогая Людмилочка,

Как я сегодня бесконечно счастлив и весел: Ваше письмо и целых три открытки! На радостях пошел с Бибиковым в [«]Космограф[»], а сейчас, вернувшись, сел за письмо, разорвав предвари-

тельно 12 мрачных уже написанных страниц письма, т[ак] к[ак] вторник-то (день получения писем) ведь был вчера и вчера писем не было, ибо проклятый courier[1] снова опоздал, как и в последний раз; тогда было опоздание на целых два дня.

Хотя это и не галантно, но, по важным причинам, напишу сперва о себе, а потом уже буду хвалить Вас и все прочее.

Последняя почта, принесшая Вашу лаконическую открытку с обещанием, что «авось» напишете, пришла вместо вторника в четверг. В тот же день были принесены и обе телеграммы, из которых первую, т.е. Вам, я послал в пятницу! Она пришла почти через неделю! Сейчас-то я понимаю, почему, а тогда... Между прочим, обе были посланы с оплаченным ответом в 15 слов каждая.

Значит, когда наступил тот вторник, день писем, то картина была такова: четыре недели отсутствия писем и молчание на обе телеграммы.

Я был форменным сумасшедшим.

Вы еще, вероятно, не знаете, что за ужасная вещь – навязчивая идея. Всегда, всегда, при каждом шаге, куришь ли папиросу, переходишь ли из комнаты в комнату, рисуешь ли какое-то седло на византийском коне, словом, ВСЕ время, пока бодрствуешь, за тобою, как твоя тень, следует эта щемящая и тяжелая неотвязчивая спутница. Ее гонишь, а она не уходит. Это невыносимо.

Я не мог понять, в чем дело, почему Вы молчите, несмотря на все мои мольбы и взывания послать мне хотя бы открытку, и, конечно, мои мысли рисовали мне самые ужасные беды, стрясшиеся над Вами.

Я мог царапать пальцами стены, кусать стволы пальм, но я ничего не мог сделать больше.

Тогда, вечером, я сказал себе: что бы то ни было, но я больше не могу; хочу хоть на минуту отдыха.

Тогда я отправился и хватил вина и сделал это совершенно сознательно, зная, что пить мне более чем вредно, а даже, как сказали мне врачи, опасно для жизни. Но я был-то ведь перед тем совершенно один в своей мастерской, в совершенно исступленном состоянии, смотрел на Ваш портрет, и казалось мне, что идти мне дальше некуда. Вы не поймете моего состояния, но оно

[1] Курьер (*фр.*); здесь – почтальон.

было невыносимое. Ну да ладно; теперь уже все прошло. Я ведь убежденный трезвенник, и если на душе моей минимально сносно, то я никогда не выйду из колеи. Юнцы же иногда даже стреляются, ну а я хотел просто сильного удара обухом по голове, перегородки, и виноват в этом на этот раз уже не я.

А тогда я и действительно получил эту перегородку. В душе воцарился мир, и я точно прозрел и стал с большим интересом созерцать происходившую вокруг меня жизнь, уличных музыкантов, кричавших разносчиков, сытых эфенди[218], сидевших за столиками, все, все, что происходило на яркой и шумной ночной улице; преследовавшая меня тень куда-то скрылась.

Потом было два с половиной дня повышенного романтизма, т[ак] к[ак] вино как кучер, дай ему адрес, оно туда и едет. Ездил с Габриэлем на пирамиды, смотрели на сфинкса и ели в ресторане, заливая немецким пивом, голубей, читал разным людям стихи, ходили ночью по арабскому Каиру, заходили в дансинг, где играет Готлиб, но все время я пребывал на самой вершине романтизма и нигде не измазался.

Наконец-то пришла Ваша открытка и обе телеграммы. Я мог только им сказать: эх вы, опоздали!

В конце концов, энергичное появление П[етра] Ф[едоровича] и отъезд в автомобиле в Манриет «под арест».

Ну, довольно об этом. Работа идет, как и всегда, вовсю, настроение после Ваших писем не то что бодрое, а сияющее; Вы же, милая и дорогая Людмилица, меньше кого бы то ни было можете винить меня на этот раз, а кого надо повинить, об этом подумайте.

Читал я в Манриете две книги, давно знакомые, и снова получил громаднейшее наслаждение; это сказки Андерсена и стихи Некрасова.

Очень и очень советую и Вам, хотя бы на сон грядущий, прочитывать одну-две из этих милых и чистых, как горный родник, датских сказочек. Там столько настоящей, высокой, простой и одновременно героической, самоотверженной и большой любви; именно не этого «хочу» современной беллетристики, а того, что ставит границу, с одной стороны которой стоят звери, а с другой созданные по образу и подобию Божьему люди.

Я ведь, помните, тоже не раз говаривал Вам, а теперь опять и опять повторяю, что ангел лучше черта.

Что же касается стихов Некрасова, то непременнейшим образом раздобудьте и прочтите в полном одиночестве его «Русских женщин». Вы, конечно, читали это, но, может быть, как и я, давно. Я раз не выдержал и всхлипнул, читая.

Жены декабристов. Героини. Княгини, едущие к мужьям на каторгу. Вот любовь высшая. Когда читаешь это, то душа очищается и светлеет, и в нее вливается бодрость и вера в ценность жизни.

И вот я хочу, Людмилица, чтобы и Вы были такою женщиной, и я верю, что это может быть Вашим уделом, хотя Вы и окружены сейчас болотом и трясинами. Вы – молодчина; это по всему видно, и никакие Д[роздовы] Вас не поймают.

Пускай Вы – «отмирающий тип тургеневской женщины», а они, те, кто Вас так назвал, думая посмеяться над Вами, – трупные черви, но только не на трупе, а на гнойных язвах нашей Родины, ибо она будет жить, а все эти мерзкие черви сгинут. Я бы почел за честь называться тоже «отмирающим типом тургеневского мужчины», ибо Россия была великой страной, а была она великой благодаря плеяде славных, на которых лают эти теперешние утонченные представители грядущего хама.

Мы, единомышленники и сотрудники, должны собраться вместе для одной работы и сказать: мы продолжаем, а не – мы начинаем. Сила и мощь искусства в преемственности, оттого-то у старых мастеров богатырская мощь и сила, а у нас одна неврастения.

Когда я читал в Вашем бесконечно дорогом и милом письме Ваш разговор «с модным типом», то у меня буквально чесались руки, так я хотел отлудасить его по физиономии. Мразь этакая! С[воло]чь!

Если бы Вы знали, как я любовался Вами, читая Ваши строки. Молодчина Людмилица! Держитесь стойко и ни пяди земли уступки!

А как мы заработаем вместе! Мы сделаем что-нибудь очень и очень значительное. Между прочим, мы будем (и непременно вместе с Вами) работать над поэмой Пентаура. Ведь я успею сделать, дай Бог, одного Рамсеса, а ведь это всего лишь заглавный лист.

Мидхата через месяц кончим. Над кораблем надо будет поработать еще недели две. О[льга] В[ладимировна] освобождается от Мидхата и переводится на корабль. Он в скверном состоянии: трещины в дереве увеличились и все синее и темно-зеленое силь-

но потрескалось. Ох, какие мы неучи в смысле знания материала, красок, грунтовок и пр.! Достали мы французскую книгу Вибера, и оказывается, что многие рецепты Вирта страшно вредные.

Доставайте мне, во что бы то ни стало, разрешение на въезд в Берлин. Художник Билибин не может работать без своей первой помощницы! Если нужны деньги для этого, платите, а мне напишите, сколько Вам надо выслать.

Милая, не откладывайте моей визы в долгий ящик, молю Вас!

А правда, какой милый Пав[ел] Пав[лович] Гронский? Я ужасно рад, что Вы с ним встретились. Вот это тоже «отмирающий тип».

И что же! Если теперь вообще осень, то лучше быть последней умирающей прекрасной розой, чем липкой грязью на осенней дороге. После долгой зимы будет снова возрождение, весна, и будут снова цветы, но не сейчас же за умирающей розой, а после долгого сна, подобного смерти.

Из другой оперы.

Людмилица, мы работаем (т.е. я, Бибиков, Лелявский по своему делу, Венедиктов и нек[оторые] другие) по 8-ми, а иногда и по 10 час[ов] в сутки, а это сейчас героизм. Я не буду говорить, как нам трудно, а приведу лишь температуру. На улице днем в тени от 42 до 45 [градусов] по Цельсию[219], а в комнатах – 39!

Сегодня Бибиков и сообщает: «Могу Вам сообщить неприятную вещь. Видел M[ademois]elle Salles на улице с молодым человеком. Она Вам изменила».

Действительно, мы давно ее не видели.

Сандеры – чудные люди. Они приедут к Вам раньше меня авангардом, а Ваш дорогой маэстро выберется не раньше середины октября. Это ужасно, Людмилица, но нужны деньги и деньги! Прокутил я только карманные, а весь мой заграничный фонд у О[льги] В[ладимировны], а т[ак] к[ак] Вы будете мне посылать когда письма, а когда «чиксы», то на душе у меня будет весело, работа будет спориться и все пойдет как по маслу.

В Манриете я видел сон. Рассказать? Ну, расскажу, а Вы не сердитесь, ибо за сон я не отвечаю. Стою я будто рядом с одной очень милой и любимой мною девушкой, и вдруг я осторожно, когда она смотрела вдаль, поцеловал ее в щеку. Она не шелохнулась. Я же ужасно испугался своего поступка и тихо взял ее за руку и чувствую, что она немного пожала мне руку.

Пойду спать. Третий час. Не увижу ли снова что-нибудь хорошее, чего мне так не хватает в жизни!

Ну, работайте и работайте. Да хранит Вас Бог.

Ваш Бум (любящий Вас до сумасшествия).

P.S. Лукьяновы не кажут носа. Очевидно, решили обидеться после того казуса, который я Вам описывал.

17.8. Четверг. 8 1/2 час[а] утра.

Приходится вскрыть конверт, чтобы вложить эту приписку. Ох, не выспался!

Милая Людмилица, что же Вы со мной делаете в Когано-Василисо-Прекрасном отношении? Ведь Вы меня, дорогая, подводите. Я ему назначал срок, все сроки давно прошли. Если не можете и если у Вас другая, спешная работа, то это я вполне понимаю, но тогда зайдите к Когану и скажите ему, что Вы не можете делать эту работу. Я ждал, ждал Вашей посылки и наконец отчаялся.

Да и вообще зайдите к Когану и скажите, что в ноябре я прибуду в Берлин (или в самом конце октября, что, однако, вряд ли, ибо я хочу сделать маленький тур в Италии; вот если бы и Вы там были!), и тогда, когда сам маэстро (из отмирающих типов) будет налицо, то и дела пойдут сами собой, ибо в Германии я хочу, главным образом, жить на заработанные германские деньги, а на египетские мы будем или большую картину писать, или поедем в Индию (Вы уже наполовину согласились). Заодно попросите Когана и насчет моей визы, если сами не можете, но только виза, виза и виза!

Да и вообще, послали бы кое-что из Ваших графических эскизиков. Можно было бы установить прекрасную цепь. Вы получаете работу: книгу с книжными украшениями. Делаете эскизы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и т.д. Номера 1, 2 и 3 Вы не можете послать, т[ак] к[ак] Вы должны их тут же делать, но №№ дальние Вы посылаете. Потом Вы посылаете во второй раз следующие дальние номера и уже просто для критики готовую вещь. Хотя... я, в сущности, все же скоро приеду. Заработаем серьезно вместе. Вы и сами прекрасно понимаете, как важна для Вашей художественной деятельности работа со мною. Ведь Рене Рудольфовна не любила графики; мы же можем идти совсем по одной тропинке. Поэтому-то нам и нельзя разлучаться.

Боюсь только за глаза. Я их себе подпортил и, вообще, переутомил. Пойду на днях на серьезные разговоры с П[етром] Ф[едоровичем][220].

Не забудьте поблагодарить от меня за телеграмму Александру Владимировну[221] и вообще поклонитесь ей от меня. Равным образом Пинегину и Мозолю, если бы я знал их адрес, я бы им написал. Ну, пришла О[льга] В[ладимировна]. Спешу. Да осияет Вас солнце, пусть оно убавит своего жара для нас и прибавит для вас. Ваш И. Б.

М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

P.S. Как судьба моих вещей, находящихся у Когана? Вы не пишете ничего.

21.8. Понедельник.

Дорогая Людмилица,

Попишу не более получаса; сколько выйдет, а потом пойду спать. И хотел бы Вам рассказать что-нибудь, да нечего. Это-то и есть невыносимая сторона моей жизни. Однообразие угнетающее, тоска невероятная, усталость непомерная, и все это – на фоне одной и той же думы.

Все же дней через десять я окончу маркиз. Я шпарю их, насколько могу, быстро. Остались головы, пелерины и шляпы. Ольга Владимировна переведена на корабль. Бибиков разводит орнаменты на маркизах. Проработает еще с месяц. Я бы хотел управиться к 15-му октября. Всадник калькирует на бумагу. Надо сделать еще этюда два или три. Но только ужас, сколько полопавшейся краски на корабле. Мы (все трое, т.е. Вы, О[льга] В[ладимировна] и я) невероятные сапожники в этом отношении: ничего не знаем, что можно и чего нельзя. Надо сдать работу и удирать.

Я рисую еще два бакшишных карандашных портрета, Лелявской – за частые обеды и Каттауи – за Мидхата.

Жду от Вас с нетерпением визы. Похлопочите, милая, ради Бога. Мастерской за собой не оставляю. Передаю окончательно Бибикову. Ведь у меня нет таких средств, чтобы платить за какие-то еще месяцы, когда скорее всего, что больше сюда не приедешь; т.е. я вернулся бы, если бы... Да ведь и вообще надо уезжать. Что стал бы я делать? Ведь заказов фактически больше нет.

Нового мне ничего и не предлагали. Значит, сама судьба хочет, чтобы я уехал.

Я вхожу в мастерскую и думаю: ты уже не моя. Цифра моих дней в Египте уже двухзначная. Вы понимаете это, Людмилица?

Я совершенно укоротил себе бороду, сделал ее микроскопической, а усы сильно подстриг на английский манер. Мне сказали, что я сильно помолодел от этого. Вообще я еще ничего себе. Устал я как сто ломовых кляч, а работаю наверно больше Вашего.

Пойду спать, Людмилица. Сегодня я какой-то деревянный, и пишется плохо. Иногда подумаешь о Вас, представишь себе, что с Вами разговаривает в данную минуту какой-нибудь гад, смотря на Вас гадкими глазами, и так защемит в сердце. Боже мой, неужели же скоро будет это счастье, что я Вас скоро увижу?!

Ведь мы же хорошо работали, а будет еще лучше. Только – визу, визу, визу!

До завтра. Завтра – вторник, почтовый день.

23.8. Среда.

Милая и дорогая Людмилица, сегодня опять весело. Вчера, во вторник, почта не пришла; я начал грустить, но надеялся, что, м[ожет] б[ыть,] она опять опоздала. Ночью я видел сон. Когда я проснулся, я был уверен, что должно произойти что-нибудь очень хорошее в частности и вообще, ибо был бы величайший обман со стороны судьбы, если бы такой сон был впустую.

Я был в какой-то неизвестной мне квартире, где ко мне неимоверно ласкались две собаки. Они прыгали на меня, ластились у моих ног и просто не давали ходить. Одна из них была Муфта, а другая – неизвестный мне большой пудель. При этом пудель то и дело отбегал в сторону, присаживался с деловым видом и делал... кучки. Во сне каким-то особым чутьем я сознавал, что это «к добру», а потому радовался этому и не наказывал его за дурное поведение. Вот и весь сон.

Толкование приблизительно такое: незнакомая квартира – это другая страна. Собака – дружба. Муфта – это наша знакомая испытанная дружба в Египте, и она же вырастает в Германии (т[ак] к[ак] пудель – немецкая порода) в еще гораздо большую. Кучки – благополучие и благосостояние.

Утром боаб принес письмо от Панкова из Александрии и только. Ну, думаю, сон обманул; почта была, и мне ничего нет.

Пришла О[льга] В[ладимировна].

«Есть письма?» – спрашивает она; я же отвечаю загробным голосом: «Есть чертово письмо от Панкова и ничего более».

Мы прошлись немного насчет Вашего упрямства и еще разных иных не чересчур лестных черт одного характера и принялись молча за работу.

Вдруг стук в дверь и, о радость, знакомый Вам улыбающийся почтальон с четырьмя открытками, три от Вас, одна от А[лександры] В[ладимировны].

Ну, спасибо, дорогая и милая Kindchen[I], за все Ваши милые слова, за «Билибинуса», за «глупинуса», за все, все! Только Вы уже, тифозная головушка, забыли: не «пинктур», а «пиктор» россикус[II].

Ведь вот, смотрите же; не трудно же начиркать открытку, а сколько она дает радости! Ведь это же – заряд бодрости на целую неделю! Этим Вы помогаете работе Вашего маэстро. Ох, как трудно сейчас работать, как все нестерпимо осточертело и как хочется отдохнуть! Сидишь отупелый, потный. Слава Богу, что есть Венедиктовы, у которых я аккуратно каждый четверг беру горячую ванну.

Когда ко мне приходит Як[ов] Вл[адимирович] Белобородов, то прежде всего он снимает мокрую, хоть выжми, рубаху и кладет ее для просушки на перила веранды, а сам надевает пижаму, а затем начинает изводить носовые платки, развешивая мокрые на спинках стульев. У меня не такая транспирация, но тоже транспирирую. Бибиков же больше пыхтит и тяжко вздыхает, а иногда, вероятно, с отчаяния, начинает гнусавым голосом петь цыганские романсы. Целый день пьем чай или «портвейн», а иногда «мадеру». Такими громкими названиями у нас окрещен остуженный чай в графине; если выйдет потемнее, то портвейн; побледнее – мадера.

Когда Вы получите это послание, то маркизы (моя часть фигуры) будут уже кончены. Я беру их штурмом, работая над ними все светлое время, чтобы потом к ним уже не возвращаться, а заняться другим делом. Завтра кончу пелерины и рукавчики. Не художник, а дамский портной.

[I] Детка (*нем.*).

[II] Pictor rossicus – русский живописец (*лат.*).

«Святой корабль» тоже задвигался.

Я же сегодня, получив Ваши милые открытки, даже и жары не чувствую.

О[льга] В[ладимировна] пожаловалась сегодня около полдня на жарищу. «Разве?» – сказал я. Она засмеялась и сказала: «Ну, Вы теперь получили что ждали; Вам теперь и горя мало».

Это – правда, а тогда были дни самого настоящего отчаяния и кошмара. Я был как сумасшедший. Но согласитесь, что кто угодно забеспокоился бы: четыре недели без писем и отсутствие ответа на целых две телеграммы с оплач[енным] ответом! И бессилие что бы то ни было предпринять! Ну, да ладно! Слава Богу, что прошло. Только не включайте меня в ряды пьяниц. Мне было бы даже смешно подумать об этом! До того это не вяжется с моим образом мыслей, когда есть хоть минимальная надежда, что прожить как-то можно.

Если это не будет теперь, то после-то Вы поймете, какой у Вас был «Билибинус глупинус».

Я боюсь, что кто-нибудь из «друзей», обрадовавшись моему дрейфу, поторопится доложить Вам: милый кот (ведь ты мой?), твой пресловутый И[ван] Я[ковлевич] запил мертвую и пр[очее] и п[рочее]. Вы же тарарахнете мне письмецо с «выражениями», не получив еще моего доклада.

Тарарахать же меня за то нечего! Ибо я совершенно обезумел тогда от тоски, отчаяния и безнадежности. Для меня потерять Людмилу – все равно что ослепнуть и вообще потерять смысл жизни, а в те дни мне казалось, что Людмила исчезла, ибо даже спокойная и всегда в мыслях трезвая О[льга] В[ладимировна] недоумевала, что случилось, считая «странным», что даже на телеграммы не было ответа.

Ну, ничего. Приеду в Берлин, а там посмотрим. Будем работать, пересмотрим все дела и обстоятельства и т.д.

Молю: визу, визу и визу!

Теперь ответ на Ваш вопрос. [*Часть страницы вырезана*] Поняли? Первая строка текста, начинаясь чуть ниже верхушки заглавной буквы, подходит к ней несколько ближе, чем следующие, отодвинутые соседством с заглавной буквой, строки. Таких отодвинутых строк число произвольное, смотря по величине заглавной буквы и по крупности шрифта текста. Дальше, когда высота

заглавной буквы исчерпана, то дальнейшие строки идут вровень с ней, т.е. еще раз:

загл[авная] ——————————————————
буква ————————————————
——————————————————————
——————————————————————

Насчет букв без рам, если хотите их делать в русском (ренессансном) стиле XVI и XVII вв., то они сделаны двойной контурной линией, причем внешняя толще. Внутренность самого, т[ак] сказать, тела буквы бывает заполнена растительным орнаментом. [*Карандашные зарисовки букв С, Б, В, П.*] Иногда, что не является правилом, фон м[ожет] быть черным, а [*вырезана часть страницы*] художественных случаях (разные царские грамоты) хвосты эти спускались очень низко, унизывались цветами, птицами и пр.

Я посылаю Вам, милая Трися (сокращение от коллаборатрисы), одну свою кальку с буквой Д, недурно разработанной. Не потеряйте и не истерзайте ее, ради Бога! Я перерыл все кальки и больше ничего не нашел. Посылаю Вам на всякий случай еще одну надпись (аргус); это буквы русского стиля из позднего лубочного издания уже 18-го века. Все же буквы не плохи. М[ожет] б[ыть], пригодятся Вам впоследствии.

Я бы с наслаждением скомпоновал Вам, Трисюнчик, букву, но ведь сегодня только пришло Ваше требование; целый день я мазал, вечером до 11.30 рисовал Каттауи, а сейчас уже второй час ночи. Все же кое-что я Вам посылаю.

Ах да, пользуйтесь осторожно коптскими фотографиями. Листики, винограды, вазочки; ведь все это перешло в Византию, а оттуда и к нам. Это – родная бабушка нашего стиля.

Ну, начну прощаться, только раньше пойду выпью чаю, а потом покурю.

Сделано. Итак, резюме всего письма. Виза, виза и виза. Если нужно, давайте взятку, а мне пришлите facture[I]. Сознайтесь, что рисовать буквы без маэстро трудно, да и вообще с ним будет недурно. Я совсем не «ревнючий»; наоборот, если мне что-нибудь сказано твердо, то я самый доверчивый человек. Пароль д'оннер[II].

[I] Счет (*фр.*).

[II] Parole d'honneur – честное слово (*фр.*).

заглавной буквы, подходить къ ней нѣсколько ближе, чѣмъ слѣдующія ~~укороченныя~~ отодвинутыя соотвѣтственно съ заглавной буквы строки. Такихъ отодвинутыхъ строкъ число произвольное, смотря по величинѣ заглавной буквы и по ~~всему~~ крупности шрифта текста. Дальше, когда высота заглавной буквы исчерпана, то дальнѣйшія строки идутъ вровень съ ней, т.е. еще разъ:

Загл. буква

Расчетъ буквъ безъ рамъ, ~~[illegible]~~, если хотите ихъ дѣлать въ русскомъ (ренессансномъ) стилѣ XVI и XVII вв. то онѣ сдѣланы двойной контурной линией, причемъ внѣшняя толще. Внутренность самого, т. сказать, тѣла

хвостъ →

буквы бываетъ заполнено растительнымъ ~~орнаментомъ~~. Иногда, что не является правиломъ, фонъ м. быть чернымъ, а хорна объ этомъ! До того это не вѣжно. Иногда буквы для мыслей, когда есть хоть минихвосты внизъ съ, что прожитъ какъ-то можно. таинно расти будетъ теперь, то пошли-то вы

Насколько я вижу из Ваших писем, ни синих птиц, ни принцев в Берлине нет. Вы, кажется, это-то поняли. Далее, в магазинах часто бывают надписи при выходе: «не позабыли ли Вы чего-нибудь?» Людмилица, когда Вы, сломя голову, катили из Египта в Берлин (а не в Прагу), то не позабыли ли Вы чего-нибудь в Египте настоящего, твердого и неподдельного?

Ну, не сердитесь на меня. Я должен Вас увидеть и очень скоро, если доживу, хотя, собственно, помирать что-то не хочется; но... все под Богом ходим. Работайте, посылайте мне хотя бы открытки, делайте мне эту радость и напишите же, наконец, что Вы будете рады видеть Вашего маэстро и Бума.

Вы такая милая, милая. Ваш И. Б. М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

П.С. Ах да, встретил вчера мисс Милен (не знаю, как пишется ее имя); она расспрашивала про Вас и просила Вам передать приветы. Вы бы, свинтусина, послали открытку в [«]Connaught House[»]. Ведь там Вам было же хорошо. Нехорошо.

35

31 августа – 6 сентября 1922

31.8.1922.

Дражайшая Людмилица,

Это будет простая болтовня, т[ак] к[ак] как не воспользоваться случаем! Главные письма уже отосланы, но утром я пошел в консульство [Германии], и мне там дали на этот раз опросные листы, а тогда не дали; ничего никогда в этих консульствах точно не знают. Сегодня переснимусь и пошлю фотографии через неделю, а опросные листы я послал вторым письмом сегодня же Когану. Ну, и Вам пишу второе письмо о том, что светит солнце, что разносчики невероятно галдят на улице, что fleuriste[1] важно и молча шагает по саду и что где-то далеко, далеко сидит Людмилица с кляксиком на зрачке; а сын матери, читавшей толстые журналы, очень хочет исправить свои промахи и ошибки.

О[льга] В[ладимировна] сейчас в музее. Придет в афтернун, так что никто меня не ругает за то, что я строчу, а не работаю.

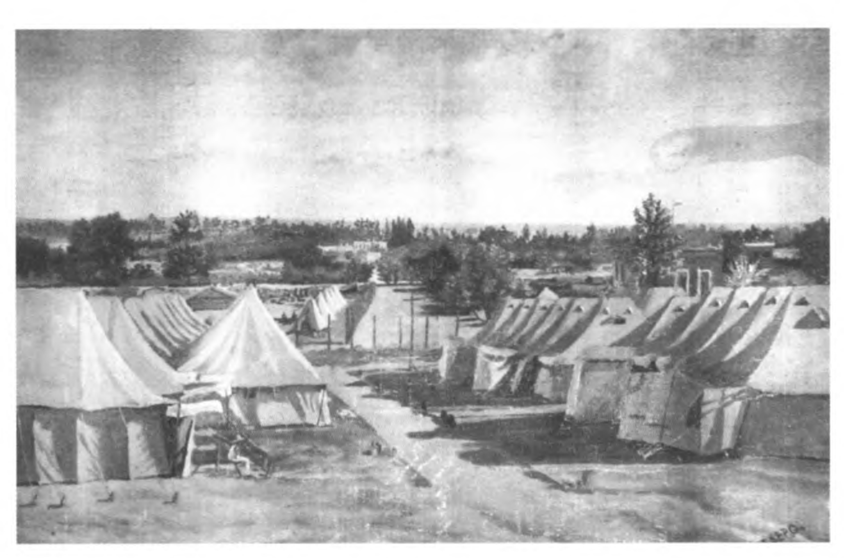
[1] Цветочник (*фр.*).



И.Я. Билибин. Портрет Людмилы Чириковой. 1919



Пароход «Саратов», на котором И.Я. Билибин и сестры Чириковы плыли из Новороссийска в Александрию



Ф.П. Рерберг. «Русский лагерь» в Телль аль-Кебире. Фрагмент. 1920



В мастерской на улице Антикхана. Стоит И.Я. Билибин, сидят (слева направо): Людмила Чирикова, Есаул и Ольга Сандер. На заднем плане – панно «Поклонение византийским царю и царице». 1921



За работой в Антикхании. Слева направо: Ольга Сандер, Людмила Чирикова и Иван Билибин. 1921





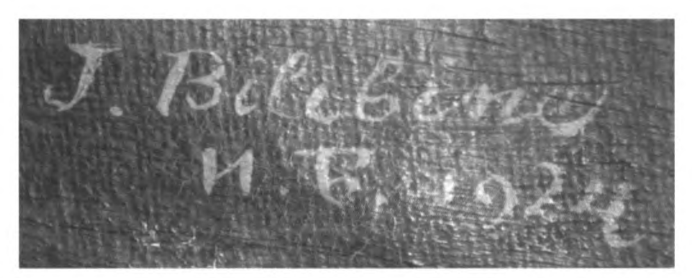
Григорий и Елизавета Лукьяновы. Начало 1940-х



И.Я. Билибин. Архангел Михаил. 1921. Греческая госпитальная церковь Св. Пантелеймона, Каир

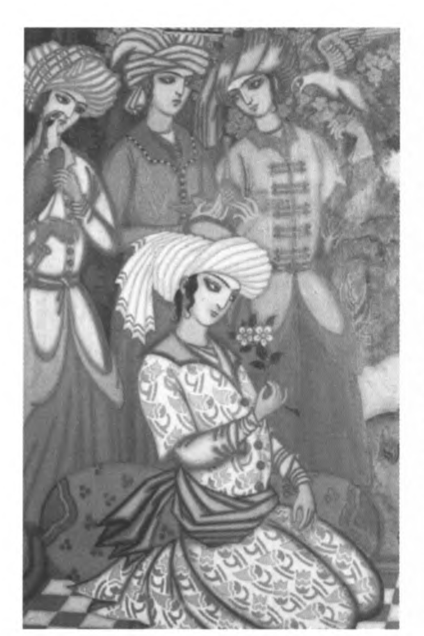


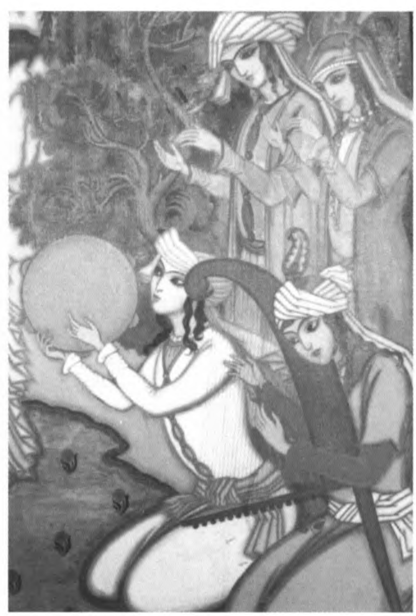
И.Я. Билибин. Архангел Гавриил. 1921. Греческая госпитальная церковь Св. Пантелеймона, Каир



И.Я. Билибин. Автограф на панно «Восточный танец»

И.Я. Билибин. Панно «Восточный танец». 1924.
Частная коллекция, Каир







И.Я. Билибин. Фрагменты панно «Восточный танец»
(слева направо, сверху вниз): Принц. Музыканты. Танцовщица



Часовня над «русским склепом», где похоронены эмигранты. Греческое православное кладбище, Старый Каир



Интерьер часовни над «русским склепом» в Каире. На мемориальных досках встречаются имена тех, с кем общался И.Я. Билибин: В.Э. Беллин, Я.В. Белобородов, А.С. Бибиков, Н.А. Венедиктов, В.М. Викентьев, В.М. Новосильцев. Рядом со склепом – могилы супругов Лелявских, Г.И. Лукьянова, К.О. Тихого

Вчера перед концом работы вдруг пришла страстная Е[катерина] М[ихайловна] Венедиктова. Спросила, не мешает ли, выражала громко свои восторги, говорила, что дрожит всем телом при виде моих работ, громко хохотала и распевала с самым пламенным пошибом цыганские романсы.

Бибиков, повернувшись к ней задом своим поросячьим хвостиком (это у него сзади торчит такой хлястик), молча сидел на верхотуре лестницы, разделывая в верхней части панно орнамент. Жена его сейчас в Александрии.

«Ал[ександр] Серг[еевич], – спрашивает неугомонная Ек[атерина] М[ихайловна], – а Вы сейчас не изменяете своей жене?»

Бибиков, не меняя позы и не поворачиваясь к ней, отмахивается лошадиным хвостом на ручке от мух, гнусавит: «Нет, не изменяю».

Потом снова страстные романсы. Двери были раскрыты настежь и у меня, и у Каттауи. Я видел, как из той мастерской несколько раз высовывались любопытные головы, желая узнать, кто у меня.

Надо будет что-нибудь выдумать и наврать.

Не послать ли Вам телеграмму с предостережением насчет Лукомского? Денег сейчас нет, временный кризис. Жду со дня на день Мидхата, который обещал приехать сюда из Александрии в конце месяца, а он, негодяй, что-то не едет. Я ему и письмо уже посылал; не отвечает. Это они всегда так, проклятое арабье.

Тихий устраивает вечер в память Короленки[222], но нет артистов, т.е. есть, да все третьестепенные; все лучшее в Александрии. Тихий хотел пустить солистом какого-то беженца, играющего на трубе. Его убеждали, что это не совсем подходяще, но он волновался и говорил, что труба такой же законный инструмент, как и прочие.

Ну, о чем же мне еще написать? О моих чувствах к Вам? Это тема старая, давно известная и единственная, которую можно противопоставить теории Эйнштейна. Да, именно. Видите ли, Эйнштейн утверждает, что во вселенной нет ничего абсолютного, неподвижного, а все глубоко относительно, и нет такого места, где можно бы было вбить неподвижный гвоздь. Если бы он, физичья голова, знал про мою любовь к Людмилице, то он узнал бы, что вся его теория полетела прахом и что абсолютное и неменяемое имеется.

О[льга] В[ладимировна], вероятно, скоро уедет. Пошлю Вам с нею целый кирпич бервилевского шоколада.

Уж чем я только ни стараюсь, чтобы заслужить Ваше полное благоволение!

Представьте, кончаю, не дописав страницы! Мучают угрызения совести, что краски сохнут на палитре. Милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая и еще раз милая! Kuss die Hand![I]

Votre Boum[II].

[*Нарисовано сердце, пронзенное стрелой*]

И. Б.

P.S. Сейчас продолжается виноград, манго и начинаются финики.

Ах, да! Есть две вещи, которые меня терзают:

1) случай с конфеткой в Батилимане и

2) то, что я Вам все-таки не подарил здесь живой обезьянки. Вам так хотелось! Я бы привез в Берлин, честное слово; но это значило бы обречь бедную обезьянку на верную смерть. Ведь это будет зимою.

Итак, Вы меня ждете! Да, да, да!!!

Приятно: жара спадает; ночи прохладные.

Напишите, доходит ли в письме запахов от наших египетских цветочков?

5 сент[ября]. Вторник.

Chère Mademoiselle[III]!

Сегодня я получил Вашу открытку с двумя «эх Вы». Ну хорошо. Одно «эх Вы» я принимаю на свой счет, а другое отсылаю Вам обратно. Разделим это печальное происшествие по справедливости, пополам.

Еще и еще раз повторяю Вам, Людмилица, что я самый трезвый эмигрант в Африке и таковым же буду и в Европе. Ведь, честное слово, главная моя победа над собою заключается в том, что я совершенно разлюбил вкус вина и меня к нему совершенно

[I] Целую вашу руку! (*нем.*).

[II] Ваш Бум (*фр.*).

[III] Дорогая мадемуазель (*фр.*).

нею цѣлый кирпичъ барнвилевскаго шоколада.

Ужъ чѣмъ я только ни стараюсь, чтобы заслужить Ваше полное благоволеніе!

Представьте, кончаю, не дописавъ страницы! Лучше угрызеніе совѣсти, что краски сохнуть на палитрѣ. Милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая, милая и еще разъ милая! Küss' die Hand!

Vôtre Boum.

Напишите: доходитъ-ли въ письмѣ запахъ отъ нашихъ египетскихъ цвѣточковъ?

И. Б.

ахъ!

Л.Ч.

Пріятно: жара спадаетъ, ночи прохладныя.

P.S. — Сейчасъ продолжается виноградъ, манго и начинаются финики.

Ахъ-да! Есть двѣ вещи, которыя меня терзаютъ:
1) Случай съ конфеткой въ Батти-лимантъ и
2) То, что я вамъ всетаки не подарилъ ~~[illegible]~~ двѣ живой обезьянки. Вамъ такъ хотѣлось! Я бы привезъ въ Берлинъ, честное слово; но это значило бы обречь бѣдную обезьянку на вѣрную смерть. Въ Ш. это будетъ зимой.

Итакъ, вы меня ждете! Да, да, да!!!

не тянет. Я недавно обедал в одном новом доме, где была целая батарея бутылок, и если бы Вы знали, как меня упрашивали, уламывали и даже стыдили; я же пил воду и безо всякого героизма. А тогда – дело другое. Вы вот, вероятно, не верите, что я дошел тогда до точки. Может быть, и не было такого уж резона доходить до состояния отчаяния, но это вопрос другой, а факт тот, что я и действительно тогда дошел; хотите верьте, хотите – нет.

А потом еще – я, положим, совершаю «фопа»[1], и только через четыре недели, когда я уже давным-давно веду себя, как Жанна д'Арк, я получаю реприманд: «эх Вы!»

А за то Ваше молчание и Вы тоже заслуживаете не одного «эх Вы».

Ну, помиримся и кончим. Халлас! Я даже черточку поставлю. Хорошо?

Какое счастье, что Ваша мама избежала того кошмара, о котором Вы написали. Брр!

Это все толчки, которые отшибают охоту ехать на родину. Накопится за известный промежуток времени некоторый слой желаний вернуться в Россию, и вдруг – какой-нибудь подобный «фактик», и весь слой смывается к черту!

Везде гадость. Там то; здесь Димова и сириец; Вы тоже пишете про разных подкарауливающих гиен и шакалов. То, что я написал про прежнее поведение Лукомского, – самая сущая правда. С ним никуда не ходите, если бы так складывались обстоятельства, ибо положиться на него и ручаться за него нельзя.

Что же предлагает он Вам? Какое дело?

Только не бросайте книги и графики. Только те и достигают чего-нибудь, кто не сворачивает с раз намеченного пути. Графика к Вам привилась, Вам она нравится; дело это хорошее, чистое и серьезное. Сделать свою книгу – громадное удовлетворение; все равно что написать большую картину. Работать надо неустанно; перерывы же очень вредны.

Если бы Вам стали предлагать писать декорации, то мой совет: воздержитесь. Во-первых, Вы не умеете, т[ак] что могли бы быть лишь чьим-то второстепенным подмастерьем, а во-вторых, среда

---

[1] Faux pas – ложный шаг (*фр.*).

очень скверная, разнузданная да еще на эмигрантской беспринципной почве или, вернее, беспочвенности.

Конечно, я ничего не знаю; Вы же на этот раз и не написали; но только если у Вас будут с Лукомским дела, то держитесь с ним так, как будто бы между вами была железная решетка, да и у Вас еще револьвер в руках. Ведь был же я прав насчет Д[роздова]. Здесь же я говорю не о каком-то своем верхнем чутье, а о том, что было известно Питеру.

Скоро, скоро я к Вам приеду. Я сообщу Вам целую кучу самых зажигательных художественных планов. Поверьте мне, что какому-нибудь Лукомскому (беру его имя нарицательно, вообще) все равно до художественной будущности Людмилицы, а мне – нет.

Давить Ваше индивидуальное творчество я не буду. Мы только, по-моему, идем по однородному пути. За помощью Вы сами всегда будете ко мне обращаться. Таких подневольных работ, как для Касдагли или как мои теперешние маркизы, конечно, не будет. Если мы и будем делать нечто совместное большое, то пусть это будет на нашу общую радость. Там мы увидим.

Но только Вы – моя ученица, и, если хотите, здесь у меня говорит и ревность, но, в данном случае, профессиональная.

В воскресенье я был в Арабском музее. Если эти последние два месяца будут протекать для меня спокойно и без треволнений, то я еще порядочно успею наснимать. В воскресенье же я не снимал, а беседовал с Абдул Азимом, а также намечал материал. Я ведь не был там больше года. На многое я посмотрел совершенно иными глазами. Очень интересны резной камень и резное дерево из Фостата[223]. Это – почти еще всецело прежнее так называемое коптское искусство. Налет вкуса завоевателей-мусульман еще самый поверхностный.

Какой интересный труд можно было бы составить, дав в последовательном порядке этот ряд переходов из одного стиля в другой.

Только некогда уже. Так, пачку снимков, м[ожет] б[ыть], сделаю, но вообще трудно: устал и от работы, и, главное – душевно. Иногда, например, мне хочется сидеть и сидеть, как сирийской барышне, и ничего не делать. Часов около десяти забежал Лукьяша и сообщил мне, что он сделал ряд блестящих открытий в самом музее, открыл нового бога какого-то, новую стелу, новую голову (странно! Она, должно быть, туда с неба упала) и еще что-то.

Я показал ему своего Рамсеса. Он снисходительно пискнул: «интересно». Я спросил его, не находит ли он, что это, может быть, даже хорошо; тогда он соблаговолил и похвалить. Ну и прекрасно.

Был [Мидхат-]паша. Вот идиот-то! На одном панно орнамент выкрашен наполовину; левая сторона готова, а правая в карандаше. Паша спрашивает: «Скажите, maître, почему орнамент слева желтый, а справа – белый?»

Кроме этого он задал еще целый ряд совершенно подобных вопросов.

Постараюсь приготовить Вам к этой почте перевод сказки. Надо постараться потрафить моей повелительнице. Я – Ваш маэстро, но из Ваших же крепостных.

Ну, дай Вам Бог всего хорошего. Иду спать. Целую Ваши обе миленькие лапки. Завтра писать не удастся, ибо вечером за мной зайдет Бурксер и утащит меня к себе в Гелиополис.

P.S. Ах, да нет же! Буду писать завтра, ибо Бурксеры-то не завтра, а послезавтра.

Еще два слова. Посылаю Вам три своих фотографии. Одну, так как Вы же мне все простили (nicht?[1]), Вы возьмете себе, чтобы помнить, что у Вас есть вечно тоскующий и вечно думающий о Вас маэстро (он же Бум), а две другие отправьте, пожалуйста, Когану для моей визы. Кажется, это нужно. Ну, половина второго!

---

6 сентября, среда.

Дорогая и милая Людмилица,

Вчера утром, до прихода О[льги] В[ладимировны], ко мне зашел доктор Форкар, тот, с которым я ездил на ночь в пустыню, и предложил мне поехать с ним на автомобиле в Старый Каир, к одному антиквару, францисканскому монаху. Утро было хорошее; предложение заманчивое, и я согласился. Прицепил к дверям записку О[льге] В[ладимировне]: «Отбыл на автомобиле в неизвестном направлении. Ключ в загибе трубы»; и мы покатили.

Доктор уже несколько раз покупал у этого антиквара; говорит, что продает он дешево; интересно было посмотреть.

---

[1] Не так ли? (*нем.*).

Но... увы! Антиквара мы не застали, т[ак] к[ак] он уехал на несколько дней в Суэц; тем не менее его боаб впустил нас в его кладовки, где хранится весь его хлам. Масса черепков, целые и побитые фигурки, очень много терракоты I–II в., т.е. вещиц уже определенно эллинистических, но есть и египетские. Выбор громаднейший, и если Форкар не ошибается, что берет этот францисканец за все гроши, то я и себе накуплю хурды-мурды на память (вполне хорошей хурды-мурды) и, конечно, не забуду и Людмилицу. Кое-что я уже мысленно для Вас отобрал, но это будет сюрприз, а пока не скажу.

Обратно мы ехали по разным арабским улицам, мимо мечетей, старых домов с порою очень красивыми входами, и я думал, что вот если можно было бы почаще все это видеть и всем этим пользоваться, то сколько можно было бы набрать ценного и нужного, а то вот, изволь торопиться домой и делать какие-то совершенно бесцельные и ненужные работы, поедающие буквально все время. Проклятое рабство!

Я снова восстанавливаю утренние фотографические четверги и иду завтра в Арабский музей. Результат моего первого улова пришлю Вам в следующем письме. Вы же, пумзик, напишите мне, что Вы бы специально хотели, чтобы я снял. Я знаю, что Вы хотели фостатские керамики, но думаю, что это трудно; а что кроме них? Не забудьте ответить на этот вопрос.

Ну, на сегодня я кончу, т[ак] к[ак] хочу написать еще брату. Хлопочите изо всех сил о моей визе. Не дуйтесь на меня и за меня не бойтесь. Я теперь совсем, совсем не тот, какой я был в Крыму и Ростове, только устал я не хуже осла из присылаемой Вам, моя повелительница, арабской сказочки и мне тоже, как и ослу, хочется иногда ничего не делать и отказаться от работы; но только осел, как Вы прочтете, производил тогда какие-то звуки, а я – нет; в этом вся разница. Вашу маму, если она приехала, поцелуйте (непременно) от меня. Будьте осторожны и поджидайте Вашего маэстро. Без солнца земля умерла бы. Вы – мое солнце. Нет такого нежного слова, которое я хотел бы написать Вам.

Ваш старый Бум.

P.S. Вероятно, мы поедем с Форкаром в субботу вечером в Саккару, там переночуем и проведем там все воскресенье. Буду упорно снимать в гробницах для пополнения моей коллекции.

36

13 сентября 1922

13 сентября 1922. За полночь. Среда.

Милая Людмилица,

Поздравляю Вас от всей души с прибытием Ваших. Приветствуйте от меня Вашу маму (поцелуйте ее), Вашу сестру, мою первую модель (поцелуйте ей ручку от меня), и Вашего брата Женю[224]. Если и он приехал, из Вашей открытки этого не явствует. Новелле Евгеньевне[225] передайте, что я сейчас плохой пьяница, но, с разрешения начальства, одну, две и даже три кружки пива пропущу. У вас там климат холодный, так что особого вреда не будет; но и вообще, хотя бы чаю попить в милой семейной обстановке! Скоро и я, если доживу, потянусь, бездомный, на ваш огонек. Может быть, возобновятся и батилиманские вечера с Диккенсом! Как было бы хорошо!

Но только теперь, если опять буду угощать Вас конфетками, то знаменитой «гафы»[226] я уже не повторю!

Если бы Вы могли только понять и представить себе, как мне особенно остро захотелось вырваться отсюда, когда вчера Сандеры получили наконец свое долгожданное разрешение на въезд в Германию! Хлопочите, Пумзик, и обо мне; ради Бога!

Посылаю Вам кучу снимков, но только ужасная обида: снимки, которые я сделал в воскресенье в Саккаре, в гробнице Птахотепа[227], вышли, как видите, очень плохо, ибо я, желая сделать лучше, перемудрил и очень сильно передержал. Вышла серая муть. Так всегда выходит при передержке. Зато другие снимки, из Арабского музея, недурны. Nicht? Делайте мне скорее фотографические заказы, пока я здесь. Завтра, в четверг, иду снова в Арабский музей.

В Саккару мы поехали с Форкаром в субботу под вечер. Ночевали там же в домике Мариетта[228], проснулись до восхода солнца. Восход же был красоты неописуемой, когда на всех холмиках и неровностях почвы, а также на правых гранях всех видимых оттуда пирамид, среди общего сизо-фиолетового тона, появились внезапно ярко-розовые края от взошедшего солнца. Это продолжалось не дольше десяти минут, а потом это был уже день.

Пальмы в Мемфисе поразительно сейчас красивы; висят тяжелые гроздья фиников, желтые, красные и красно-черные.

Все-таки хоть и скучно здесь вести опостылевшую мне одинокую жизнь, но как хорош сам край! Подождите, мы еще вернемся сюда, моя дорогая коллаборатрисочка, ибо qui a bu l'eau du Nil[I] и т.д.[229]

Нам нужно съездить с Вами (только с Вами) и в Палестину, и в Алжир, и еще раз в Верхний Египет.

Я получил довольно длинное и интересное письмо от Рериха из Америки. Он не знает, что Европа сливается для меня с именем Людмилицы, и удивляется, зачем я туда еду. Он пишет про Европу: «Там – сумерки Богов, и где-то черпнуть Востока – сейчас это большое счастье». А потом отвечает мне на одно место моего письма, где я ему жалуюсь, что некоторые люди обвиняют меня в старости: «Ты пишешь о старости и о молодости. Ни того, ни другого не существует, ибо дух наш одинаково стар и молод».

Молодчина Рерих! Верно сказал. Намотайте себе это на ус (хотя уса-то у Вас и нет), Людмилица. Все же это слова крупного и настоящего избранного Человека, а не разных маленьких простолюдей, которые меряют все на свою мерку. Молодчина Рерих! Правильно!

Ну, моя милая и дорогая сотрудница, и прочая и прочая, Вы, вероятно, будете удивлены, что я сегодня так поразительно краток, но вместо всех моих писем к Вам достаточно было бы двух коротеньких слов, которые Вам давно известны, местоимения и глаголы! Новостей же нет никаких. Работаем, ходим в кинематограф, едим манги, виноград и финики, вообще обычная антикханская жизнь или – прозябание. Морды у маркиз сделаны и, entre nous soit dit[II] (шепотом), препаршиво; но для Мидхата сойдет. Я никогда не претендовал быть ни Репиным[230], ни Серовым[231].

Ответьте непременно и не забудьте: где мне покупать хорошую городскую одежду для зимы, здесь или уже в Берлине?

Ну, целую Вас во все десять пальчиков. Заказывайте, заказывайте, что Вам везти. Скарабеи[232] куплены будут, разные бусы и

[I] Кто испил воды из Нила (*фр.*).

[II] Между нами говоря (*фр.*).

тряпочки тоже. Все свои коврики и настилки привезу, конечно. Ну, всего, всего хорошего.

Ваш старый Джон.

P.S. Не нужно ли немного деньжат? У Вас, вероятно, много расходов.

37

17–20 сентября 1922

17.9.1922. Воскресенье. 12 часов ночи.

Дорогая Людмилица,

Сегодня я целый день отдыхал, т.е. ленился и ничего не делал. Утром был в Арабском музее, где продолжал снимать дерево. Хочу его взять очень полно. Заранее не знаешь; м[ожет] б[ыть], и пригодится.

Была там и мисс Корби. Она – молодчина. Изучает Каир вовсю и вообще не унывает; и куда же она интереснее Сальши, которая сейчас, между прочим, находится в периоде увлечения каким-то молодым французиком. Это – последняя новость: у Сальши – роман. А вторая новость, что она передалась Магдалине; будет там с нею и вообще перешла, значит, в тот лагерь. Они всегда вместе, и я сам, идя раз утром около 9 ч[асов] утра к столяру, увидел, как на нашей площади Soleiman Pasha они садились в такси. По отзывам видевших этого жениха вблизи (Сандеры, Белобородов), он оставляет впечатление приказчика, желающего держать себя утонченным и щеголеватым типом.

Корби же все носится со штудированием древностей. Она мне сказала, что это – ее счастье, и, занимаясь этим, она забывает все misères de la...[1] [*последнее слово неразборчиво*]. Между прочим, она мне достала на одну неделю полный текст на французском языке легенды об Антаре[233]. Книжка 1878 года; вероятно, таковой уже больше нет в продаже, но я все же попытаюсь выписать, зная название и издание.

Какое интересное дерево в музее! Милая Людмилица, мы должны еще с Вами поработать в восточных странах. Ну, конечно, готика прекрасна и интересна; но на что она нам, великорос-

[1] Лишения (*фр.*).

сам, славянам с громадной примесью восточной крови! У меня же с Вами есть одно несомненное общее, одна и та же национальность и одинаковая большая любовь ко всему нашему. Сколько здесь неразработанного сырья и какие тут можно делать работы. Вы это и сами знаете, а буду соблазнять Вас, когда приеду.

Вчера я написал Вам четыре страницы, возмущаясь на одну пущенную на меня клевету, а сегодня все разорвал. Слишком длинно и неинтересно. M[ada]me Степанова пустила слух, что видела меня в непозволительном состоянии в [«]Ciros'e[»]. Я даже хотел ей написать грозное письмо, да меня отговорили. Дело же в том, что я действительно поругался в [«]Ciros'e[»] с д[окто]ром Новосильцевым[234], хлопнув кулаком по столу, когда он, в припадке антисемитической мании преследования, сообщил мне, что все честные русские бедствуют, а все мало-мальски устроившиеся и имеющие кусок хлеба находятся на службе у «жидов». Это – суть дела и это – все.

Работаем, как никогда. Гоним вовсю. Сейчас не до кутежа. Кутеж будет, как Вы мне сами написали, с милой Новеллой Евгеньевной, а пока, извините, воздержимся.

Помните одно, Людмилица, хотя я в этом-то письме совершенно не хотел касаться этой скучной темы: я Вас держу в курсе своего «поведения» и ничего, кажется, до сих пор не скрывал; а посему иду с совершенно чистой и спокойной совестью спать. Чикс. М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

19.9.1922. Вторник.

Милая и дорогая, дорогая Людмилица,

Вчера и сегодня я чувствую себя почему-то очень хорошо. Иногда так бывает; а со мною этого давно не было. Чувствуешь, что жив, что ничто не болит, всех любишь (т.е., конечно, не совсем-то всех), и вообще рад, что можешь идти, дышать и смотреть. Я знаю, что, если доживу, двинусь довольно скоро в путь, если будет виза. Au nom du ciel! Um Gottes willen![1] И увижу Людмилицу! Я знаю, что и она мне будет больше рада, чем когда я приходил надоедать предложениями пойти в [«]Космограф[»]. Сад [«]Connaught House'a[»], а я снизу кричу: «Люд-ми-ли-ца!»

[1] Во имя неба! (*фр.*). О Боже! (*нем.*).

Тогда из окна показывается Людмилицына голова: «Ну что Вам надо?» Ну и т.д. Это Вы и без моего описания можете вспомнить. А ведь хорошо было! Погодите! Будет что-нибудь и получше!

Пусть это будет присказка, а теперь пойдет сказка.

Сегодня у меня был некий рецидивчик давно прошедшего. Я ведь давно закаялся, о чем говорил и Вам, и О[льге] В[ладимировне], покупать, как я их называю, твердые предметы. Но приехал сегодня утром на своем автомобиле д[окто]р Форкар, забрал Ольгу Влад[имировну] и меня, и мы покатили в Старый Каир, на католическое кладбище, к антиквару монаху-францисканцу.

У него громадные кучи разных черепков, целых и битых вещиц, всего, что находят в Египте. Словом, чтобы найти что-нибудь, надо производить des fouilles[1], а Вы сами понимаете, как это заманчиво. Ну, мы с Олечкой и набросились. Я увидел, что она увлекается скарабейчиками, и не мешал ей; сам же облюбовал две длиннейших полки, покрытых слоем пыли толщиной в палец, на которых были густо понапиханы фигурки эллинистического Египта Александрийской эпохи (I–II в. христианской эры) из обожженной глины. Я наснимал много таких штучек в Александрийском музее и снимков Вам, кажется, не посылал (не помню, напишите). Это, очевидно, были дешевые изделия, делавшиеся для громадного распространения. Они мне очень нравятся, и эпоха в них сильно сказывается. Конечно, нет ни малейшего сомнения, что все это – самое подлинное, ибо у туриста спроса на эти вещи нет, а потому их и не подделывают. Кроме всего прочего, я их очень хорошо знаю. Купил что-то свыше 25 штук; это – уже маленькая коллекция; а т[ак] к[ак] выбирал художник, много снимавший в музеях, то выбрал я сливочки и могу сказать, что есть вещицы ничуть не хуже музейных. Тут есть и женщины с причудливыми головными уборами и просто головки, боги Гармакисы[235], конь, верблюд, собачка, голова быка с египетским знаком божества (круг) между рогами, но в эллинской трактовке и т.д. Я сниму несколько своих (как гордо!) вещей и пошлю Вам снимки. Думаю, что скоро снова отправлюсь к этому монаху и еще пополню свое собрание. Только как все это вывозить?!

Затем я купил для одной милой особы с кляксиком на глазу четыре очень хороших фостатских черепка. На одном – какой-то

[1] Раскопки (*фр.*).

бородач в чалме и с инструментом в руках, вещица – прямо музейная. Это Вам память о нашей работе. Ваши рисунки сейчас печатаются в Европе.

И, наконец, купил еще немного египетской мелочи, чтобы делать презенты.

За всю кучу заплатил 3 фунта. Совсем недорого.

Сегодня купил листок почтовой бумаги с цветочком в углу (самый хамский) и конверт на розовой подкладке. Будем писать вместе с А.А. Бибиковой письмо на вульгарном французском языке от какой-нибудь Annette или Lisette[I] и пошлем его Тихому.

Все сюрпризы. Люди обнаруживаются иногда вдруг в совершенно неожиданном свете. Вся доброта Тихого, отзывчивость, рассеянность, одним словом, все его известные нам качества остаются, конечно, при нем, но оказывается, что он не только просто посещает дансинги, но и самым настоящим образом ведет образ жизни холостого забулдыги со всеми онерами[II]. Я его не осуждаю, но когда мужчина за сорок лет уподобляется Левушке Каринскому, то это ужасная душевная пустота и большой упадок. И почему хорошие женщины не ведут себя свиньями, а мужчинам можно? И что хуже всего, так это то, что пьет он в разных местах... лимонад. Идти в эти вертепы в трезвом виде – этого я не понимаю. Ай да Кирилл! Знаю я это от его вечного и верного спутника Готлиба, с которым я ежедневно вижусь в клубе, куда хожу ужинать.

Готлиба же я сегодня ругал, сказав ему, что если ему другой никто не скажет, то я скажу, что он быстро скользит вниз по наклонной плоскости, а движение вниз имеет большое и постоянное ускорение. Он пропил в неделю и вообще «прокутил» все свои сбережения, 60 фунтов, а теперь сидит мрачный и говорит: «какой я дурак».

Я советовал ему уйти из дансинга, где он играет по ночам, и перейти в ресторан «Петроград»[236], куда его приглашают. Там дают на три фунта меньше, но зато он не будет вечно иметь перед глазами эту гнусную, пьяную и развратную обстановку.

Вот какие у нас дела в нашем уездном городишке.

[I] Аннетта, Лизетта – французские женские имена.

[II] Искаж. от honneurs – почести (*фр.*).

Завтра утром идем вместе с О[льгой] В[ладимировной] на свидание с Корбина Муски около Хан-Халиля, а оттуда пойдем осматривать разную арабскую древнюю архитектуру.

С Лелявскими вижусь часто. Он хотя и эгоистище, но вполне дельный и все же недурной человек. Главное, что я ценю в них, это то, что я уверен, что они, когда уйдешь от них, продолжают о тебе хорошо отзываться, так же, как и мои друзья Бибиковы. Тогда как Ек[атерина] Михайловна – баба фальшивая, в глубине души недоброжелательная и опасная. Не думайте ничего, у меня с ней самые «дружеские» отношения, только раскусил я ее окончательно. Дрянь баба! Вот, например, Бибикова: вертушка, лохматая, но самый простой, милый и незлобивый человек, и она совсем не глупенькая, а совсем даже наоборот. Когда видит человека, то сперва думает о нем хорошо.

Получил открытки от моих французских докторов, от Переца и другого. Во Франции они и шлют приветы. Ну, кажись, все изложил, что знаю. Ого, час ночи. Ну а ладонь Вашу поцеловать можно? Привет Новелле Евгеньевне, хотя ведь еще письма не кончаю; завтра буду кончать. Чикс. М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

20.9. Среда.

Милая Людмилица, вот мечтаешь все время увидеть скоро Вас, а вдруг возьмут нас здесь да и засадят снова в камп? Турки воюют, большевики хотят им помогать, а если этот идиотизм совершится, то это будет враждебный акт Совдепии по отношению к Англии[237], а нам, русским, вообще не верят; разбирай там, какие мы! Не дай Бог, чтобы снова началось это бедствие!

А пока что – визу! Ради Бога, визу! Если Коган не подходящ, то отберите от него все мои бумаги (Fragebogen[I], фотографии и пр.) и действуйте, молю Вас, через кого-нибудь другого.

Счастливые Сандеры! У них уже все готово; мне же надо сидеть еще месяца полтора-два! Я Бибикова хотел было «распустить», а теперь оставляю до конца. Спасибо за открыточку. Хоть и открытки, а все же весточки, и беспокойства нет, и вообще куллу квайс[II]! (помните еще?)

[I] Анкета (*нем.*).
[II] Все хорошо (*араб.*).

Теперь жду и длинного письма. Пора; ну да ничего. Вы не чересчур дежурьте, как в Батилимане, по кухне. Ваше рисованье важнее коржиков. Бабушку Вашу надо отправить в Прагу. Трудно Вам работать. Крепитесь. Заработаем вместе; а коржики – ерунда!

Посылаю Вам целую кучу снимков. Завтра опять иду снимать. Надо снимать систематически и по отделам. Думаю, с деревом завтра покончу. Примусь тогда за камень.

Немного почитываю по этой части, чтобы лучше разбираться в материале; только ужасно некогда. Неизвестно, откуда явился новый запасец энергии. Это все периодически.

Сегодня бродили с Корби (и с О[льгой] В[ладимировной]) по старым мечетям. Попытаюсь, несмотря на чинимые трудности, поснимать и в них.

Ах, Людмилица, Людмилица! Если бы Вы были тут, сколько нам было бы еще дела! Ведь здесь непочатый край!

Я теперь все время прощаюсь с Каиром. Не люблю я этих европейских городищ, этих громадных нивелировочных учреждений.

В Европе мы гораздо больше эмигранты, чем здесь; здесь же, такие, как мы с Вами, работая над изучением Востока, мы бы продолжали делать самое подлинное русское дело.

Но все же... визу, визу и визу! Ибо оставаться один я не могу больше.

Я надеюсь, что Вы там поймете или, быть может, уже поняли, что вымышленные своим воображением принцы – чепуха, что отсутствие взаимной любви к общему любимому делу – пустота, что никакой новой морали нет. Мораль одна и прогресс человечества один – постоянное удаление человека от зверя, а то, что они сейчас там снова проповедуют звериное, так это просто временный упадок и следствие разложения.

Я Вам, кажется, рассказывал, а может быть, и писал в своих бесконечных письмах (всего ведь не удержишь в памяти, что было написано), про один мой сон, который я видел в Ростове после бурных прогулок, скажем, с Ломакиным.

Ночь. Грязная улица какого-то омерзительного городишки, застроенного полуразвалившимися кривыми и косыми лачугами. Я с трудом пробираюсь вперед, а навстречу мне непрерывным потоком бегут, падая, кривляясь, лепясь и хохоча, какие-то га-

ды, полулюди, получерти, одноглазые, с головами величиной с котел, кривобокие, носатые, страшные и отвратительные; и нет конца им.

Впереди улица раздвигается; площадь – не площадь, и стоите там Вы, светлая, тихая, неподвижная и лучезарная; а в темно-синем, бархатном ночном небе ярко горит над Вашей головою ослепительно сияющая звезда. Гады обтекают Вас со всех сторон, а Вас не трогают.

Не помню, что дальше было; улыбнулись ли Вы или нет. Не в том дело, а в том, что сон красивый и хороший. Это Вы – такая, и так Вы запечатлены в моей душе.

Ужинал, как всегда, в клубе. Подсаживается ко мне Тихий. «Я, – говорит, – все к Вам собираюсь, да все некогда».

Я же ответил: «Дансинги много времени отнимают?»

– «Что? Что такое?»

– «А то, что нехорошо, и двойку Вам за поведение, старому человеку; у меня хорошая информация и я все знаю».

– «Ну, кто не согрешит, тот и не покается».

– «А все же нехорошо, муш квайс[1]!» Ну и т.д.

Пусто у бедного Кирилла внутри; ничего там нет, а главное, нет никакой цели. Я его очень люблю за его доброту и отзывчивость, но все же обидно мне, что он уже почти и не человек, а так, нечто очень доброе, очень бестолковое (хотя он дельный адвокат) и очень суетливое. Например, настоящим приятелем быть с ним нельзя. Я несколько раз пробовал заводить с ним долгие и настоящие беседы, а он, в самом серьезном месте не расслышав вас и перебивая, начнет рассказывать анекдот о Суворове.

Пойду выпью чаю, а тем временем набегут новые мысли.

Приходила сегодня Лелявская со своим Джикки (терьер). Джикки был, быть может, прав, не поняв, что моя комната с ширмами есть комната. Ему показалось, что это нечто непонятное, улица не улица, но и не жилое помещение, а потому он храбро поднял у ширмы заднюю ножку, не был вовремя остановлен и осведомлен, что это – жилая, человеческая комната. Все зеленые

[1] Нехорошо (*араб.*).

(т.е. бывшие зеленые, а теперь полузеленые, полубурые) куски материи на этих знаменитых ширмах снизу отцепились и гордо развеваются на сквозняке, точно какие-то флаги. Очень много паутины, моли (хотя у меня всюду понатыканы нафталиновые шарики), муравьев и мышей. Если бы я прожил здесь дольше, то и сам превратился бы в паука.

Это так и должно быть, ибо я здесь не «живу». Неужели Вы думаете, что я не мог бы завести какую-нибудь обстановочку? Конечно, да; только зачем мне это? Может быть, где-нибудь еще и заведем.

Мастерская все такая же; только так называемый «диван» превратился в складочное место для палитр.

Людмилица, визу, визу и визу! Сегодня я Когану не пишу. Похлопочите изо всех Людмилицыных сил. Я за это поцелую Вас в кончик левого ушка.

Сегодня я начал покупать дамские подарки для семьи Чириковых. Купил на Хан-Халиле три кожаных сумочки, Вам, Вашей маме и сестре Вашей Новелле. Вам же и той же сестре Вашей купил два экземпляра бус. Это только начало. Напишите, что Вам надо привезти? Красных туфель не надо? Если да, пришлите мерки.

Ну, Людмильхен, целую Вас в ручку, куда Вы разрешаете, а может быть, и... Привет Вашей маме и Новелле Евгеньевне. Визу, визу и визу! Боже, как я Вас хочу скорее увидеть!!!

Ваш верный пес, маэстро, супер-друг, Бум и пр. и пр.

Еще раз Kuss die Hand! И. Б. М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

38

23–27 сентября 1922

23.9. Суббота, час ночи.

Милая, дорогая, хорошая Людмилица,

Начинаю с того, что пора идти спать, ибо сейчас время, когда я обыкновенно кончаю писание писем; но я зато весь вечер рисовал Рамсеса и все время думал о Вас и разговаривал с Вами, так что Вы уже сами представьте, что я Вам насказал. КАК Я ХОЧУ ВАС УВИДЕТЬ! Ну, чикс. Ваш И. Б.

24.9. Воскресенье.

Опять то же самое, и опять час ночи. Утром был в музее и продолжал снимать разное дерево. Там еще съемки на две осталось, т.е. дерева, а потом перейду систематически на камень, но перед этим сделаю, в виде дивертисмента, маленькую прослойку и сниму штук двадцать орнаментальных ажурных горлышек от гаргулеток[I]; помните еще?

Затем скучно обедал в клубе. Ужасная тоска; кладбище какое-то! Ни одной живой интересной души; не люди, а так, пиджаки с брюками да еще бесформенного и поношенного фасона. Приплелся домой и сел «почитать» в кресло, а так как сегодня диманш[II] и, следовательно, коллабoратеров нет, то никто и не будил, и я, о ужас, продрых до половины шестого!

Попил чаю с финиками, зашел к Каттауи, сказал какую-то великую истину и снова побрел в клуб; съел что полагается, вернулся тем же трактом домой, купив по дороге на завтрак колбасы, и сел рисовать Рамсеса. Рисовал с 10 до часа. Вот и все. Telle est la vie![III]

Все же, как ни бодришься, невероятно скучно, одиноко и как-то безнадежно пусто.

Как хотите, я завтра пойду с Бибиковым в [«]Космограф[»]. Работа у нас кипит. Делаем последнюю штурмовую атаку маркиз. Мною отдан приказ, чтобы в неделю оба панно были кончены, наддверный полукруг может запоздать на несколько дней.

Хотя фигуры-то уже готовы, и я мог бы считать себя свободным от этой работы, но для ускорения и я буду завтра мазать разные там фоны.

Контур всадника (незнакомый Вам господин) совершенно закончен на кальке; частью сведен, но еще не прорисован на картонах (их два). Оставляю себе в помощники Бибикова и не знаю, кончим ли мы в месяц.

Ну, конечно, очень устал, оттого так и задрыхиваешь в кресле, стоит лишь сесть в любое время дня.

Фотографирую снова запоем, но только деньжищ это забирает бездну; ну да ничего. Мы из этого что-нибудь сделаем; может быть, издадим; но главное — это то, что одна повелительница бу-

---

[I] Gargoulette — пористый сосуд для охлаждения жидкости путем испарения (*фр.*).

[II] Dimanche — воскресенье (*фр.*).

[III] Такова жизнь! (*фр.*).

дет довольна, получив столько арабского материала, которого не найдешь ни в одной книге.

Милая повелительница! Хлопочите о визе. Не нужно ли Вам материи какой-нибудь? Может быть, Новелле Евгеньевне что-нибудь нужно? Я – с удовольствием, даже с радостью. Не знаю только, как на таможнях. Напишите мне о разных таможенных осмотрах, как с Вами было.

Ведь, чтобы попасть к Вам, нужно пересечь тысячу одно государство.

Я жалею, что насплетничал Вам про Тихого. Он тоже глубоко одинокий человек. Я хоть, может быть, и безнадежно, но все же на что-то надеюсь (dum spiro, spero), а он уже и не надеется, уже капитулировал. Я смотрел сегодня на его спину, как он в каком-то невероятном облачении сидел и крутил шеей, а потом срывался с места и куда-то все время бегал, и мне стало его ужасно жаль. Моя жизненная ступенька еще гораздо выше его ступеньки, и он мне очень искренне сказал: «Если бы Вы знали, какая у меня тоска!»

Ну, милая моя центральная точка, пойду спать. Завтра утром встану, войду в мастерскую и сделаю мушкетерский поклон Вашему портрету, а т[ак] к[ак] приехала к Вам и Новелла Евгеньевна, то сделаю поклон и ее портрету. Передайте ей, что у меня к ней дружественные флюиды и я считаю ее своей союзной державой, тогда как Валя, как мне чуется, мне не союзница. Напишите мне хорошее, хорошее, теплое и самое задушевное письмо. К. я В. л.[238] Ну и конечно, согласно Вашему разрешению, целую Вашу доблестную лапку. Ваш barbu[1] (только не читайте этого слова по-русски ВАРВИ; это – по-французски). М[естоимение] – г[лагол] – м[естоимение].

P.S. Боже мой! Сколько раз я в одном и том же письме с Вами здороваюсь и прощаюсь.

25.9. Понедельник.

Опять то же. В [«]Космограф[»] не попал. Сегодня я написал и нацепил на дверь ультимативный приказ моим коллаборатерам, чтобы к субботе маркизы были готовы. Сам я тоже работал весь день по малярной части. Почти готово.

[1] Бородач (*фр.*).

Вы, конечно, сказку про осла получили. Хорошо, что Вы хотите ее сделать. Делайте непременно.

Если будете писать шрифт для заглавия, то, между прочим, обратите внимание на фотографии досок с куфическими[239] надписями, которые я Вам посылаю. Я поставлю на обратной стороне снимков нотабене – NB. Посмотрите, как красиво сочетаются буквы с мелким растительным орнаментом. Можно ведь также вплести в надпись и славянские буквы. Ну да это Вы, вероятно, будете делать после, когда я буду вместе с Вами.

Неужели это снова будет, что я буду делать Вам указания лично, а не изводя бесконечное количество листиков почтовой бумаги!

Я знаю, что мы с Вами еще наделаем дел и, может быть, эта теперешняя разлука закрепит основательно наши отношения. Ну да ладно. Dum spiro, spero; а «всадником» моим Вы будете довольны.

Я очень рад, что снимаю в Арабском музее. Беда только, что снимать по такой полной системе, как я начал, хотя оно и очень ценно и интересно, весьма, однако, накладно. Сравните хотя бы те фотографии, которые Вы от меня получили, с главою о дереве в Manuel d'art Musulman[1], кот[орое] Вы имеете, и посмотрите, как те снимки, которые помещены в этом издании, серы и неясны и материалом служить почти не могут. Али-Бея пока нет; я и пользуюсь. Абдул Азим и другой, маленький Рашад-эфенди (помните?) любезны в чрезвычайности. Стекла снимать не буду; металла, вероятно, тоже. Камень сниму обязательно. Майолики – боюсь, как бы не отказали; получать же отказы неприятно.

Для издания снимков без меня никому не давайте. Это уж мы с Вами вдвоем составим монографию и издадим. Некоторые снимки мы увеличим, и получатся дивные таблицы.

Эх, сорвать бы еще где-нибудь (т.е. продать какую-либо мелочь) фунтиков 30, 40 и, сдав все работы, поснимать здесь на прощание в течение одной или двух недель!

Когда я приеду, Вы должны мне посвятить целый день, чтобы говорить и говорить без конца. Какой это будет для меня счастливый день!

А потом, в рабочем отношении, мы поплывем прямо, твердо и смело, не обращая никакого внимания на разные фырканья. На-

---

[1] Руководство по исламскому искусству (*фр.*).

до верить в свою линию, а футурье вымрет, как и многое другое, что оскорбляет нас и причиняет нам боль.

Ну, однако, второй час. Довольно философии. Смотрю сейчас на маркиз. Синие углы их очень украсили. Все же, хоть и Louis XVI[1], но получилось в общем красиво и нарядно. Когда все докрасим, сниму и пришлю снимки.

А все же свежих фиников у вас там нет!

Перед отправкой ко сну сообщу Вам важную весть, что другой такой Людмилицы, как Вы, нет и что вообще Вы – самая лучшая. Чикс.

27/9. Среда.

Вчера был вторник, а писем не было. Вот, снова грустная неделя. Я стараюсь изо всех сил, сидя в далекой Африке, чтобы доставить Людмилице хоть какое-нибудь удовольствие, и фотографии посылаю, и сказки перевожу, кланяюсь портрету, послезавтра (именины Людмилицы) поднесу ему цветов, постоянно и постоянно думаю о ней, а она не может написать даже открытки. Повторяю, Kindchen, что открытку можно написать при всяких обстоятельствах, ибо это – почти нулевая затрата времени.

Очень и очень нехорошо.

Надеюсь, чтобы загладить свою вину, Вы особенно энергично приметесь за мою визу.

Сегодня я совсем обалдел. Мазал на ролях подмастерья низшего разряда междурамочное пространство; начал в 9 утра и промазал, оторвавшись только на час для еды, до 6-ти часов вечера, когда начинаются сумерки.

Потом пошел в клуб. Зашел в комнатенку (рядом с кухней) Тихого. Он болен и лежит. Боже мой, на чем лежит он! Наволочка, от природы белая, превратилась в нечто темное буро-серое. Простыни тоже желто-серые. Кругом груды самых разнообразных беспорядочно накиданных предметов. Лежит он в какой-то тоже несвежей пижаме и что-то читает.

– «Что с Вами, Кирилл Осипович?»

– «Да так, умираю понемногу, а мне нельзя; у меня масса дел. Вот доктора велели лежать, а я через два дня встану».

---

[1] Людовик XVI (*фр.*).

Потом он посмотрел на меня, и на глазах у него показались слезы.

– «У меня такая тоска, такая тоска... оттого я и в дансинги ходил; только больше не буду; ну их к черту!»

– «Устройте себе цель в жизни, К[ирилл] О[сипович], тогда легче будет. Ведь Вы же магистр римского права; обдумайте какую-нибудь тему и пишите...»

– «Ах, разве я могу теперь что-нибудь! У меня все в голове перепуталось. У меня единственная цель – это пожить еще немного и постараться не умереть».

Бедный Тихий! Корабль, плывущий без цели и без рулевого. Таких кораблей много, и как невыносимо тоскливо быть на таком корабле!

Бибиков сегодня меня раздражал. У нас объявлен последний и решительный штурм. О[льга] В[ладимировна], конечно, из кожи лезет; брат ее тоже; а этот генерал появился с опозданием на час (я демонстративно посмотрел на часы и громко хлопнул крышкой), т.е. явился ровно в четыре, и ушел ровно в семь, т.е. работал не четыре, а три часа. Минут тридцать с невероятной медленностью мешал на палитре краски. В 5 ч[асов] мы «подали» их превосходительству чай, причем ни я, ни Яков Влад[имирович] из-за спешки не пили, их же превосходительство отправилось кушать чай и кушало минут пятнадцать. Работает он хорошо, но с медленностью черепахи, и ему решительно все равно, спешка или нет. Я все время внутренне кипел, но ничего, окончили, вышли вместе и мирно беседовали.

Я ведь к нему очень хорошо отношусь, очень ценю его, т[ак] к[ак] человек он культурный и серьезный, но только иногда он просто выводит из терпения своей каменностью, медлительностью и невозмутимостью.

Приходил Каттауи в затруднительном положении. Мастерская обещана Бибикову, а теперь фон Паузингер, австриец-художник, бомбардирует Каттауи письмами, умоляя его сдать ему мастерскую. Каттауи неудобно отказать Бибикову, но я прекрасно понимаю, что австриец, очень легкомысленный и компанейский старец, кутила и весельчак, любитель женщин и вообще хоть куда, в тысячу раз приятнее Каттауи, чем этот молчаливый сфинкс

Mr Bibikoff[I], не сказавший Каттауи ни одной любезной и приветливой фразы.

Каттауи любезно здоровается со мной (я ему также отвечаю: comment ça va?[II] и пр.) и столь же любезно здоровается с Mr Bibikoff, а тот даже не оборачивается, а только издает какой-то односложный и совершенно непонятный гнусавый звук. Каттауи начинает мне рассказывать, что он опять получил письмо от Паузингера, но что он откажет ему, но не знает, где этот brave homme[III] найдет себе мастерскую, и т.д.

Бибиков сидит, как каменная глыба, точно это его и не касается, а когда Каттауи ушел, то он медленно обернулся и величественно прогнусавил: «Кажется, речь шла о мастерской? Но не может же он пустить сюда этого австрийца, раз он обещал мне».

Я, ей-богу, хотел отколотить его в эту минуту и сказал ему: «Тут все может быть, Александр Серг[еевич], а Вам бы я, простите меня, советовал для Вашей же пользы говорить Каттауи время от времени какую-нибудь приветливую фразу».

Вот идолище-то! Оттого ему так и не везет здесь. Однако я боюсь, что я останусь совсем без коллаборатеров, так как, кажется, какой-то другой архитектор хочет пригласить Бибикова в сотрудники. Это ему, конечно, важно, т[ак] к[ак] он остается здесь, а я уезжаю.

Скоро пойду в Гелуан и подумайте к кому: к Кушнирам и Наркирьеру[240]. Опять неожиданности. О[льга] Вл[адимировна] мне рассказывала, что она ездила с П[етром] Ф[едоровичем] к ним прощаться перед отъездом, а те (imaginez-vous[IV]) отзывались обо мне со всякими похвалами, находя, что я серьезный и положительный человек. Я, правда, раза три подолгу беседовал на разные темы с Наркирьером; он вполне культурный человек, и поговорить с ним приятно. А Вы-то говорили мне, что они меня терпеть не могут!

Вашу же «мать» они недолюбливают. Когда, говорят, они ей были нужны, она к ним часто ездила, а теперь и носа не кажет.

Вас очень хвалят, но говорят, что Вы нехорошо поступили, не попрощавшись с ними.

[I] Господин Бибиков (*англ.*).
[II] Как дела? (*фр.*).
[III] Славный человек (*фр.*).
[IV] Представьте себе (*фр.*).

Мог бы еще написать ряд наших провинциальных сплетен, только не стоит.

Ах да! Как быть с Вашей «шубой», на которой и я, и О[льга] В[ладимировна] очень часто сидим, когда надо сесть повыше? Напишите непременно, везти ли ее Вам или завещать кому-нибудь. Последнее, думаю, лучше.

Еще напишите, где мне заказывать одежду, здесь ли или у вас, и где чинить зубы? Говорят, что последнее лучше делать у вас.

Если Бенаки приедет не позже середины ноября, то я его подожду, т.к. я могу продать ему кое-что, а это важно. Получить еще фунтиков сто, да ведь это было бы прекрасно. Ну, милая Чикса, ждите меня; лучше меня товарища не найдете. Я уж и не знаю, право, как доказать мне Вам то, что я готов для Вас сделать. Нужно, чтобы Вы попали в горящий дом, чтобы никто не решился войти туда и чтобы только я один бросился туда и вынес Вас на своих руках целую и невредимую (см. [«]Космограф[»], [«]Обелиск[»], [«]Empire Kleber[»][241] и пр. и пр.). Только лучше пусть уж такого эксперимента не будет, nicht? Целую Вас в ручку, с переводом на французский язык не словом main, а bras[I]. Привет Вашим. Ваш до [*нарисован гроб*] der treue Bum[II].

39

1–5 октября 1922

1 октября. Воскресенье, 1922 год.

Милая Людмилица,

Только что вернулся из кинема («Обелиск»), где был с Лелявским. Видел на экране хорошенькую американку. В зале сидела эта певица, которая была у нас, гр[афиня] Ланская[242], что ли. Ужасно у нее страшный вид; какая-то развалина с безумными глазами.

Пришел домой; всю дорогу думал о Вас, а теперь решил пописать с полчасика. Тоскливо, Людмилица! Ничего, ничего нет для душевного отдыха. Днем работа, как никогда. Маркиз вчера окончили, как я и хотел, не переваливая за сентябрь, хотя это не

[I] Main – кисть руки, которую целуют, приветствуя даму; bras – собственно рука (*фр.*).

[II] Верный Бум (*нем.*).

совсем так, ибо наддверный полукруг не совсем еще закончен, а потом пойдет эта несносная лакировка и вообще сдача вещей.

Маркизы вышли, в сущности, хорошо, но, конечно, на «Мир искусства» я бы их не поставил. Как я бился с их фотографиями! Переписывал раз шесть; то перекрасишь, то перебелишь, то выйдет угрюмая, то идиотка; ужасно трудно иметь дело с женщинами.

Веду я себя все это время так образцово, что даже самому скучно на себя смотреть. Только в сновидениях поступаю вольно. Ну, конечно, думаешь, вырисовывая какое-нибудь орнаментальное перпетуо-мобиле[243], всякую всячину; так ведь святому Антонию[244] даже мерещились самые разнообразные образы, а мне ничего не мерещится, хотя я еще не старец, не Антоний и не святой.

Вас вот я хочу увидеть всеми своими жизненными силами, только не в виде видения, а живую и настоящую милую и хорошую Людмилицу! Это все, что я хочу, сидя здесь один с муравьями и тараканами.

В Арабском музее начались трения, т.е. даже не трения, а попросту милейший Абдул Азим, называя меня своим «ласкательным» словом tchort [черт] и угощая кофеем, сказал мне, что он думал, что я сниму так с дюжину снимочков на память, а оказывается, что снимаю я серьезно; ему же, Абдул Азиму, это боязно, т[ак] к[ак] он боится, как бы что-нибудь не вышло, когда вернется Али-бей, который-де относится к музею очень ревниво и не любит, когда там снимают; вообще же он, Абдул Азим, очень меня любит и моих помощниц тоже и т.д. и т.д. Что же касается резного дерева из Фостата (очаровательные звериные орнаментальные кусочки в витринах, на которые я нацелился), керамики и гаргулеток, то об этом нечего и думать, т[ак] к[ак] Али-бей строго-настрого приказал, чтобы никто этих вещей не снимал.

Мне это очень досадно. Дерево без Фостата – это все равно что книга без первой и, пожалуй, самой интересной главы. Конечно, фатимидский[245] стиль тоже хорош. Дальше идут Айюбиды[246] (зверей уже пять, но есть цветы и листья), тоже красиво, хотя хуже. Но все же имея фостатские вещи, можно было бы дать непрерывный ход орнамента в Египте, начиная с коптов.

Вот и работайте в музеях. Делаешь эту мерзость, разных там ненавистных маркиз. Казалось бы, музей должен был бы дать

полную возможность заниматься тем, что тебя интересует; так нет же!

В Египетском музее я уже фактически не снимаю, зная, что, благодаря Квибелю[247], мне ничего из витрин больше не вынут.

Теперь я хочу поснимать немного камень в Арабском музее, пока меня еще терпят и дают все же кофе, а потом я перекинусь в Старый Каир, Коптский музей и коптские церкви, а также мне обещали выхлопотать разрешение снимать в мечетях. Как раз завтра пойду по этой части.

Все же, дорогая моя Царевна, как Вы видите, я не унываю и стараюсь всюду, где только можно, урвать серию снимков.

Несколько же фостатских деревянных зверьков я зарисую. Этого мне никто запретить не может, т[ак] к[ак] вынимать их я не буду.

Гаргулетки я сниму в другом месте, у одного антиквара. Если у Вас есть свободные минуты времени, то почитывайте иногда по истории арабского искусства; я делаю то же. Это нам пригодится. Ведь Ваши керамические кальки целы и у Вас?

Людмилица, в пятницу мы ходили с Сандерами под предводительством мисс Корби по арабской гуще, по старым домам и мечетям. Здорово. Какую я нашел тему для этюда! Только, ох, все это – благие намерения. Были бы здесь Вы; жили бы и жили!

Погодите! Мы с Вами должны еще вернуться на Восток, когда Вам наконец наскучат Ваши излюбленные городские муравейники. Найдите-ка в Вашем Берлине полузакопавшийся в землю, старинный каменный вход в дом с сохранившимся над дверью фатимидским орнаментом; вокруг какие-то лавчонки; продают халву или какую-нибудь грошовую дребедень, а двери этой восемьсот годиков! И таких дверей много. Я хочу сделать серию и таких снимков.

Да, днем-то еще как-то копошишься и все время занят, но по вечерам тоска невероятная!

Ну, пойду поищу Вас в садах сонного царства. Эх, Людмилица, Людмилица!

---

2 октября, понедельник.

Сейчас полночь. Вернулся из [«]Космографа[»], куда ходил с Бибиковым. Сейчас же иду спать, т[ак] к[ак] хочу встать завтра пораньше, а на писание писем имею еще два вечера. Целую Вас туда, где крестик [*рисунок руки с крестиком на запястье*]. Чикс!

Четверг.

Писем не было. Беспокоюсь, но писать не буду. Несправедливо это. Фотографий тоже на этот раз не пошлю.

Но, так и быть, сообщу Вам, что я получил разрешение фотографировать в мечетях.

Всех благ. Ваш И. Б.

40

18 октября 1922

18 октября 1922 года.

Милая и дорогая и единственная моя Людмилица,

Я много писал Вам в эти дни писем, но все рвал. Иногда мне кажется, что я неимоверно запутался и попал в непроходимый тупик, а иногда мне кажется, что я поступил правильно.

Я не буду Вам повторять, как я Вас люблю. Это – нечто громадное и необъятное. И все же я сделал совершенно неожиданный шаг. Конечно, я поступил как эгоист и как слабовольный человек.

Когда от Вас долго не бывало писем, я всегда находился в тревожном состоянии. Так было и тут. Два вторника прошли без писем, на третий приходит почтальон и приносит мне небольшое письмецо от Шурочки Щекатихиной, написанное самыми нежными словами, несмотря на то, что мы не виделись уже почти два года[248].

Через час приходит другой почтальон и приносит открытку от Вас, где Вы пишете о возобновлении Вашей дружбы с Д[роздовым][249], причем просите меня не пить. Сейчас я истолковываю это разно (т.е. о дружбе с Дрозд[овым]), всячески, но, во всяком случае, о таком видном происшествии нужно было написать больше. Тогда же у меня просто замерло сердце, и я решил, что вообще кончено дело.

Потом произошло то, что я, именно, не внял Вашей просьбе. Вечером провожали в Manriet'e Сандеров и пили шампанское (я привез). Ольге Владимировне я передал два письма, одно для Вас (очень, кажется, истерическое), а другое для Шурочки, ласковое, но ничего еще не обещающее.

В среду утром Сандеры уехали. Что я делал, Вы догадываетесь, но только пьян я не был ни чуточки, а так как нервы мои

были натянуты, как тетивы, то я находился в состоянии какого-то сверхвозбуждения.

Я и решился. Это – судьба, это не простое совпадение, что одновременно пришли два письма. В Берлине моя большая и настоящая любовь, но, может быть, и мои долгие и безрезультатные страдания; если Людмилица опять полюбит Д[роздова], которого я считаю недостойным ее, то мне смотреть на это будет невыносимо, а значит, меня не должно там быть; а с другой стороны уже не пустота, а очень милый и вполне нравящийся мне друг Шурочка, которая, не видав меня пять лет и не зная, что я за все это время делал, все же пишет мне нежное и теплое письмо. Людмилица мне как-то писала: приезжайте, мы Вам найдем невесту; она же писала мне многократно, что она любит меня как учителя и художника, предупреждала меня, чтобы я не ревновал, когда буду в Берлине, и т.д. Я и ахнул в Россию телеграмму: «Soyez ma femme; attendi réponse. B.»[I]. А через два или три дня получил ответ: «Consents[II] condition pas se separer de mon fils»[III].

Вот и все[250].

А потом на другой день и в следующие у меня начались невероятные терзания. Два голоса до сих пор спорят и бушуют во мне. Один кричит: «Что ты сделал? Ты сам, своею ненормальною волею отказался от Людмилицы, от твоей любви, самой большой в твоей жизни, от твоей Богини, от милой бесконечно любимой девочки с крапинкой на глазу?!» А другой: «Неправда! Ты только отважился наконец произвести ту хирургическую операцию, которую давно ты должен был сделать. Людмилица постоянно и неуклонно говорила тебе, что никогда не будет твоею женою, а там радостно откликнулись на первый твой зов!»

Теперь, Людмилица, попрошу Вас обдумать положение. Пришлось так, что приходится раз и навсегда ставить точку над i.

Шурочка настолько мой друг, что, вероятно, поняла бы мое состояние, если бы я ей все объяснил чистосердечно. Конечно, это большое оскорбление для женщины: получить предложение, согласиться на него, а потом увидеть, что его отнимают, но с дру-

---

[I] Будьте моей женой, жду ответа. Б[илибин] (*фр.*).

[II] Так в оригинале. Правильно – consens.

[III] Согласна при условии не разлучаться с сыном (*фр.*).

гой стороны, было ли бы счастье, если бы Вы, когда мое дело с Шурочкой считалось бы уже конченным, вдруг задним числом одумались и прислали мне свое согласие быть моею женою? Излишне сравнивать, как кого я люблю. Вы это знаете. Изучать и испытывать Вам меня больше нечего. Вы меня знаете вдоль и поперек. Курс изучения продолжался четыре года. Если бы я получил Ваше «да», то ради него я готов поступить подло по отношению ко всем женщинам земного шара. Итак, повторите мне Ваш отказ или пришлите еще возможное согласие.

Пересмотрите, если хотите, еще раз мои карты. Мне 46 лет. Я хороший художник. Старость близка. Если через пять, шесть лет в моей жизни снова случилась бы катастрофа, то тогда уж, конечно, мне предстояла бы одинокая грустная старость.

Вас я носил бы на руках, старался бы, насколько могу, не ревновать, обрился бы, если хотите, совершенно отказался бы от вина, был бы Вам и другом и учителем. Я бы старался помочь Вам выйти на широкий простор нашего искусства. О моей любви к Вам говорить нечего.

Если же Вы повторите Ваше «нет», то останемся такими же друзьями, даже не друзьями, а мы будем братом и сестрой, как будто бы мы родились от одних родителей. В любую трудную минуту жизни каждый из нас может постучать в дверь другого и быть уверенным, что дверь эта широко раскроется, а внутри будет тепло и ласка. Nicht? Если кто из нас запутается, другой поможет распутаться, а я скажу своей будущей жене (это если будет «нет», но не «да», конечно), что у меня есть не только брат Шура, но и родная милая и горячо любимая сестренка Мила. И это – мое; никому не дам тронуть этого!

Шурочка будет мне хорошей женой. Она устала и так же, как я, не ищет бури. Я ее выпишу в Египет, а весною поедем в Европу, в Париж через Италию. В Берлин в этом случае мне сейчас не следует ехать: надо укрепиться, а то боюсь, что будут рецидивы.

Я ведь, дорогая моя и милая Людмилица, не верю, что Синяя птица живет где-то далеко, а прекрасных принцев рисуют только на бумаге или описывают их на страницах книг.

Я хочу мирного очага. Милую и не мятущуюся подругу моей жизни, т[ак] к[ак] одиночество – моя гибель. Вы думаете, что я не устал? Боже мой, как я устал!

Что же мне Вам еще сказать? Подумайте и дайте мне знать. Вы сами знаете, какой ответ я жду больше. Но и при ответе «нет» у меня будет и тепло, и отсутствие одиночества, и дружба, а потом, конечно, возникнет и любовь.

Лично мне, в моем возрасте, слишком выбирать уже не приходится. Я считаю, что какая-то невидимая рука очень помогла мне. Все найдено и все есть. Пустота и метание в ней [в жизни] исчезли.

Не посчитайте, что, говоря Вам все это, я поступаю, как бы сказать, не совсем корректно по отношению к Шурочке. Отказ ей был бы внешней, наружной подлостью, но а если посмотреть по существу и со стороны внутренней? Я мог бы ей написать, что я не хочу иметь при себе ее мальчика; это неправда, но это – повод, т[ак] к[ак] прислала же она мне согласие с условием. Юридически – мое право принять или не принять условие, раз оно поставлено. Да и, наконец, если бы в последнюю минуту, проанализировав все, увидели, что Вы меня любите (<u>только в таком случае</u> соглашайтесь, а ни в каком случае – из жалости; этого я не хочу), то это все собою покрывает.

Да, запутался маэстро, что и говорить!

Поговорите с Ольгой Владимировной. Она мой большой друг. Не жалейте меня. Разница между Вами и Шурочкой главным образом та, что я был все время с Вами, а не с нею. Вас я полюбил, а ее только, так сказать, чувствую. Я уверен, что Шурочка мне даст то, что я и ищу; а вообще на свете есть много и много хороших и девушек и женщин. Но сейчас наибольшее и даже несравнимое тяготение к Вам.

Не сравните меня только, ради Бога, с покойным Нарбутом, который одновременно послал два любовных письма двум барышням и перепутал конверты. Я в отчаянии, что я все-таки поторопился и послал эту телеграмму. Теперь бы я поступил иначе: я бы сперва поставил окончательный вопрос Вам, а затем, в случае отказа, я бы послал эту телеграмму Шурочке, но <u>послал бы непременно</u>. Она мне нравится и как человек, и как художник, и наружностью, у нас с ней много общего прошлого, и я уверен, что все пойдет хорошо. У нее очень верный и очень милый голосок, и она будет напевать во время работы. Будет прочно и верно.

Ужасно пишу бессвязно и все разбрасываюсь. Ведь трудно, милая, писать такие письма.

Вы же перед тем, как решиться, вспомните все, Крым, Новороссийск (Ростова не вспоминайте), «Саратов» и все, все, что было в Египте, до наших собачат включительно.

Но помните, что дружба самая верная и крепкая останется. Писать я Вам буду так же и фотографии посылать, а если будет у Вас «мафиш-филюз»[1], то и несколько фунтиков тоже. Тогда, в случае Вашего «нет», сделаем эксперимент создать большую и действительную духовную дружбу, а если «да», ну, тогда «да» и халлас!!!

Итак, в Ваши милые руки вручаю судьбу свою. В письмо, которое я пишу Ольге Владимировне одновременно с этим, я вкладываю вторичное утвердительное письмо Шурочке, которая, всеконечно, ждет с нетерпением дальнейших известий. От Вас может быть или утвердительный ответ, или отрицательный, никакого среднего быть не должно. Т[ак] к[ак] я пишу обо всем этом и Ольге Владимировне, то она спросит Вас об этом. Если будет «нет», то она, по моей просьбе, отправит письмо Шурочке при помощи Вашей аэропочты. В письме, как я сказал, я подтверждаю свое решение связать мою судьбу с Шурочкой, а если будет «да», то письмо Шурочке не будет послано, а я напишу тогда отсюда другое. Посылать же сейчас «на всякий случай» другое у меня рука не поднимается. Мне и так страшно стыдно и перед Вами, и перед Шурочкой, что оно так вышло. Ничего этого не было бы, если бы не эта поспешность. Пусть Шурочка ничего не знает. Простите меня, Людмилица! Я поступил тогда в каком-то отчаянии, а выходит похоже на какой-то скверный водевиль. Вспомните все наше прошлое и простите меня!

Другая женщина, а не Вы, мой друг, после всей этой путаницы сказала бы человеку, поступившему так, как я: убирайся-ка, милый, к черту! Но Вы-то знаете, что тогда участвовала бутылка, а бутылка эта приводит меня в состояние сумасшествия. Я не должен быть один! Вы же столько раз говорили, что любите меня как художника. Так вот, скажу уже прямо, не желая, чтобы я пал, простите меня и не сердитесь. Мысль моя, когда я поступал, бы-

---

[1] Нет денег (*араб.*).

ла абсолютно правильная, а именно боязнь навсегда лишиться милого и теплого очага, но только компоновка дела вышла и глупая, и оскорбительная, и вообще пьяная. Оттого я и не хочу, чтобы Шурочка знала, т[ак] к[ак] ей было бы невыносимо и оскорбительно и обидно знать, что она идет «вторым номером». Я скажу ей, чтобы главное, за чем она следила, под угрозой покинуть меня, это чтобы я не пил; я же той, которая будет моею женою, отдам все свои силы и помыслы.

Может быть, я и не такой жулик. По системе Нарбута, прося у Вас «да», я должен был бы рвать на себе волосы и кричать, что я сглупил в пьяном виде и что я вовсе не люблю Шурочку. Я же совершенно открыто и откровенно говорю, что мои отношения к Шурочке вполне хорошие, что я тронут ее милым и сердечным письмом и я знаю, что с нею мне будет хорошо. Это признание дает мне некоторое успокоение в неправильности компоновки всего дела.

А в общем водевиль: «Билибин ищет жену». Недаром «Билибин» и «билиберда» похожи друг на друга!

Вот, написал письмо, перечитал его и знаете, что скажу:

Сердце и чувства, все мысли и мечты неудержимо рвутся к Вам, моя любимая и дорогая, а ум говорит, что с Шурочкой будет лучше. Решите и Вы не порывом, а имея в виду всю ту жизнь, которую придется провести вместе.

41

19 октября 1922

19 октября 1922 года. Что написал вчера, не хочу перечитывать.

Милая Людмилица,

Сегодня – отправка писем. Решил вскрыть уже запечатанный конверт и вложить это добавление. У меня такая тяжесть на душе, что порою кажется, не выдержишь. Много есть причин на это.

Сегодня проснулся неимоверно рано, и мне вспомнилась фраза: Джон, Джон, помнишь ли ты свою малютку? И пошли терзания.

В сущности, Вы совершенно ясно показали свое ко мне отношение, т.е. очень большая дружба, но не дальше. Вы говорили,

что оставаться Вам больше в Египте нельзя. И чего же еще? И из Европы Вы мне неоднократно писали то же, а я все надеялся. И знаете на что? На то, что Вы, устав от разочарований и жизненной борьбы, оглянетесь назад и скажете: там, позади, лучше.

До Шурочкина письма я хотел мчаться в Берлин и продолжать все ту же линию. Ведь отчасти я выматывал Вам Вашу душу.

В опьяненной решимости я сделал решительный и крупный шаг. Судя по тому, что Вы мне так часто говорили и писали раньше, Вы должны были только приветствовать такое мое решение. Если Вас нет, то оно мне по душе, а потом будет и по сердцу. Дружба наша, как таковая, только окрепнет, так как, освободившись от моей осады, Вы снимете некоторые проволочные заграждения, которыми Вы, из самозащиты, себя окружали.

Но... вот тут-то и выплывает это проклятое «но». А вдруг Людмилица задним числом переменит все свои решения и пришлет мне «да» тогда, когда я буду принужден сказать ей: «Нет, потому что поздно!»

Я буду должен отказать Людмилице! Ведь от этого должна остановиться земля в своем вращении, должен наступить всемирный потоп и все казни Египетские[251]! Это было бы чудовищно!!!

Вот поэтому-то я и рву на себе волосы, что я послал эту телеграмму, не написав Вам предварительно того, что я сейчас пишу.

Я не прошу написать Вас мне «да». Просить этого нельзя. Оно само дается. И, главное, я не хочу жертвы. В сущности-то, это у меня просто какая-то неврастения. Проверка того, что уже двадцать тысяч раз было проверено. Ложась спать, я запираю на ключ дверь и твердо помню это. Забираюсь под мустикер и вдруг спрашиваю себя, запер ли я дверь, прекрасно зная, что я ее запер; но я все же вылезаю и проверяю; и так я иногда проделываю до двух, трех раз. Так и тут.

Ваше «да» было бы чудом; по логике его быть не может. Но представьте, что если и не в чудеса, а в какие-то необъяснимые точно разумные стечения обстоятельств я за последнее время начинаю верить.

Итак, я пошлю Вам телеграмму с оплаченным ответом, а Вы мне ответите. Я почти убежден, т.е. даже вполне, что будет «нет»; чудо же появляется вне обыденной логики, вне теории вероятности и человеческого разума.

И когда (видите, я даже не решаюсь сказать: если) придет это «нет», то я с совершенно успокоившимся духом тихо и радостно встречу Шурочку, а портрет Ваш украшу живыми цветами.

Ведь мы же люди искусства, братья и сестры, мы все молимся в одном храме и, может быть, если тело не прикоснется к телу, то дух к духу подойдет гораздо ближе. Nicht?

Я засим уже исключительно о делах. Пишите, если Вам что нужно. Правда, может быть, надо немного денег, т[ак] к[ак] Ваших наехало так много и все они, надо полагать, пока безработные.

Ведь выгребают только милый отец Ваш да Вы. Вот такою просьбою Вы и доказали бы мне, что Вы – мой друг.

Ну, довольно

Прощайте милая, хорошая.

Ваш И. Б.

№ 2 – написано вечером перед самой отправкой. 19 октября 1922 г.

Значит, после длинного письма.

Милый друг мой Людмилица,

Нельзя испытывать судьбы, а потом надо отвечать за то, что сделал. После самых тяжких душевных мук я дошел до решения, что мой поступок был правильный.

Когда два человека связывают вместе свои жизни, то не надо думать только о том, насколько я люблю человека, а надо посмотреть и взвесить, как другой тебя любит.

Вы никогда не говорили мне, что Вы меня любите, а, наоборот, говорили, что Вы меня любите только как друга и художника.

Там же, не видя меня почти пять лет, откликнулись на первый мой зов.

Я поступил так, как ВЫ мне всегда советовали. Так что решено.

Вашим самым верным и преданным другом и братом я всегда останусь. Я посылаю Шурочке вторую телеграмму с благодарностью за ее согласие. Сейчас не буду больше писать. Сердце мое выделывает странные кувыркалесия, т[ак] что даже жутко становится.

Дай Вам Бог счастья, счастья и счастья. Как я хотел, чтобы Вы полюбили меня, но этого не вышло.

Целую Вас в Ваши милые глаза. Ваш старый Бум.

Значит, телеграммы я Вам не пошлю. Пишите мне, а я буду писать Вам обо всем, что происходит.

42

19 октября 1922?

С моей стороны будет большая любовь, но если Вы еще не хотите тихой пристани, то не будет ли катастрофы? Дальше, сторона официальная. Мария Яковлевна упорно не отвечает мне. Боюсь, что я так неразведенным и останусь. Ждать же годы и годы я не могу больше.

Людмилица, о помогите мне, что мне делать?! Я хочу получить ответ по телеграфу, т[ак] к[ак] там, в России, сидит милая человечица и радуется, но не понимает, почему нет дальше телеграмм. Я так через девять, десять дней пошлю Вам совершенно незначительную телеграмму в два слова, в которых никакой силы не будет, главная же сила будет заключаться в оплаченном ответе, который Вы и напишете.

А если бы не все эти величайшие в моей жизни события, то здесь сейчас дивная теплая погода. Я работаю каждый день до 7 час[ов] в мастерской, а вечером, т[ак] к[ак] я совершенно изнервничался, я уезжаю в Манриет к Белобородовым. Возобновил дружбу с Магдалиной Владимировной. Просыпаюсь я рано, часа в 4, в 5, и больше спать не могу, все думаю и думаю. Рядом с изголовьем окно, и прямо с подушки видны звезды, а звезды ласкают и успокаивают.

Сегодня во сне видел Рене[252]. Вот тоже, оказывается, еще какая-то подпочвенная незамершая любовь. Этой ночью была Рене одна; я называл ее Ренусей, но только сон был странный. Я видел, будто мы приехали в Лондон, причем я шел, извините за выражение, в нижних штанах, и мне было ужасно совестно.

Сегодня же я не рисовал, а посвятил весь день письмописанию. Черт возьми! Ведь вопрос о жене важнее, чем Бенаки или Мидхат!

Мидхат совершенно окончен, только нет самого Мидхата.

Ну, милая, дорогая и любимая Людмилица, в руки Ваши отдаю судьбу свою[253]. Или будьте моею подругой жизни, или же моею Прекрасной дамой. Дружба же наша нерушима.

Целую Вас в лоб и в руку. И в том и в другом случае не чувствуйте себя одинокой, и если Вы, взвесив все, увидите, что не можете мне сказать «да», то и не говорите, т[ак] к[ак] Вы видите, что у меня есть хороший выход. Только тогда скажите «да», если это будет криком Вашего сердца, и на такое «да» я не променяю всех сокровищ мира.

Ваш всегда

И. Билибин

43

26 октября 1922

26 октября 1922 года.

Дорогая Людмилица,

Первое письмо после великого Государственного переворота.

Трудно найти мне язык, чтобы написать это письмо, которое не будет длинным.

Если учесть то, что Вы часто говорили и что не раз писали в письмах, то Вы должны приветствовать мое решение уже окончательное и совершенно бесповоротное.

Осада крепости снята, и войска мои демобилизуются, а потому теперь, когда Людмилица осталась у меня только сестра, дорогой друг и талантливая ученица, я могу сказать многое, чего я тогда, конечно, не говорил, но часто думал.

Если бы Вы ответили на мою любовь искренно и с радостью, то был бы период великого счастья, может быть, такого, какого я никогда в своей жизни и не испытаю. Говорю: может быть, ибо будущее, даже ближайшее, мне внутренне мало известно. Ну а потом? Во время «осады» я говорил: а потом будет что будет, хотя бы катастрофа, новое одиночество, все равно, лишь бы хоть раз услышать от Людмилицы слово: люблю.

Теперь я говорю следующее: через четыре года (даже через три с месяцами) мне будет пятьдесят лет. Подумайте, какое жуткое и страшное слово! Брр! Вы же молоды и любите молодость. Я бы, конечно, старался держаться изо всех сил, я бы старался окружить Вас всею лаской, на какую я способен, но все же появление какого-нибудь третьего человека, допустим, хорошего (не Дроздова, упоминание имени которого меня бросает в дрожь),

молодого и красивого, – и вот трагедия. У меня, положим, есть мое искусство, и я, если не умру, могу еще проработать много лет, но простите меня, что я поставлю точку над i: картина есть картина и заменить поцелуя она не может. Ведь правда?

Я пока еще совсем не старик. Я могу еще так же пылко любить, как и юноша, но маятник часов мерно отстукивает время, которое льется безостановочно и неукоснительно.

У меня еще солнце, но солнце мое совсем низко над горизонтом. Пока оно еще на небе, оно такое же прекрасное, как и утреннее. Посмотрите, как оно залило все своим вечерним багрянцем! Какая красота! Посмотрите, как загорелся наш батилиманский Илья, и пена на гребнях волн стала розовой! Оно даже лучше, чем солнце в полдень... Но ничто не может остановить его. Безошибочно знаешь, что оно скоро коснется своим краем горизонта, все потускнеет и наступят сумерки. Будет еще алая вечерняя заря на западе, но и она погаснет; а потом наступит мудрая ночь с мириадами звезд, висящими в Бесконечности.

Вот, Людмилица, это – мой возраст.

Я спешу, пока еще мое солнце на небе, поскорее отвести мой корабль в тихую и верную пристань. Вам же, несмотря на все Ваши временные усталости и временные же разочарования, еще хочется плыть и открывать новые страны.

Еще доктор Берников в Байдарах говорил мне, что у каждого возраста своя психология, и Вам моей тихой пристани еще не хочется.

Я хотел ехать в Берлин только из-за Вас, как из-за Вас же и только из-за Вас я с болью покинул любимый мною Крым и поехал в ненавистный Ростов. Теперь же случилось так, что я в этот второй Ростов не поехал, а повел мой корабль не за Вашим, а так, как повел его капитан, называемый Судьбою.

Точно с неба упало на меня Шурочкино милое и необычайно задушевное письмецо. В нем много надежды той же тихой пристани, о которой и я мечтаю. Вдобавок я был в приподнятом настроении. Вы мне написали слишком кратко и слишком сухо весть, которая, как Вы сами отлично знали, не могла не ударить меня больнее бича.

Я и подумал: нельзя идти против Рока; это не простое совпадение. Я всегда вспоминал с теплым чувством о Шурочке, и она

мне нравилась. Будет покой, тишина, преданность и большая радость найденной тихой пристани, как с ее, так и с моей стороны.

Да и рисовать во время качки нельзя. Я даже, кажется, Вам уже писал на эту тему.

Конечно, думая сейчас о Шурочке, я сам ее себе создаю, но мне почему-то верится, что у нас будет очень хорошо, а она меня уже и теперь любит[1].

А большие города я прямо-таки ненавижу, и я рад, что и моя спутница будет тех же вкусов.

Людмилица, если Вы не отказываетесь, Вы остаетесь блюстительницей моих художественных произведений в Германии. О моих планах Вам расскажет Ольга Владимировна. Если Шурочке удастся выдраться из России и если мне удастся достать ей визу, то я тащу ее сюда до весны, а летом видно будет. Ужасно хочется домой, в Россию, но раньше немного в Париж.

Ну, милая и дорогая моя коллаборатриса, не будьте, как Рене, когда я ее снова встретил в Севастополе: какой-то прохладненький тон и довольно-таки официальное обращение. Ведь Вы и не хотели меня в качестве мужа; ну, это и отпало, а все прочее, хорошее и прочное осталось и никогда не должно меняться. Конечно, могут настать и такие периоды, что переписка наша на время заглохнет, но это ничего; дружба наша должна быть нескончаемой, пока мы живы, а будущее темно и неизвестно.

Посылайте мне эскизики для консультаций, задавайте мне всякие вопросы; если нужны филюзы, напишите смело. Этим докажете доверие и дружбу.

Не стану скрывать, что мой костер или, вернее, потенциальная сила его жива. Я умышленно сделал так, чтобы он слегка подернулся белым пеплом, но стоит бросить веточку – и пламя снова вспыхнет; но не надо бросать этой веточки.

Я почти плачу, выводя эти строки. Я никого еще так не любил, как Вас, и вдруг какой-то вихрь, ураган – и все переменилось. Рок.

Ну, не будем обижать милую и любящую Шурочку, которую я, конечно, буду любить очень сильно.

Милая, дорогая, любимая моя, мой верный, верный друг и сестра, дай Вам Бог полного счастья!

---

[1] Приписка в конце страницы: Были еще телеграммы.

Не летите только на огонь!
Ваш старый маэстро.

Посылаю Вам любительские стишки д[окто]ра Форкара. Как бы мне переправить принадлежащую Вам мою акварель? Надо подумать. А я-то наготовил Вам подарков! Эх! Судьба уж.

44

8 ноября 1922

8 ноября 1922 года.

Дорогая Людмилица,

Хочу сделать еще одну приписку к тому, что я написал вчера[254].

Спасибо Вам, родная, что Вы, чтобы положить конец моим терзаниям, послали мне ту однословную телеграмму. Я так ее тогда приблизительно и понял.

Еще раз хочу сказать, что я ужасно хотел бы, чтобы ураган Ваш пролетел и чтобы Вы проснулись.

Я верю, что настанет и такой день, когда Вы, веселая и спокойная, войдете в мастерскую Вашего уже сильно поседевшего маэстро. Когда и где это будет, я не знаю, но это должно быть. Я был бы рад, если бы за Вашей спиной я бы увидел долговязую фигуру близорукого и улыбающегося... Б[ориса] Н[иколаевича] Шнитникова[255]. Подумайте-ка о нем. Это верный друг. Он бы тоже не покинул Вас во время болезни и ухаживал бы за Вами, не щадя себя.

Отрешитесь от Вашего наваждения. Ведь Вы сейчас точно пьяная. Встряхнитесь.

Я кричу Вам благим матом: любовь есть взаимная радость, а не терзания! Если терзания, то любви нет. Бросьте! Рвите! Время все исправит. Верьте. Максимальные меры опасны и страшны, но раз Вы уже на эту стезю попали и если Вы будете таким молодчиной, что выдержите все это и сумеете встряхнуться, то Вы сразу выйдете в жизнь уже окрепшей и закаленной. Делайте это сразу. Отсекайте с размаху, как топором. Раз! Раз! Уложите чемодан и, не говоря никому ничего, поезжайте в другое место, но только непременно к людям, а не в одиночество. Одиночество в таких случаях, особенно в первые дни, невозможно. Говорю это по опыту.

Когда Рене укатила, я отсиживался у Кулаковых, теперь я просидел вечеров четырнадцать в Манриете у Белобородовых. А потом наступит какой-то день и час, когда Вы испытаете, что тревога ушла, что на душе мир и спокойствие, какая-то слабость, словно после тяжелой, тяжелой болезни, но зато легко как-то. Наваждение будет еле-еле видно, как сквозь дымку, и наконец в один прекрасный день Вы себя спросите: да неужели это было со мною?

Дорогая Милочка, и еще знайте, что со многими, многими людьми бывают такие потрясения. Обыкновенно каждый думает, что у него это как-то особенно, как ни у кого не бывает. Конечно, это вздор. То, что Вы там пишете, что Вы удрали бы от меня, если бы что было, через год или два, тоже неверно. Теперь, очевидно, я тут ни при чем и речь идет уже не обо мне, а о ком-нибудь подобном, кто бы Вас полюбил так, как я Вас любил.

С Вашей стороны не было встречи, или, скажем, зацепки, или, еще скажем, влюбленности, т.е. того ключа, который открывает ворота в Страну большой и настоящей любви. А если бы у Вас случайно этот ключик оказался, и стоило бы Вам войти туда, то Вы бы там и остались, так как там было бы светло и радостно, и деревья райские, и цветы благоуханные, и, наконец, тут же близехонько на ветке сидела бы и знаменитая Синяя птица. Такие, как Вы, «тургеневские», не уходят из этой страны. Вы слишком чисты и честны, чтобы уйти оттуда, тем более что там бы Вы прозрели.

Я не сумел натолкнуть Вас на этот ключик. Пусть это сделает другой хороший и любящий, и дай Вам Бог такого встретить!

А «этого» бросьте! Ну его!

Разве можно вытягивать любовь, точно какую-то нитку из холста. Обидно за Вас! Какое унижение!

Вот посмотрите, как будет хорошо у нас с Шурочкой. Я уверен в этом.

Хотите поменяться ролями? А именно: Вы мне как-то писали, что найдете мне невесту, а теперь я Вам предлагаю свои услуги и найду Вам жениха, только, конечно, не сейчас.

Ведь ничего, поди, сейчас не рисуете? Я беспокоюсь, что не имею никаких писем от Ольги Владимировны. Я посылаю ей для пересылки по аэропочте письма для Шурочки и никак не могу

понять, что значит это молчание. У меня выходит замечательно красивый большой пирамидный этюд. Горит прямо. Я очень доволен. Делаю и дубликат; повезу продавать Бенаки. Корабль кончен; тоже красиво, и всадник будет на совесть; а вот маркизы были дрянь, entre nous soit dit.

Интересно, в какие формы выльется в нашей дальнейшей жизни наша дружба. Пускай она будет очень большая и очень самоотверженная, какой-то брудершафт[1]. Не злитесь, что я так нападаю на этого господина. Это – Ваш злой гений. Ничего не понимаю, разочаровались в нем, а потом-то как же? Ну баста! Желаю Вам тишины, спокойствия, равновесия, мудрого разума и счастья.

Ваш маэстро

45

25 ноября 1922

Т. Миле – Билибин.

25/XI 1922.

Дорогая Людмилица,

Поздравляю с переселением на новое место[256]. Желаю всякой удачи! Ничего не могу прибавить к поздравлению, не зная деталей.

Я же жду перемены и своей декорации, а пока приехал на 4 дня в Александрию, где удачно собираю фунтики.

Всех благ.

И. Билибин

46

3 января 1923

3 января 1923 г.

Дорогая Людмилица! С Новым годом и с новым счастьем, но только... считайте до тысячи! А то забываете это мудрое диккенсовское правило, ну, и выходит ерунда! Сегодня писать некогда. Напишу через неделю. И я Вас целую в лобик; хотел бы даже в глазок! Я очень беспокоюсь: из России нет ответа на телеграммы и у Сандеров тоже. Эх, все тревоги да тревоги! Всех благ. Ваш И. Б.

---

[1] Bruderschaft – братство (*нем.*).

47

11 января 1923

11 января 1923 года.

Милая человечица, мой верный друг Людмилица,

Эх! Только и могу сказать это.

Ваш старый Бум опять переживает дни самой невероятной тревоги. Схожу просто с ума и не нахожу места от проклятой неизвестности.

После тех событий, тревог, треволнений, винного самозатуманивания (чего я сейчас решительно не делаю), сердечных припадков и пр. и пр. наступил период затишья, мирных ожиданий и предвкушения тихой пристани, которая вообще так нужна для жизни вообще и для художника – в частности.

Но вот снова беда. Понимаете ли, Шурочка исчезла. Она уже получила командировку, и ей осталось получить только разрешение на выезд из России. Я все время получал от нее милые записочки (письмами этот вид «литературы» назвать трудно), где я производился в самые высокие чины: я назывался в них и Князем (а она – Ярославна), и Садко, и коханым и т.д., она писала, что она каждую ночь мысленно садится на ковер-самолет и летит ко мне, чтобы шепнуть мне на ухо то, что не умещается в ее записочках; прислала мне свою фотографию в письме от 9-го декабря и вдруг – стоп! Все прекратилось и наступило полное молчание. 30-го декабря я, еще не волнуясь, послал ей телеграмму с оплаченным ответом, поздравляя ее с Новым годом и спрашивая, получила ли она наконец деньги. Сандеры послали ей 2-го декабря, рассчитывая, что дней через 10 она получит. Ответа не получил, а раньше она мне отвечала на третий и даже на второй день. Я телеграфировал Сандерам. Оказывается, что и они телеграфировали ей с ответом дважды, но ничего не получили. 15-го с[его] м[есяца] они покидают Берлин. Третьего дня я послал им снова телеграмму с просьбой протелеграфировать в Россию какому-нибудь третьему лицу, чтобы оно навело справки; и вот жду теперь от них ответа.

Самые мрачные предположения лезут мне в голову. Жива ли она? Долго ли заболеть и т.д. Даже страшно подумать; она же все время писала, что очень слаба и еле держится на ногах от общей усталости и мальчик ее тоже.

Меня здесь, конечно, успокаивают; но не надо быть паникером, чтобы не отрицать, что, конечно, что-то произошло. Чувство полного бессилия предпринять что бы то ни было отсюда приводит в отчание.

Я не знаю, но мне кажется, что и Сандеры действовали не совсем так, как я хотел. Деньги были пересланы через какой-то Скандинавский банк. В одном письме О[льга] В[ладимировна] писала, что через этот банк можно послать и по телеграфу, но затем посылает все-таки с курьером, вероятно, из экономии; а Шурочка уже давно молила: скорее деньги! Я говорил Сандерам: не экономьте, а действуйте молниеносно, хотя бы и с потерей половины на курсе, ибо, по изречению Петра I, «промедление времени смерти подобно». Я телеграфирую Сандерам с приказом выслать ей по телеграфу еще 20 ф[унтов]; не беда, что во второй раз. О[льга] В[ладимировна] отвечает в том смысле, что это вздор и не надо пороть горячку; а там, м[ожет] б[ыть], была оказия, которая была упущена. Мой принцип – быстрота, а их – рассудительное терпение.

Простите, что пишу Вам только о своих бедах. Если бы Вы были поближе, т.е. если бы письма шли к Вам быстрее, то я попросил бы Вас через кого-нибудь из Ваших новых знакомых, имеющих сношения с Петербургом, навести справку об А[лександре] В[асильевне]. Напишу Вам, на всякий случай, ее адрес, хотя специально ни о чем не прошу Вас, ибо это было бы очень долго.

Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая.
Общежитие «Дома искусства». Мойка 59, к. 30. Петроград[257].

Ну а теперь поговорим все же и о другом. Знаете ли, милая Людмилица, кажется, что и мне довольно Египта! Ведь заказов у меня нет никаких. Рассчитываю на продажи и только. Доить Бенаки без конца и только Бенаки ведь невозможно. Наконец и у этой единственной дойной коровы молоко истощится. Мне обещаны «клиенты», но пока я еще не видел от них ни пиастра. До последнего времени, т.е. до дней моих текущих треволнений, я очень продуктивно и спокойно работал, готовя порядочную партию вещей для нового очередного «налета» на Александрию. Сейчас работаю вяло из-за не отпускающих меня черных дум, а по вечерам регулярно удираю в кинематограф (запой), ибо «великий немой» отрывает вас от ваших мыслей.

А мы-то построили у нас тут целую ванную комнату. Раздвинули стены и сделали очень хорошее и поместительное учреждение: ванна, печурка, умывальник и... гм! – трон. Совсем как у людей! Вот и сейчас там стучат и работают. Приходится бегать в большой дом, а по вечерам ins Grüne[1] в сад. Я и думал: приедет Шурочка, отдохнет, я покажу ей Египет, а весною двинемся в Европу, во Францию.

Ну а теперь я трепещу и жду. Боюсь какой-нибудь катастрофы; а если будет что-нибудь нехорошее, то буду удирать отсюда возможно быстрее. Я сойду здесь с ума в своем антикханском сарае!

Пожалуйста, узнайте мне адрес Сорина[258]. Зовут его, насколько я помню, Савелий Абрамович. Только если Вы с ним встретитесь, не выдайте меня, что я не уверен в его имени.

Как Вы думаете, найду я в Париже работу? Это – вопрос очень важный.

Врагов у меня в Каире нет. Со всеми мир; только с Лукьяновыми как-то совершенно раззнакомился. Так, это знакомство само отмерло. Не видел их месяца четыре.

Неужели так и не удастся сделать какую-то большую картину, ту «битву», о которой я так давно мечтаю! Нет помощников. Сейчас я веду двух дубликатных всадников («охотников»). Выходит очень здорово. Надеюсь, что Вы увидите. Как все это было давно, когда в 9 ч[асов] утра Вы, милая такая, появлялись в дверях мастерской, атакуемая Кутькой и Хеопсом!

Ну а Вы, милый друг, что делаете? Напишите о своей работе и о своих художественных перспективах. Ну, будьте здоровы! Ужасно меня беспокоят политические события. Неужели опять заваривается каша! Неужели Вы не согласны, что люди злы и отвратительны. Лозунг: месть – на первом месте, а то, что следовало бы, любовь, – в полном загоне. А нам, певчим птицам и цветам человечества, трудно петь и цвести в такие паскудные времена!

Приветствуйте от меня моих друзей. Целую Вас в лобик, в ручку и в глазок, ибо это – наше цеховое место: лобик выдумывает, глазок смотрит, а ручка выводит нечто иногда более, а иногда и менее удачное.

Ваш друг.

---

[1] На природу (*нем.*).

Помните гидов: «Мусью! Вуле-ву се суар вуар ля пирамид?»[I]

Хорошее имя одного верблюда: Сара-Бернар[259]. Кажется, я это уже Вам докладывал.

Некая г[оспо]жа Павлова[260], здешняя певица (т.е. из беженок), негодуя на Панкова, что он без ее разрешения поместил ее имя в какой-то программе, поймала Панкова на улице, схватила за рукав и закричала, что он – вор. Представьте! Бедного Ник[олая] Гр[игорьеви]ча сволокли в каракол (участок), где он заявил, что он не вор, а «импрессарио». Тогда его с городовым привезли в клуб. Тихий уладил дело, причем у него, по его словам, украли три шляпы из четырех.

48

11 января 1923

11/1 1923.

Ура! Людмилица!

Не знаю, попадет ли эта открытка вовремя, т.е. вместе с письмом. Сейчас 6 ч[асов] веч[ера]. Я мрачно пил чай, предаваясь мрачным мыслям. Вдруг телеграмма. Получено письмо. Здорово. Деньги опоздали. Все устроено!

А в Париж все-таки поедем. Всего, всего хорошего. Ваш Бум[II].

49

2–10 февраля 1923

2 февраля 1923 года.

Дорогая Людмилица,

Хочу, как прежде, поболтать с Вами. Сейчас двенадцатый час ночи. Я один. Жгу «цампирони»[261] от комаров. Выходил сейчас в сад. Довольно тепло. Полная луна и силуэты пальм. Вспоминаете ли Вы, хоть когда-нибудь, мою, бывшую нашу, мастерскую?

[I] Monsieur! Voulez-vous ce soir voir las pyramides? – Месье, не хотите ли сегодня вечером осмотреть пирамиды? (*фр.*).

[II] Приписка на полях: Хорошо, значит, что мы устроили ремонт. Я сейчас прыгал solo по мастерской. Найдите мне издателя. Я – картинки, а Вы – заставки.

Знак весов[262] я отменил. Это было и ушло, и так, как оно было, оно никогда не вернется.

Начинаются новые жизни. Ко мне едет новый человек: Шурочка уже за пределами Совдепии. Едет. Она несколько раз писала мне, что она стремится ко мне и что она меня очень любит. У меня к ней тоже самые нежные чувства, и я хочу, чтобы ей было очень хорошо... и мне – тоже.

Итак, я жду ее радостно. Вчера Ек[атерина] Сп[иридоновна] Лелявская сказала мне: «Вы все-таки оригинал: выписали себе Вашу Шурочку по телеграфу, не видев ее пять лет, а вид у Вас совсем влюбленный».

На самом же деле это совсем не странно. Иногда быстрота движений только и может спасти. Когда человек сорвался со скалы и загудел в пропасть, то он должен мгновенно схватиться за мелькнувший перед его взором спасительный сук или корень; если не успеет схватить, то разобьется насмерть.

Так было и тогда.

Вы, как бы Вы, хотя и верный друг мой, не хотели, но тогда Вы ничего не могли для меня сделать. Вы любили тогда того другого человека, и, хотя это было и сумасшествие и умоисступление, но все же оно было. Вы сами мне писали, что лошади Ваши понесли. Рассуждать Вам было невозможно и, пусть этот человек был на самом деле самый презренный жизненный шулер, но в глазах Ваших он был каким-то богом. Конечно, Вы нарисовали себе сами этого бога и пришпилили это изображение на самую дрянную и недостойную модель. И все же Вас-то я не обвиняю, а если хотите, даже стараюсь войти в Ваше положение: кто бы он ни был, но Вы тогда любили. Вы знаете, что ступали по обнаженным ранам другого человека, но Вы и действительно не могли помочь мне ничем, т[ак] к[ак] тот, кто ранит, не может быть в ту же минуту и врачом.

По законам Жизни по отношению ко мне Вы поступили честно и правильно. Какое лекарство могли мне прислать Вы? Никакого.

Но меня спасла Шурочка. Она мне прислала любящую бесхитростную записочку, не пышную и сложную по конструкции розу, а какой-то простой полевой цветочек, и цветочек этот вывел меня из пропасти и из ада. Вот за это-то я и должник ее, и я готовлю ей встречу, чтобы она увидела, что она не ошиблась, и чтобы никакая самая малейшая тень сомнения не омрачила ее.

Я верю, что все будет очень хорошо.

Но прошлое тоже было хорошо, т.е. хороши были мои долгие мечты, и то, что было, было.

Когда мне было десять или одиннадцать лет, я был очень влюблен в одну мою троюродную сестру, девочку приблизительно моего возраста. Она была очень хорошенькая, и когда мы играли, то она любила брать для себя какие-то трагические роли; то ее убивали индейцы, то она сама умирала, и на меня это производило сильнейшее впечатление. Мы решили, что убежим в Америку. Я тоже, когда встречался с нею, любил принимать разочарованный вид, желая не дисгармонировать с нею. Но раз, когда она, сидя рядом со мною во время обеда, поперхнулась пирогом с капустой и несколько кусочков капусты попали в меня, я сразу и окончательно разлюбил ее.

Вот и я слишком часто, вероятно, поперхивался перед Вами разными пирогами и уже не мог попасть в принцы, что ли, а тот господинчик был далеко, ну Вы его и нарядили во все наряды Вашего воображения.

Ну и опять же я старше, а следовательно, и терпимее. Вспомните мою встречу с Вашей сестрой Новеллой на зигзагах Батилиманской дороги, а все же я ей после и стихи написал, и даже отдал обе конфетки. А ведь до крошек из пирога с капустой далеко! Разница громадная!

Ну, глупая моя Людмилица, друг мой милый, не глупите больше. И зачем Вы, уезжая в Париж, велели снести в комнату этого «героя» розы, когда он, сказав, кажется, Вам, что едет по делам развода, был на самом деле у другой какой-то дамы. Ведь дрянь же! Надеюсь, Вы его забыли и разлюбили.

Слава Богу, что Б[орис] Н[иколаевич][263] вытащил Вас в Париж! Тихий сказал мне, что получил от Альтуховой письмо, в котором она пишет о том, что Вы скоро выходите замуж. Правда это?

Б[орис] Н[иколаевич] хороший человек и, конечно, честный, верный и преданный друг. Я был таким же, и номер мой был не ниже его номера. Если теперь Вы полюбили его не умом, но и сердцем, то я благословляю Вас.

Но только помните одно: что бы человек для Вас ни сделал, как бы Вы ни были ему должны, нельзя оплачивать этот долг своею любовью, т.е. тем, чем вообще <u>платить</u> нельзя.

Если в отношении к Б[орису] Н[иколаевичу] у Вас зародился этот сердечный микроб любви, которого у Вас по отношению ко мне все же, кажется, не было, то и прекрасно. Этот человек будет Вашей защитой, Вашей каменной стеною; но только... микроб этот необходим. Если его нет, то после, значительно позже, он может внезапно появиться по отношению к другому лицу, и тогда никакие каменные стены не устоят и рухнут, и будет опять катастрофа.

Итак, если микроб еще не обнаружен, то совет мой – не спешите и ждите.

Ого! Уже два часа. Иду спать. Завтра или послезавтра напишу о делах.

Общий вывод: желаю Вам настоящего счастья и настоящей любви. Хотя белый гриб найти и трудно, но тем приятнее его найти; но только белые и собирайте!

10 февраля 1923.

Больше недели пролежало это письмо в столе. Видите: я уже не прежний Ваш корреспондент.

Сейчас – полночь. Может быть, последняя полночь, что я один, в тиши моей пока молчаливой мастерской, пишу Вам, как в прежние дни, это письмо. Завтра писать будет некогда, т[ак] к[ак] послезавтра я уезжаю рано утром в Александрию, потому что за послезавтра, во вторник, 13-го с[его] м[есяца], должна прибыть на пароходе «Семирамида» Шурочка.

Вчера вечером я приводил в порядок ящик письменного стола и выбросил целый громадный ворох старых писем. Все же, что было от Вас, я сложил в стопку, положил сверху медальку с весами, затем... извините меня, поцеловал всю совокупность как дорогое и мое прошлое, завернул в чистую белую бумагу, перевязал веревочкой и спрятал в глубине стола.

Пока были (я говорю о моем последнем периоде) телеграммы, письма, ожидания и пр., все это был какой-то довольно фантастичный роман, во всяком случае нереальный; теперь же приближается сама действительность.

Близится какое-то новое уравнение с большим неизвестным. Конечно, с неизвестным. Мне кажется, что все будет очень хорошо, и мне хочется, чтобы оно так и было.

Но ведь шаг торжественный и серьезный. Это – не просто ремонт моего антикханского обиталища, покупка нехватающего хозяйственного инвентаря или ожидание дорогих гостей. За суматохой иногда не видишь серьезности самой сущности. Во вторник будет не что иное, как моя фактическая свадьба, если называть все своими настоящими именами.

Мне доверился человек. Я уверен, что это очень милый и любящий человек; человечица.

Ну вот, милая Людмилица, какие дела! Думал ли я, что все это будет и, в сущности, так скоро!

Ваш маэстро сегодня торжественен и серьезен. Антикханское «Временное правительство» работает вовсю. Состав его: премьер-министр и он же министр внутренних дел – О[льга] В[ладимировна] Сандер, затем идут другие члены правительства: Пе-Фе[264], Е[катерина] С[пиридоновна] Лелявская, Як[ов] В[ладимирович] Белобородов и его жена, Евгения Ивановна. Покупаем, шьем, штукатурим, красим стены, измеряем, режем, приколачиваем и пр. и пр. В сущности, это они все делают, а я хожу шахом персидским и уезжаю в Александрию, где уже не я, а мы проведем дня два.

Но интересно очень. Иногда жизнь выходит из берегов повседневности и преподносит вам преинтересные фильмы.

Ну, довольно об этом. О своих работах писать на сей раз не стану. Скажу только, что работаю много, а заказов все нет и нет. Правда, возник целый ряд ценных новых знакомств, которые должны же во что-то вылиться; но только колеса в этой стране движутся так невероятно медленно.

Я купил на аукционе иконной коллекции умершего д[окто]ра Бай (или Бэ) две очень интересных абиссинских иконы. Совершенно дикарская, но очень занятная какая-то Гогеновская[265] живопись. Лицо и тело ярко-красно-оранжевого цвета; вообще краски самые яркие и контрастные, рисунок дикий, а вещь все-таки очень притягивающая. Мне очень нравится.

Я все хочу послать Вам немного денег, во-первых, себе на книжки, а во-вторых, как Ваши делишки и заработки? Хватает на жизнь или трудно? Напишите о себе. Я вот о себе пишу Вам гораздо больше, чем Вы мне. Не забывайте, что мы старые друзья и даже больше, вроде как бы брат и сестра. Воспоминания о нашем прошлом и

мысли друг о друге вообще должны у нас быть самые лучшие. Жизнь устроена в одном отношении очень мудро: все, что причиняло боль, забывается, а все хорошее остается в памяти.

Да хранит Вас Бог!

Ваш старый друг Бум.

50

13 марта 1923

13 марта 1923 года.
Sharia Antikhana, 13.
Le Caire.

Милая Людмилица,

Получил Вашу открытку, где Вы пишете о моей былине «Вольга». Большое Вам спасибо за Ваши заботы, но этой вещи мне не надо, т[ак] к[ак] именно ее Шурочка привезла из России.

Она благодарит Вас за привет и просит передать Вам, со своей стороны, такое же приветствие.

Я очень рад, что Вы беретесь за сказки[1]. Я тоже начал делать русскую сказку (из Афанасьева) «Заморышек». Там есть одна тема, которая меня особенно увлекла, хотя я начал не с нее; а тема эта такая: через море перекинулся волшебный мост, а по нему едут сорок один молодец. Мост я представляю себе в виде радуги, уходящей в беспредельное пространство, а внизу видны острова с городками и корабли. Это – прекрасная тема для большой картины.

Технику я беру очень черную, сочную графическую, вроде густых деревянных гравюр. Большие черные пятна будут введены как тон, так что впечатление будет полное и без раскраски. Раскраска же будет в три, четыре краски; т.е., вернее, это будут не раскрашенные, а только «тронутые» краской густые графические рисунки. Пейзаж будет стилизованный, но натуралистически стилизованный, а не канонически.

Вам я советую, когда Вы будете рисовать Ваши вещи, не забывать, с одной стороны, моей антикханской рисовальной дисциплины, а с другой – немножко отбиться от моей сухости, педан-

---

[1] Вставка в конце письма: «Семь Симеонов» очень хорошая сказка. Я к ней раньше присматривался, когда выбирал, что взять.

тичности и любви к симметрии; т.е. так, чтобы оно было: и да, и нет. Вы понимаете?

Бедная Людмилица! Кто же Вам скажет: «вот здесь утолстите немного линию, а эту выкиньте совершенно и т.д.»? Я бы очень хотел посмотреть, как Вы сейчас работаете.

У нас здесь только что кончились «дни о Павловой[266]». Наша всемирная знаменитость посетила Каир (сейчас она уехала на неделю в Александрию) по дороге из Японии и Индии в Лондон. Здесь она провела недели две. Танцевала со своей труппой в Курзале[267]. Было смен пять программ. Некоторые номера были великолепны. Я стал совсем балетоманом на эти дни. Вообще, наше болото (если только этот термин может быть применен к знойной Африке) на несколько дней всколыхнулось. У нас с ней завязалась дружба, она была у нас, мы бывали у нее; ездили вместе в Саккару, и в конце концов она заказала мне маленький одноактный русский балет в русском стиле. Несколько вечеров я был литератором и сочинял сценарий.

Накатал штук семь, восемь балетов на отдаленно-приблизительные темы из русских сказок, и наконец мы остановились на одной теме. Кроме того, она просит меня сделать ей и несколько египетских костюмов, что меня очень интересует.

Собственность на рисунки остается за мной. Декорация будет писаться декоратором Аллегри из Парижа. Я попрошу, чтобы по написании декорации эскиз был передан на хранение, конечно, Вам, моей милой бывшей помощнице.

В общем же, как мне ни нравится Египет (все более и более), но я с грустью должен констатировать, что отсюда необходимо куда-то уезжать, т[ак] к[ак] все пышные обещания работать в этом году лопнули, как мыльные пузыри, одно за другим, и я сижу в хроническом «мафишфилюзе»[I] и не знаю, удастся ли отцарапать фунтов 10–15, чтобы показать Шурочке Верхний Египет. Просто беда. Два типа, один богач швейцарец и один (сволочь, pardon[II]!) сирийский граф, водили, водили меня за нос, и, главное, не я к ним обратился первый, а они ко мне; а потом, безо всякой видимой причины, отпали и сгинули! Дивная страна, но какие мерзкие люди!

[I] Безденежье (*араб.*).
[II] Простите (*фр.*).

Есть четыре страны-кандидатки, куда я мечу: Германия, Франция, Америка (совершенно серьезно) и, наконец, Россия.

Говорят, что мне въехать в Париж относительно легко, а Шурочке очень трудно, так как она приехала из России. Конечно, надо поменьше разбалтывать, откуда она приехала. Не можете ли Вы узнать что-нибудь по этому поводу, но не официально, а так.

Ну, пока, кончаю. Напишите же что-нибудь и о своей не художественной, а просто человеческой жизни.

Вы видите: я тоже Вам ничего не пишу о своей частной жизни. Несправедливо же. Я Вам пишу, пишу, а Вы мне только о цеховых вопросах; но вторично скажу, что я рад, что Вы рисуете. Искусство – все. Все прочее хоть подчас и хорошо, но не может с ним сравниться, и конечно, если что чему и приносить в жертву, то «жизнь» искусству... Ну, это все азбука, а потому кончаю.

Мне очень нравится, что Шурочка оказалась безумно ревнивой. Вы знаете мой ревнучий характер, так что вышло – два сапога пара.

Ну, всего, всего, всего хорошего. Дай Вам Бог побольше радости и успеха. Ваш старый

Маэстро.

P.S. Есть у Вас книга для меня, и если да, то какая? Привет моим друзьям.

51

20–21 марта 1923

20 марта 1923 г.

Милая Людмилица!

Большое, во-первых, Вам спасибо за Ваше трогательное внимание к Вашему маэстро. Видите, я не написал: «бывшему», так как, по-видимому, мы еще поработаем над одним и тем же.

Я рад, что Вы снова принимаетесь за работу. Сказка, которую Вы выбрали, очень хорошая. Насчет того, как рисовать, я посоветовал бы делать рисунки проще и яснее в отношении сюжета, если иметь в виду детских зрителей. Та моя картинка, которая принадлежит Вам (царь с боярами и стрельчиха), хотя и является

chef d'œuvre'ом[I] в смысле выделки узора и пр., но тем самым тонет в этих тонкостях за счет того, что изображено.

В детской сказке должен быть очень хорошо нарисован, так сказать, силуэт фигур, дан интересный тип лица, дана ясная и сильная раскраска, и вся картинка должна иметь простой и ясный и, вместе с тем, сильный и добрый характер.

Канон – заманчивая область. Вы знаете, как я люблю его, но нельзя перед аудиторией малышей (если только желательно с ними считаться) читать университетские лекции.

Вероятно, Вы и сами так же думаете; это я говорю так, на всякий случай.

Во-вторых, скажу свои соображения о перепечатании моих сказок.

Я согласен. Согласен уже потому, что у меня очень плохи мои фонды, а приходится покупать всего много, т[ак] к[ак] теперь я в некотором роде pater familias[II]. Живем хорошо. По вечерам я сижу теперь дома, а потому рисую больше.

Мальчишка (Славчик, т.е. Мстислав[268]) славный, с виду хрупкий и нежный, как девочка, но голос имеет довольно энергичный, с какими-то низкими нотами; и целый день слышно то «мам'чка!», то «дядя Ваня»; а Ольга Владимировна зовется просто Олей.

Однако я отклонился в сторону. Перейду строго к делу.

Итак, пусть издают мои первые сказки. Может быть, даже хорошо, что только первые, т[ак] к[ак] интересно, как они вообще выйдут.

Гонорар, конечно, маленький, но для меня это сейчас большая находка, и это даст мне возможность сделать здесь одну новую русскую сказку («Заморышек») и поэму Пентаура.

Прилагаю при сем официальное мое к Вам письмо, где я поручаю Вам вести переговоры и вообще мои дела.

Вот, однако, что я имею сказать издательской фирме (как фамилия издательницы; не забудьте, пожалуйста, сообщить мне ее), что Вы, прошу Вас, и передайте от моего имени.

1500 фр[анков] – это величина для нас, живущих в другой стране, очень шаткая и туманная. Не так давно фунт стоил 50 фр[ан-

---

[I] Шедевром (*фр.*).

[II] Отец семейства (*лат.*).

ков], тогда 1500 фр[анков] составили бы 30 фунтов, а теперь это меньше £20-ти, а дальше, вероятно, будет и того меньше.

Поэтому я хочу считать, хоть и очень дешево, но на фунты, т[ак] к[ак] это – величина, почти не меняющаяся. Спросите с издательской фирмы по £25 и, медленно отступая, торгуйтесь и спускайтесь до 20 фунтов. Это – предел. Не бойтесь таких «некруглых» сумм, как 23 или 22 фунта, ибо даже 21 фунт приятнее, чем 20 ф[унтов]. Во всяком случае, я, любитель правильности и плавности в орнаменте, в данном случае готов быть футуристом и любителем не симметрии и корявости.

Постарайтесь получить деньги сразу. Если бы это были счеты между нами двумя, то мы подождали бы сколько угодно, а то... кто их знает, издателей-то этих!

Я хочу, чтобы было издано не шесть, а пять сказок. «Царевну-лягушку» я исключаю. Ее можно было бы дать, но с громаднейшими переделками. Надеюсь, что к желанию автора отнесутся с должным уважением.

Возвращаюсь еще к деньгам. Означенная выше сумма относится, конечно, к изданию на одном каком-нибудь языке. Если данное издание будет русское, то об издании, например, на английском языке – разговор особый.

Обложка будет новая. Сообщите мне, пожалуйста, немедленно же (как Вы меня просите) текст обложки. Будет, вероятно, как и прежде, слово: «Сказки», затем вставки, а внизу: «рисунки И.Я. Билибина», издание такое-то, город и год.

Оригинал, как таковой, остается за мною. Я уступаю право репродукции дешево: за 100 рублей золотом или, если хотите, за £10.

Картинки к сказкам могут [быть] изданы почти без перемен, но минимальные переделки должны быть все же сделаны. Может быть, за гонорар, который Вы сами назначите, Вы их сделаете или поручите кому-нибудь. Вы увидите, что это – пустяки и работы мало.

Начнем с «Василисы Прекрасной».

1) Стр. 1, стр. 3 без перемен. Стр. 4 и стр. 5 – сделать рамочки в стиле вышивочного геометрического орнамента, как на стр. 6. Стр. 9 без перемен. Стр. 11, как на стр. 6. Стр. 12 выкинуть совсем, если будет все издание в одной книге, а если будет выпусками, то оставить «загадку» и уничтожить цветную концовку.

2) «Перышко Финиста Ясна-Сокола». Стр. 1, стр. 2 без перемен. Стр. 5, как на стр. 6 в «Василисе Прекр[асной]»; обозначим это В.Г.О., т.е. «вышивочный геометр[ический] орнамент». Стр. 6, стр. 8, стр. 11 и стр. 12 без перемен.

3) «Сестрица Аленушка и т.д.». Стр. 1, стр. 2, стр. 4, стр. 6, стр. 7, стр. 9 без перемен. Стр. 10 лучше бы заменить В.Г.О. или рамкой в духе стр. 2 в «Перышко Фин[иста] Я[сна]-С[окола]» или стр. 9 из «Василисы Прекрасной». Стр. 12 без перемен.

4) «Сказка об Иване-Царевиче и пр.». Стр. 1 без перемен. Стр. 2 – В.Г.О. Стр. 5 без перемен. Стр. 6 – В.Г.О. Стр. 8, стр. 9, стр. 11 и стр. 12 без перемен.

5) Сказки «Марья Моревна» у меня, к сожалению, нет.

Как видите, я сделал для вышеназванных четырех сказок очень милостивую цензурную ревизию, прося изменить только уж совершенно невыносимые рамки. Конечно, если было бы время, я бы переделал все рамки. Может быть, Вы, chèr[e][1] Людмилица, получив на руки эту (пятую) сказку, процензуруете ее так же, как я процензуровал эти четыре. Я был бы вам крайне признателен.

Способ воспроизведения. Конечно, как и первые мои сказки, литография. Придется калькировать контуры. Вас попрошу держать строжайшую корректуру. Вы же можете иногда и слегка поправить рисунок того юнца Билибина, времен 1899–1902 г. (Боже мой, как безумно давно!) Следите, пожалуйста, чтобы нигде не был пропущен год при подписи. Обложку же я пришлю в контуре. Пусть с этого контура сделают фотолитографические оттиски и пришлют мне обратно оригинал и три, четыре оттиска на бумаге, удобной для акварели. Я раскрашу и пришлю.

Ну, кажется, все. Уф! Даже устал!

Еще насчет замены скверных рамочек этим самым В.Г.О. Если Вы никак не будете в состоянии (ненавижу глагол «сможете», Одесса какая-то!) этого сделать или поручить какому-нибудь рисовальщику, то, в крайнем случае, дайте это нам, хотя было бы не в пример лучше, если бы это было сделано в Париже: проще и скорее.

Теперь насчет костюмов. Посылаю Вам, во-первых, одну открытку из серии костюмированного вечера царской фамилии (советую найти Вам еще нек[оторые] открытки из той же серии).

---

[1] Дорогая (*фр.*).

Это – дубликатная открытка. Оставьте себе. Не потеряйте только. Шурочка говорит, что теперь это большая редкость: все уничтожены. Костюмы были подлинные. Эта открытка даст Вам хорошие детали.

Сейчас я очень спешу к почте, а потому не успею заготовить Вам калек или рисунков с костюмами, но Ольга Владимировна утверждает, что у Вас есть книжка (монография) der falsche Demetrius[I]. Там в конце есть много ценного материала.

Найдите в библиотеке: 1) путешествие Олеария[269] в Московию; 2) путешествие Герберштейна[270]; 3) знаменитую гравюру (немецкую) XVI в. «Московское посольство к императору Максимилиану[271]». Наконец, если трудно найти материал исторический (труды Прохорова[272], Савваитова[273] и пр.), то посмотрите на современные произведения искусства: работы Васнецова[274] и Нестерова[275], мои открытки к «Борису Годунову» и пр. и, наконец, даже картины Конст[антина] Маковского[276]. Да мало ли материала.

Найдите приложение к Studio – The peasant art in Russia[II] [277], а, в конце концов, если есть время, присылайте мне эскизные кальки для контроля. Ну, кончаю и машу платочком с берегов Нила. Стыдно, Людмилица, писать, живя в Париже, «povre»; оно пишется: pauvre[III].

Привет Борису Николаевичу и другим друзьям.

Ваш старый друг и учитель Мистер Бум.

P.S. В России не верят, что я стал трезвенником, а я, и действительно, презираю пьяниц, морфинистов, кокаинистов и всю прочую мерзость. Хотел бы бросить курить, да не могу.

[*Приложение к письму от 20.03.1923*][278]

21.03.1923.

Многоуважаемая Людмила Евгеньевна!

Назначаю Вас быть моей представительницей в Париже и вести все мои художественные дела. Равным образом, доверяю Вам вести от моего имени денежные переговоры и получать причита-

---

[I] О Лжедмитрии (*нем.*).

[II] Крестьянское искусство в России (*англ.*).

[III] Бедный (*фр.*).

ющиеся мне денежные гонорары, а также производить корректуру печатаемых моих художественных произведений.

Уважающий Вас И. Билибин

13, Sharia Antikhana,
Le Caire, Egipte.

52

9 мая 1923

9 мая 1923 года.

Милая Людмилица,

Простите, что я так долго не писал Вам. Я и сейчас пишу немного. Пишу во время работы. По вечерам я рисую для себя. Меня очень интересует эта вечерняя работа (рисую новые сказки), и я никак не могу выкроить себе большой письмописательный вечер.

Насчет сказок я все колебался и хотел послать Вам, как Вы хотели, телеграмму, но теперь думаю, что лучше это дело отложить. Я не хочу переиздавать их в таком виде, как они были изданы. Надо, как я писал Вам, дать новую обложку и произвести ряд корректур. Издатель должен свободно и широко пойти навстречу; если же он жмется и экономит, то лучше повременить. Я очень тронут Вашим отношением к делу, но мне бы не хотелось, если эта икс-издательница (Вы так и не сообщили мне ее фамилии) слишком жалуется на дороговизну, чтобы сказки были изданы кое-как.

Если же она согласна на новую обложку и на указанные мною необходимые корректуры, то и я согласен. За право воспроизведения обложки (оригинал остался бы в моей собственности, а хранительницей я бы попросил быть, конечно, Вас) я бы взял дешево: 10 англ[ийских] фунтов. Если и это будет найдено неподходящим, то я уж ничего не могу поделать.

Ну, что Вы рисуете? Рисуйте больше. Я каждый день благословляю судьбу, что она дала мне в руки такое дивное и божественное дело. Искусство дает то, чего человек человеку дать не может.

У нас работа кипит. Помогают мне по-прежнему О[льга] В[ладимировна] и ее брат, ставший очень хорошим коллаборатером. Шурочке я дал красок, холста, и она делает свои вещи, говоря, что давно не писала масляными красками. Кроме того, мы выписали из Парижа печь для обжигания фарфора, и скоро пойдет у

нас фарфоровое производство. Шурочкины чашки очень интересны, но, конечно, ее русский стиль совсем другой техники, чем то, что делаю я.

Что же; пусть каждая птица славит по-своему Бога; главное – чтобы славила; да и дороги, хотя, как говорят, и ведут все в Рим, но могут идти разными путями.

Я получил новый заказ у M[ada]me Neghib Pasha Boutros Ghali[1]: большое декоративное панно (площадь около 4 квадр[атных] метров) в стиле персидских миниатюр[279]. Цена – 350 фунтов. Имею заказ на персидско-миниатюрный же портрет (маленький, в величину миниатюры) трех швейцарских барышень из Александрии (150 фунтов) и, кроме того, разделываю Георгия для американца, м[исте]ра Крэна, за который возьму 250 фунтов.

Т[ак] что кризис мой миновал; работа есть. Сделал один контур (двух старичков на опушке леса) для сказки «Заморышек». Хочу попытаться сделать здесь же цинкографическое клише, дабы было возможно, сохранив контур, раскрасить отпечатки. Стиль я взял не слишком канонический; деревья, хотя трактованы стилизованно и графически, все же совершенно натуралистичны. Иногда хочется сделать просто березку или елочку (это в Египте-то!), а не какое-то орнаментально-каноническое икс-дерево. Да, наконец, мы, рисуя, ничего не должны делать, а делаем то, что нам хочется и нравится в данную минуту.

Когда будут отпечатки, пришлю Вам таковой.

Итак, много работаем, и это есть основное содержание всего моего бытия.

Не могу дописать листика, ибо меня распекают, что я пишу, когда надо рисовать. Напишу на днях нечто философское.

Напишите о себе. Я давно не писал, но и Вы тоже. Работайте, работайте и работайте.

Ваш маэстро И. Б.

P.S. О выставке своих вещей в Париже мечтаю, но хочу выставить много и с треском (конечно, не с треском провала).

Шурочка просит передать свой привет Борису Николаевичу.

---

[1] Мадам Нагиб-паша Бутрос Гали (*фр.*).

IV

Они были рядом

Воспоминания
родных и близких И.Я. Билибина
о его жизни в Египте

В.В. Беляков – Л.Е. Чириковой

г. Каир, 23 сентября 1991 года.

Милостивая государыня Людмила Евгеньевна!

С огромным волнением ознакомился я с письмами к Вам И.Я. Билибина, которые Вы столь любезно передали недавно в дар Советскому фонду культуры. Дело в том, что я заканчиваю работу над книгой о русских в Египте, публикуя отрывки из нее в «Правде». Немалое место в книге займет «египетский период» жизни Ивана Яковлевича. За пять лет работы в Египте с параллельным привлечением советской литературы и архивов я собрал значительный и достоверный материал на эту тему. Но, как Вы понимаете, подобная работа не может иметь логического конца. У меня все еще много вопросов и «белых пятен», с которыми, я надеюсь, Вы поможете мне справиться.

Обстоятельства Вашего прибытия в Египет мне известны. Но хотелось бы узнать: когда и где Вы познакомились с Билибиным? Было ли это в Батилимане или раньше, в Петрограде?

Известно, что Билибин жил на улице Антикхана (сейчас она, правда, называется по-другому). Однако в разных источниках я встретил два разных номера дома – 2а и 13. Какой в действительности номер дома был у Билибина? Не исключено, что дом этот сохранился[280].

В прошлом году мне удалось разыскать в греческой госпитальной церкви в Аббасии (Каир) три иконы кисти Билибина – Благовещенье, архангелы Михаил и Гавриил. Иконы содержат инициалы «И. Б.», дату «1921» и весы – фирменный знак мастерской в Антикхании. Однако я полагаю, что в этой церкви билибинских икон больше, чем три, просто мне трудно их отличить. Иконы для этой церкви, судя по всему, создавались на Ваших глазах, а возможно, и с Вашим участием. Не могли бы Вы рассказать мне

их историю? Не писал ли Билибин на Вашей памяти других икон, для других церквей, и если писал, то для каких?

Кстати сказать, хочу принести Вам извинения за то, что в моей статье в «Правде» о билибинских иконах[281] Ваши инициалы напечатаны неточно.

Мне было бы чрезвычайно интересно узнать и о Вашем «египетском периоде». Где Вы жили в Каире? Чем занимались, кроме помощи Билибину? С кем общались? В письмах к Вам Ивана Яковлевича встречаются такие фамилии, как Лелявские, Сандеры, Бибиков, Юрицын, Лукьяновы, профессор Голенищев[282] (последнему в моей книге будет посвящена отдельная глава[283]). Что бы Вы могли сказать об этих людях?

Буду с нетерпением ждать Вашего ответа. Если Вам это удобнее, то можете задиктовать его на магнитофонную кассету.

И последняя просьба. Был бы чрезвычайно признателен Вам, если бы Вы могли отправить мне фотографии Вашу и Билибина времен каирской жизни. Убежден, что такие фотографии у Вас должны быть.

С искренним уважением

Беляков Владимир Владимирович,
корреспондент газеты «Правда» в Египте

Л.Е. Чирикова – В.В. Белякову

Октябрь 11, 1991 год.
Флорида, США.

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Отвечаю на Ваше письмо, которое меня приятно удивило и которое я очень скоро получила – 30 сентября 1991 года. Это, однако, является в действительности для меня «последней минутой». Ибо 22 ноября 1991 г. мне исполняется 95 лет, и я уже каждую минуту могу умереть, так как я очень больной человек, хотя сохраняю пока здравую память.

Письма И.Я. Билибина, которые я передала в дар Советскому фонду культуры, носят очень личный характер и только частично могут помочь Вам прояснить кое-какие «белые пятна» в Вашей работе. Но, главное, следует помнить, что они касаются только периода 1920–1926 г.[284]

Кстати, «Мои воспоминания» этого периода я передала, как Вы, наверное, знаете, главному редактору журнала «Наше наследие» В.П. Енишерлову для напечатания. И если я доживу, рассчитываю увидеть их на Рождество 1991 года, как предполагалось, в журнале «Наше наследие»[285]. Из «Моих воспоминаний», если Вы с ними познакомитесь, для Вас может многое проясниться в Вашей работе.

На Ваш вопрос, когда я познакомилась с И.Я. Билибиным, могу сказать, что это произошло очень давно в Петербурге. Иван Яковлевич был большим другом моего отца – писателя Е.Н. Чирикова. Отец водил нас показывать рисунки и книги Ивана Яковлевича, когда я еще была девочкой с косичками (Билибин старше меня на 20 лет), но я уже тогда интересовалась искусством.

Но особенно мы сдружились, конечно, в трудное время войны и революции в Батилимане, где наша семья, как и Иван Яковлевич, имели дачи. Билибин и раньше приезжал туда с красивой молодой художницей-ученицей Рене О'Коннель. И мы дружно ездили вместе на этюды, занимались графикой. Но в это трудное

время он приехал в Батилиман уже один, холостяком, и был очень занят работой. Тогда же он сделал карандашные портреты моего отца, моей старшей сестры и мой в 1919 году.

В имения съехалось немало народа, и время становилось грозным. Мы нуждались в пище и керосине для освещения, иногда мы ездили за этим на лошадях в Севастополь и Ялту. Благо, что рыбаки снабжали нас рыбой.

Что касается росписи иконостаса в Аббасии в Каире, то они были сделаны на моих глазах. И я хорошо помню, что был сделан только иконостас из трех икон. Полагаю, что дальше это не пошло и ничего другого для икон не было сделано, к иконам Билибин не возвращался. Помощником в исполнении икон была не я, а третий помощник по прозвищу Есаул, так как работа над иконами требовала позолочения, а значит, специальных технических знаний и навыков.

Я согласна с Вами, что было бы хорошо приобрести эти иконы и восстановить их. Было бы также важно разыскать некоторые небольшие картины нерелигиозного содержания у египетских собственников и сделать хотя бы фотокопии. Я теперь могу только вспомнить греческих магнатов в Каире и Александрии, таких как Бенаки, у которых были большие сахарные плантации в Египте. Других покупателей картин Ивана Яковлевича я просто не припомню.

Возможно, Вы знаете, что по приезде в Египет все эмигранты были поселены в лагере Телль-эль-Кебир, где многие оставались очень подолгу. Желающим было предложено выйти на волю на условиях потери права на получение всякой помощи со стороны местных властей.

Я покидала Россию вместе со своей младшей сестрой Валентиной. Кроме Билибина, у нас оказалось много знакомых и друзей в Египте, например: Магдалина Владимировна Степанова – жена члена Государственной думы, которая называла себя моей египетской мамой. Помню также двух известных русских журналистов – знакомых отца, они по случайности были однофамильцами Яблоновскими, одного, помнится, звали Сергеем. Среди наших знакомых был профессор-египтолог Лукьянов, ездивший с нами в Верхний Египет под покровительством председателя Русского клуба (таковой был в Каире). Те люди, у которых сохранились

хоть какие-то материальные сбережения, вышли из лагеря довольно быстро, включая Билибина, нас с сестрой, нашу приятельницу мадам Степанову. Мы с сестрой сразу поселились в английском пансионе «Young Women Christian Association»[1] в европейской части Каира[286]. Иван Яковлевич отыскал для себя студию на улице Антикхана, о которой Вы хорошо знаете. Номер дома я, к глубокому сожалению, не помню.

Наш пансион христианского направления был хорошо организован, мы там проживали, питались и оберегались от превратностей судьбы. Все друзья и знакомые могли посещать нас, мы принимали их в уютных красивых гостиных в первом этаже, подниматься в жилые комнаты не полагалось. Только арабские слуги в белых хитонах с красными кушаками имели право подниматься к нам на второй этаж и извещать нас о приходе гостей. Пансион хорошо охранялся, на ночь запирались огромные ворота, защищавшие от возможного вторжения хулиганов или участников часто возникавших в то время в городе арабских волнений[287]. Находился наш пансион недалеко от студии Ивана Яковлевича, и мы с сестрой могли ходить туда пешком ежедневно.

Я также иногда работала в Арабском музее[288], делая зарисовки старинной керамики для директора этого музея, готовившего к изданию свою книгу о персидской керамике. Для поездок в музей, находившийся в арабской части города, я брала извозчика, которых было в достатке в европейских кварталах. Кажется, это была нарядная коляска, запряженная парой лошадей. Сестра моя нашла работу в госпитале и работала в качестве сестры милосердия.

Мы и наши друзья часто ездили в арабскую часть Каира на знаменитый восточный базар Муски[289], где продавались интереснейшие вещи: от керамики до ковров.

Из нашего христианского убежища мы с сестрой и И.Я. Билибиным ездили смотреть многие достопримечательности Каира.

Хочу еще раз подчеркнуть, что многие интересующие Вас сведения Вы могли бы найти в упомянутых ранее «Моих воспоминаниях». Мне не ясно, познакомились ли Вы с ними?

Что же касается фотографий, то их у меня сохранилось очень мало, и большинство в плохом состоянии. Должна сказать, что

---

[1] «Ассоциация молодых христианских женщин» (*англ.*).

самые лучшие фотографии напечатаны в издании: «IVAN BILIBIN» (text by Sergei Golynets, Harry N. Abrams, Inc., New York, Aurora Art Publishers, Leningrad).

Хочу отметить одну неточность в этой роскошной книге: на илл[юстрации] 120 под портретом моей сестры Валентины ошибочно указано мое имя. Было бы неплохо, чтобы это издание включило репродукции портретов моего отца, моей старшей сестры[290] и мой. Это пополнило бы книгу да и исправило бы допущенную ошибку.

Вспоминаю свой отъезд из Каира в 1922 году. Я должна была поехать к отцу в Чехию, где он с большим волнением и тревогой ожидал приезда остальной нашей семьи. В это трудное время для всех нас я должна была поддержать своего отца, помочь ему пережить тяготы первых лет эмиграции.

Еще хочу отметить, что я уехала из Каира в 1922 году к отцу в Чехию. А в феврале 1923 года Билибин женился на приехавшей к нему из России его старой знакомой художнице Александре Щекатихиной-Потоцкой, о чем Иван Яковлевич написал мне в одном из писем. Вот почему лирическая тема в его письмах прерывается. Помню, мы расстались большими друзьями, так как с пониманием и уважением отнеслись друг к другу. Когда я уезжала, Иван Яковлевич сказал мне примерно следующее: если так случится, что мы больше никогда не увидимся, помните, что где бы я ни был, когда я буду умирать и не смогу говорить, я помашу Вам как старый пес своим мохнатым хвостом.

Буду рада, если смогла чем-то Вам помочь, но думаю, что у Вас и без того достаточно материалов.

Кстати, хотелось бы знать, где в настоящее время находится вся коллекция Билибинских работ и будет ли к ним присоединен мой портрет.

Пожалуйста, если Вам это известно и у Вас будет время, напишите мне коротко об этом (хотя бы адрес музея).

С наилучшими пожеланиями в Вашей работе и глубоким уважением

Людмила Чирикова-Шнитникова

В.В. Беляков – Л.Е. Чириковой

17 апреля 1992 года, Каир.

Многоуважаемая Людмила Евгеньевна!

Не могу не похвастаться находкой[291], которую сделал недавно благодаря Вашему благородному поступку – передаче писем Ивана Яковлевича к Вам Советскому фонду культуры. К сожалению, редакция еженедельника «Эхо планеты» сочла возможным публикацию лишь черно-белых фотографий. По неясной мне причине не опубликован и общий вид панно. И все же, думаю, читатели получили возможность познакомиться с неизвестной ранее работой выдающегося Мастера[292].

Ваши воспоминания, опубликованные журналом «Наше наследие», читали всей семьей. Фрагменты из них я включил в свою книгу[293].

<...> Хотел бы задать Вам еще два кратких вопроса. Во-первых, после отъезда из Египта в 1922 году встречались ли Вы еще когда-нибудь с Иваном Яковлевичем, и если да, не припомните ли, когда, где и при каких обстоятельствах? И второй вопрос: доводилось ли после этого бывать в Египте?

<...> Желаю Вам всего наилучшего!

Ваш В. Беляков

Л.Е. Чирикова – В.В. Белякову

19 мая 1992 г., Флорида, С[анкт]-Пет[ербург].

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Спасибо Вам большое за милое внимание ко мне! Шлю Вам мои искренние поздравления по случаю Вашей замечательной новой находки – Билибинского панно. <...>

Теперь постараюсь ответить на Ваши вопросы: 1) встречалась ли я с И[ваном] Я[ковлевичем] после моего отъезда из Египта? <...> В 1926 г. (м[ожет] б[ыть], я ошибаюсь в точной дате?!), когда Билибин, уже женатый, был в Париже и устраивал свою выставку, я повидала его и взяла одолженный ему для выставки в Египте (после моего отъезда оттуда) мой большой карандашный портрет (кот[орый] сейчас находится в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве). Расставание наше было трогательным, т[ак] к[ак] мы оба понимали, что видимся в последний раз (я должна была вернуться в Америку, куда переехала в 1925 году, а Билибин думал о возвращении на Родину). <...>

2) вопрос: довелось ли мне быть в Египте еще? Никогда больше я там не была.

С искренним уважением и пожеланием всего доброго

Людмила Чирикова-Шнитникова

Л.Е. Чирикова

Вспоминая Билибина

<...> Наконец, 26 марта, нас везут всех в лагерь в окрестностях Каира, где пески, пальмы, длинные палатки для женщин, за оградой для мужчин, и несколько служебных зданий. И вот, именно тогда Билибин потерял равновесие и запил. Для меня это была первая и трагическая встреча вплотную с его алкоголизмом. Из мужского лагеря я получила записочку: «Моя милая сестренка, подумайте сами! Мы в Египте. Где-то далеко на чужбине. Ну, я Вас люблю! Это для Вас не новость! Сам я сейчас подыхаю (тоже не новость). Но, чур, во имя Ваших милых родителей – надо держаться вместе! Там, в России, мы разошлись бы[1], а здесь нет! Ваш друг – я! <...>[294] Доктору я сказал, что я знаю, что излечить меня трудно, что надо что-то радикальное! <...> Знаете, что нужно? Воля, воля и только! Ведь пьянство – это забвение, это вера в то, чего нет. Это утешение, это надстройка над жизнью. <...> Прошу Вас навестить Вашего больного брата (я болен, но трезв). <...> Да хранит Вас Бог! Ваш И. Б.».

Или приходило ко мне вдруг такое обиженное письмо[295]:

> «Сегодня без поэзии. Сейчас я хочу посмотреть Вам очень серьезно и прямо в глаза, сказать несколько горьких истин, немного поудивляться и погневаться.
>
> Хотя за последнее время я причинил Вам много неприятного и горького, но все же я еще больше и глубже обижен Вами. Некоторое время я совершенно падал духом и терял равновесие, а теперь я твердо знаю, что выдержу, что бы там ни было. Власть карандаша и бумаги, твердая, трезвая власть. Как у больного апатией, так и у меня воз-

[1] В оригинале – «мы разойдемся». См. раздел III, письмо № 6.

рождается интерес к моему восхитительному и любимому делу.

Мои сверхдружеские отношения к Вам останутся всегда прежними, но мне только обидно, что Вы оказались такой недоброй, такой непонимающей, такой "женщиной" и такой забывчивой.

И если Вы забыли, то хорошо, я напомню. Новороссийск. Первый период наших мытарств, когда Вы с сестрой были здоровы. Мы трое тогда были друзьями, как сестры с братом, допустим. Затем вы обе заболели, а родители Ваши уехали. Кто меня держал? Я хотел доказать, что дружба познается в опасности и несчастье. Я был благодарен судьбе за такую данную мне возможность доказательства, и я с радостью для себя остался.

У меня тифа не было. У меня, как Вы знаете, слабое сердце, и для меня тиф мог бы быть финишем. Я все время это знал. Я еженедельно[1] ходил к вам в больницу... Бушует норд-ост, пронизывает холодом до мозга костей, а я со своей корзиночкой с мандаринами, консервированным молоком пру себе по полю к своим галчатам-девочкам, думая о них с умилением.

И все это я делал с самой чистой радостью, думая, что приношу вам обеим пользу и сторожу вас».

Или он посылал мне длинные философские «Рассуждения о счастье»[296]:

«Вот я люблю пить вино. Это порок и очень скверный. Это, может быть, окончательная преграда для других людей, у которых есть гостиная, столовая, детская и все. Но для людей искусства это очень больная, обидная, словом, неприятная помеха, но не преграда. Ведь мы, имея крылья, можем перелететь через нее на зеленый луг с цветами!»

А ведь жизнь его выбивалась всякий раз в такие периоды на добрые две недели, и я всегда очень это переживала.

---

[1] В оригинале – «ежедневно».

Наконец мой маэстро в Каире отыскал себе очень предприимчивого итальянца, который обещал его познакомить и достать заказы у богатых греческих плантаторов хлопка, у которых в Александрии были роскошные виллы, очень подходящие для росписи в византийском стиле, что также подходило к стилю самого художника Билибина. Вопрос был поскорее организовать и устроить мастерскую в Каире и бросить окончательно лагерь. Поэтому мы с сестрой тоже переселились в Каир. Еще до переезда из лагеря один энергичный человек из нашей эмиграции, некий господин Панков, обошел весь лагерь и набрал программу для концерта. Русские концерты устраивались в самых роскошных английских отелях Каира, и англичане охотно нас поддержали. Это помогло нам всем привести себя в порядок. Среди участников были хорошие певцы и музыканты. Меня уговорили танцевать гопак с балетным танцором, и я успешно танцевала.

Кроме того, посещая Арабский музей Каира, я осмелела и спросила: нет ли у них какой-нибудь работы? «А что вы можете делать?» – спросил меня почтенный старик-директор в красной феске. «Рисовать», – ответила я. И, о чудо, выяснилось: директор этот пишет книгу о персидской керамике и ему были очень нужны точные зарисовки некоторых экспонатов музея. И пошла у меня интересная работа. Я очень полюбила всю атмосферу этого музея. Он был в арабском квартале города, вблизи знаменитого базара Муски, куда я обожала ходить – столько было там интересного! И даже когда я рисовала, сидя в кабинете директора, в открытые окна шумел и пел арабский Восток – это были чудные для меня звуки. Билибин иногда тоже приходил в музей и делал свои зарисовки.

Но потом ему стало не до того – у моего маэстро появились заказы, и мы с сестрой и еще с одной старой его ученицей Ольгой Сандер бросились помогать устраивать его мастерскую. Ни у кого не было ни гроша, но были молодость и энтузиазм. И закипела работа! Помню, как мы раздобыли для мастерской большой старый шкаф и усердно его покрасили, поставили большие столы и диваны в высокой студии и, главное, – везде и всюду поставили вазы с розами. Благо, что сама мастерская стояла в розовом саду профессионального садовника на улице Антикхан[а], что означает – улица Музея. Знаменитого Музея Масперо[297]. Создан-

ный нами «уют» неожиданно дополнился собакой. Как рассказал нам Билибин, вечером кто-то стал царапать в дверь. Открыв ее, он увидел нечто лохматое, похожее на муфту, явно просившее о помощи. Так в мастерской появилась собака. А еще через несколько дней эта Муфта залезла ночью в шкаф, который мы так красиво покрасили, и родила в нем двух щенят, которых мы быстро окрестили: Хеопс и Клеопатра, несмотря на их явное дворняжье происхождение.

Привожу здесь текст замечательной художественной грамоты, которая была тогда разослана всем друзьям Билибина.

> «Мы, милостью Божией Иоанн, повелитель всея Белыя и Черныя Антикхании и прочая и прочая...
>
> Всем нашим верным подданным сим объявляем: Всемилостивейшему Року угодно было увеличить подвластный нам род Муфтийский, а посему мы приглашаем всех верных подданных наших собратьев во дворце Антикханском сего дня, 19-го июня, года 1921-го для принесения поздравлений Его Антикханскому Величеству по поводу столь радостного события.
>
> Его Величество не преминет убрать столы Гроппийскими[298] снедями. Час приема – 5 пополудни, форма одежды – парадная.
>
> И о а н н»

В мастерской было уже весело и уютно. У стены стояло начатое большое декоративное панно в пять с половиной метров длины и два с половиной метра ширины. Византийский стиль VI века эпохи Юстиниана. На нем было все: император, императрица, шествие придворных и богатейшие орнаменты, над которыми работала помощница Ольга Сандер. На мольберте стояло начатое панно «Борис и Глеб на корабле», которое я очень любила и над которым работала. И уже подвигались иконы для маленькой греческой церкви при госпитале. Третий помощник, по прозвищу Есаул, трудился над ними, накладывая листовое золото. Наш маэстро выбрал старый стиль икон XV века, и заказчики, которые были не очень образованные люди, были недовольны, так как ожидали слащавый стиль XIX века. И хотя они все же заплатили,

но, как говорил Билибин в свое оправдание, «довели меня до точки», и он хорошенько запил, нанял верблюда и стал разъезжать на нем по мусульманскому Каиру и по близлежащей пустыне. Работа остановилась на две недели.

Я сидела огорченная и сердитая в моем английском пансионе, когда появился у меня наверху наш араб-слуга в белом халате с красным кушаком и в красной феске и торжественно принес на подносе карточку посетителя, на которой было написано:

«Иван Яковлевич Билибин стоит внизу
Очень огорченный тем, что случилось.
Но сердце его любвеобильно и вопрошающе:
Он смотрит на оконце. Уже село солнце.
Не то, космографическое,
А другое – поэтическое, или, скажем, аллегорическое.
Сидит за бумагой и рисует с отвагой.
Солнце, солнце! Выгляни в оконце!»

И наша дружба была восстановлена, и работа пошла дальше.

Мусульманский, арабский Египет, который нас окружал, вдохновлял на творчество нашего маэстро: «Каир – это клад для художника», – говорил он. Все свободное время от работы мы осматривали город и знаменитые мечети. Тогда он сделал несколько очаровательных акварелей – «Персиянка с арабчатами», «Продавщица фруктов», «Охотник» и другие, которые проданы были в Каире. Мы, конечно, часто ходили в знаменитый музей Древнего Египта – Масперо и спускались во все раскопки гробниц в пустыне, включая гробницы Аспиев[299], но это все еще представало перед нами в каком-то торжественном и мистическом покое, пока мы, наконец, не решили поехать с экскурсией в Верхний Египет, Луксор и к гробницам фараонов.

Какое это было незабываемое зрелище – покидать на рассвете громады египетских храмов в Луксоре, переплывать на лодке через Нил на другую сторону, где мы садились на осликов и ехали целый день по раскаленной пустыне в Долину фараонов[300].

Там все вдруг оживало и загоралось чудесными огнями, и маэстро задумал сделать рисунки и писал мне в Александрию[301], куда я уехала от жары купаться: «Я засел за рисование и набросал

титульный лист для "Поэмы Центаура"[1], которую я окончательно выбрал для художественного воплощения. Голова молодого Рамсеса, заполняющая собой всю страницу. (Модель – статуя Рамсеса в Турине.) Фараонский шлем змеею, шея, ожерелье и часть плеча. На высоте плеча, на фоне, маленькие фигурки рабов, ведущих боевых коней. В углу наверху, в вертикальном расположении картуш с иероглифами – имя Рамсеса».

Иван – Железная Рука (старое прозвище художника Билибина) сделал бы это замечательно! «Вот, – говорил он, – идеальное поле для самой аристократической графики! Чтобы делать египетские композиции, линия должна быть чиста, как тянущийся звук из-под смычка скрипача-виртуоза.

Если Вам понравится наружность моего Рамсеса, то пусть это буду я!»

Но я даже не знаю, было ли это сделано или нет, так как вскоре я должна была уехать в Берлин (1922 г.) встречать моих родных из России. Может быть, без моего энтузиазма и занятый текущей работой, маэстро никогда это не закончил... <...>

---

[1] Л.Е. Чирикова неточно цитирует И.Я. Билибина. В его письме правильно – «Поэма Пентаура».

В.Е. Чирикова-Ульянищева
при участии Л.Е. Чириковой-Шнитниковой

ПО СЛЕДАМ ПРОШЛОГО

Гости английского короля[302]

<...> 13 марта мы подошли к Александрии. Весь город залит красным заходящим солнцем, по воде спокойно скользят парусные лодки с красными флажками; чудный пейзаж с пальмами и домами с плоскими крышами; мы чувствуем себя точно на обратной стороне планеты – все необычно и так далеко от нашей измученной беспокойной Родины.

На другой день нас выгрузили и поместили в карантинное помещение. Теперь мы могли разговаривать с Билибиным только через решетку дворика, разделявшего его на две половины – мужскую и женскую. И тут жизнь опять посмеялась сама над собой и очень развеселила Ивана Яковлевича. Мы оказались посредниками встречи двух стариков, до этого еще только знавших по официальным спискам о том, что они находятся рядом, помогли им увидеться у этой самой решетки и были поверенными того впечатления, какое они произвели друг на друга после многих лет разлуки.

– Подумать только, – сказал Ивану Яковлевичу старик, – была такая восхитительная, неотразимая женщина. Признаться, я был в нее влюблен. А теперь – что? Чертова перечница.

– Да из него песок сыплется, – делилась с нами старушка, – а ведь он шикарно танцевал мазурку и в первой паре со мной открывал бал, мы вальсировали с ним великолепно!

Сейчас в Египте сезон сбора плодов, за ним начнется время ужасной шестидесятиградусной жары[303], когда все европейцы уезжают из Египта. У нас с сестрой нет ни денег, ни имущества. У нас только ручные чемоданчики, на нас зимние платья (а шубы мы выбросили) – это все, что было у нас в Новороссийске[304]. Нас продержали в карантине несколько недель[305] и перевезли в русский лагерь Телль-эль-Кебир.

Вокруг голая, песчаная, бесконечная равнина; над головой – африканское палящее солнце; городок палаток окружен колючей проволокой; кругом – индусские часовые; полное отсутствие какого-либо пейзажа, ни единого деревца, по ночам воют шакалы, они довольно близко подходят к лагерю. Ночной небосвод подобен высокой опрокинутой гигантской чаше с падающими за горизонт краями, и насколько плоска земля, настолько небо круто и кругло накрывает землю. Эта гигантская чаша цвета индиго рассвечена пронзительно яркими звездами. Большая Медведица точно сорвалась со своего места и упала: она необычно близка к горизонту. Необыкновенно красивы были рассветы в этой пустыне: белые палатки становились сиреневыми, потом ярко-голубыми, а при первых лучах солнца – ярко-розовыми. Я любовалась этим, обходя санитарные палатки, ухаживая за нашими тифозными.

В лагере мы застали несколько сот человек совершенно нищего и в большинстве случаев нравственно деморализованного русского офицерства. Приблизительно половину составляли раненые и сыпнотифозные. Все беженцы жили в маленьких палатках по два-три человека. В палатках не было ни столов, ни табуреток. Сидели на койках и ставили фанерные ящики, за которыми обедали, получив в очереди миску плохого супа и чего-нибудь на второе. Стирали белье без мыла в умывальниках лагеря и тут же, высушив его на песке, снова на себя одевали. Приехали англичанки из какого-то благотворительного общества посмотреть, как мы устроены, и вскоре прислали для нас мыло и множество шляп. Одетые в мятые, поношенные платья, лагерные женщины выглядели довольно смешно в этих разнообразных модных соломенных шляпах.

Ивана Яковлевича очень удручала лагерная жизнь, и он все время ругал эту неожиданную для нас тюрьму, где «можно только выть, как шакалы, с тоски». Он очень тяготился вынужденным бездельем в таких безнадежных для какого-либо занятия условиях. Вечерами мы с завистью смотрели на манящие огоньки в окошечках экспресса, молниеносно проносившегося мимо нас в Каир.

После нескольких недель лагерного карантина англичане стали выдавать русским отпуска в Каир. Билибин сразу же бросился туда. Постепенно завязал там знакомства и нашел работу. Нас он

ссудил деньгами, чтобы мы в Каире купили себе летние платья, белье и обувь. Следующая затем наша поездка была для приискания работы.

Выпуская русских из лагеря, англичане брали с них расписку, что никаких дальнейших претензий на помощь английского короля они предъявлять не будут. С этого момента они переставали быть беженцами и становились эмигрантами. Мужчин, устроившихся на работу в Египте, было не так много, в большинстве это была безденежная военная молодежь без всякой профессии и совершенно не знавшая иностранных языков. Образовав колонию для русских на две тысячи человек, англичане не подумали об их трудоустройстве, не организовали ни курсов языков, ни мастерских и обрекли совершенно здоровых людей на полное бездействие и паразитическое существование. «Гости» не выдержали, попросились обратно домой и были транспортированы в Крым[306].

Иван Яковлевич не рассчитывал в скором времени вернуться в Россию; он хотел как художник обогатиться всем, что ему могли дать Египет и Палестина, а затем двинуться в Европу. Он поговаривал даже о кругосветном путешествии, испытывая тягу к «хождению за три моря»[307].

Перед русскими женщинами в Каире, помимо тех, кто устроился врачами и педагогами во французские школы, открывались всевозможные пути к авантюрам: в качестве няни, медсестры или просто компаньонки к престарелой богатой особе можно было, не имея ни гроша в кармане, уехать из Египта и в Италию, и в Индию, и на курорты Франции; русские девушки из нашего лагеря были желанными женами для богатых греков-плантаторов и торговцев-сирийцев. Юных дочерей растерявшихся полковниц, толкнувших девушек на этот брак, ждала безбедная и бесцельная жизнь, ничем не отличавшаяся от жизни в гареме. Плантаторы увозили их в глубину страны, а торговцы-сирийцы запрещали им всякое общение с русскими. Потом я часто видела одну из них на улицах Каира во время ее одиноких прогулок в экипаже. Пышно разряженная, она сидела недвижно, как окаменевшая, и смотрела вперед невидящим, мертвым взглядом.

Я сначала работала няней в одной итальянской семье. Затем устроилась медсестрой в госпиталь и, наконец, в маленькую частную хирургическую клинику.

Сестра начала свою работу с участия в эмигрантской концертной труппе, сложившейся еще в лагере, в качестве исполнительницы характерных танцев. Это помогло нам выбраться из лагеря. Труппа носила сильно любительский характер. Иван Яковлевич протестовал против участия в ней сестры, в особенности после того, как сестра получила очень денежное предложение в кафешантан. С радостью ухватившись за уроки рисования в гареме, Людмила бросила труппу и поселилась в английском пансионе Общества молодых христианских женщин. Вскоре она получила интересную работу при Арабском музее, где ей поручили зарисовки образцов старинной керамики для музейного издания.

Антикхания

Когда Иван Яковлевич впервые попал в Каир, он направился в давно уже существовавший там клуб. Организовал его бывший русский консул[308], который, по египетской поговорке, испив воды Нила, остался навек на его берегах[309]. Он познакомил Ивана Яковлевича с арабской интеллигенцией и с директором Арабского музея. Через них Иван Яковлевич получал заказы на стенописи, а через европейские знакомства бывшего консула – заказы на портреты и декоративные панно.

Получив первый большой заказ и солидный аванс, Билибин снял отдельный домик под мастерскую и свое жилье. Он привлек к работе мою сестру, О[льгу] Сандер (свою бывшую ученицу) и молодого помощника по прозвищу Есаул, с которым он и поселился. Мастерская была на улице Антик-Кхана в европейском квартале, в саду с пальмами и обилием роз. Но одна стена мастерской выходила на арабский базар – Черная Антик-Кхана. Оттуда доносились восточные напевы нищих и торговцев. Нищие всегда шли гуськом по пять человек, держась друг за друга, с поводыремальчиком впереди. Подмастерья научились им подражать и за работой им подпевали. Иногда проходила шумная арабская свадьба или похороны. Билибина везде и всегда сопровождала шаловливая муза шутки. Свою мастерскую он прозвал Антикхания, а себя Иоанн Белой и Черной Антикхании. По случаю неожиданного рождения в шкафу с костюмами Билибина у приблудной собачки

Муфты уродливых щенков, Хеопса и Клеопатры, было объявлено пиршество с торжественным приглашением от Иоанна Белой и Черной Антикхании: «Всемилостивейшему року угодно было увеличить подвластный нам род Муфтийский...»

Сестра помогла Ивану Яковлевичу уютно устроить мастерскую: появились большие столы, запасы бумаги и красок, на столе каждое утро – свежие розы. Иван Яковлевич приобрел много книг по искусству. На стены повесили две огромные персидские набойки – это были изумительные, уплотненные до крайности композиции из всадников, воинов, лошадей, отрубленных голов и всякого оружия. Иван Яковлевич мечтал не раз создать грандиозное панно своей композиции на эту же тему. Но заказы к нему сыпались со всех сторон, и времени осуществить заветную мечту уже не оставалось: вдохновение тормозилось исполнением работ для заработка.

Склонность Ивана Яковлевича к лирике и шутке придавала особую теплоту его отношениям с людьми. В Антикхании работали дружно и шутили весело.

По желанию всей рабочей братии Билибин взял напрокат пианино, и в Антикхании появилась музыка. По вечерам собирались небольшой группой. Приходила М[агдалина] В[ладимировна] Степанова, вдова бывшего члена Государственной думы, наш старший друг и заботливая «африканская мама», неизменная соучастница нашего отдыха, бесед и экскурсий. Иван Яковлевич слегка ревновал нас к ней, не желая уступать ей права опекунства над нами и своего авторитета старшего в нашей компании.

Дружно импровизировался на примусе общий ужин, ставилось большое блюдо свежих темно-красных фиников и местных фруктов, очень нежных и потому невывозимых и неизвестных в Европе: манго – по вкусу смесь мандарина с бананом, и гаяфа[310] – смесь клубники с грушей. В то время как местные жители охлаждались напитками со льдом и мороженым, в Антикхании без конца пили чай, утирая обильный пот, как на Волге. А вместо того, чтобы сказать «выпьем чайку», привилось выражение «транспирнем» (от французского глагола transpirer – потеть).

Этот русизм в нравах не могла исправить даже богатая кондитерша, мадам Гроппи, которая по случаю окончания Иваном Яковлевичем ее портрета стала посылать в мастерскую мороженое.

Когда спадал зной, вся Антикхания отправлялась на Нил, брала большую лодку с огромным парусом и, растянувшись, как на летящей птице, отдыхала от тяжелого дня, или же ездила на верблюдах по зыбучим пескам, а потом до темноты оставалась в пустыне лежать и беседовать около сфинксов[311].

Рабочий день в Антикхании, несмотря на шутливость, был чрезвычайно заполнен. Композиции для стенописи и панно исполнялись по три и четыре месяца, и в них Иван Яковлевич уходил с головой. «Подмастерья» с увлечением работали тоже целыми днями и вели между собой ожесточенные споры, выписывая кроткие святые лики.

В особенности была сложной и трудоемкой работа над эскизами для росписи сирийского собора[312]. Для иконостаса греческой госпитальной церкви Иван Яковлевич выбрал иконописный стиль XV века, что совсем не понравилось его заказчикам: они ожидали слащавую роспись в духе итальянцев XIX столетия. Билибин был этим так расстроен, что на две недели «сошел с рельсов» и даже в одиночестве катался на верблюде по пустыне.

Главными заказчиками Ивана Яковлевича были богатые греки (Бенаки, Касдагли и другие). У них в Каире были роскошные особняки, и Билибин для их столовых писал панно в византийском стиле. Панно для Бенаки изображало восседающих на троне царя и царицу в окружении придворных. Для него же Билибин писал «Корабль» и впоследствии «Всадника» (с соколом и собакой). Сообщая Людмиле в Берлин об этой работе, Иван Яковлевич делится с ней своими размышлениями:

> «Сегодня, когда я рисовал своего византийского всадника, то я думал о том, что возможна целая теория ритма и гармонии линий, а также, конечно, дальше и красок. Эта теория могла бы быть зафиксирована в стройные законы, как теория музыки и контрапункт.
>
> Большинство художников работает чувством и нутром, причем многие стали бы презирать такую зафиксированную теорию, думая, что это была бы сушь и мертвый педантизм, но это вздор. Сознательность только подымает искусство. Если бы Римский-Корсаков не знал теории музыки, то выиграл ли бы он от этого? Конечно, нет. С другой

стороны, знай человек в совершенстве законы данного искусства, но не имей божьего огня, то разве выйдет из него художник? Конечно, нет. Зато талант, помноженный на сознательность, может стать сильнее во много раз.

Большинство не умеет обращаться со стилями, ища в них какую-то историческую точность. Мы – люди новые, XX века. Для нас стиль есть только повод. Я не могу скопировать точно какую-нибудь византийскую мозаичную композицию, ибо иное меня в ней шокирует, но многое – нравится, и, имея перед глазами безразлично какой стиль, я должен уловить тот ритм, который мне в этом материале мерещится, его гармонию, и это будет мое личное, хотя и в старом каноне данного стиля. Срисовывать глупо... Надо быть талантливым художником, но одновременно и умным»[313].

К теме о ритме и гармонии Билибин возвращался очень часто. В другом письме к Людмиле он пишет: «Как грубое слово “расчет”, так и поэтичное “гармония” в сущности родственны, ибо оба основаны на счете, на математике. Любовь к счету или ритму заложена, как естественный закон, в нашу природу, но только расчет есть счет явный (напр[имер], бухгалтерия), а ритм и гармония – счет скрытый (тонкость духа и, конечно, всякого рода искусство)»[314].

Большинство заказов на панно Иван Яковлевич исполнял в своем излюбленном византийском стиле, но однажды арабский паша Мидхат пожелал для себя панно с маркизами. За эту необычную для него тему Билибин взялся без радости и кончил без удовлетворения. Он писал сестре: «Я бы на выставку “Мир искусства” их не поставил[315]. Конечно, это не Луи сез. Есть немножко от гобелена, от Пуссена, а главное, от нашей фирмы»[316]. Но творческая фантазия Ивана Яковлевича была растревожена этой темой, и он неожиданно продолжает так: «Было бы очень интересно исполнить в таком стиле громадный романтический пейзажище: тяжелые купы деревьев, частью зеленых, но мутноватых и темных, частью коричневых; тяжелые груды облаков и туч с просветами сине-зеленого неба, довольно интенсивного тона. Потом какие-нибудь скалы, на них развалины замка. На заднем плане – море и паруса»[317].

Каир европейский

Билибину и нам, конечно, пришлось сначала познакомиться с Каиром европейским. Каир – большой миллионный город. Европейская его часть очень чиста и нарядна. Серые и желтые кубы малоэтажных домов прикрыты богато цветущими деревьями. Издали эти деревья похожи на лиловые, розовые и белые букеты, вблизи поражают большие размеры их цветов, они разбросаны по зелени, как на персидской миниатюре, в которой оказалось меньше стилизации и больше правды, чем я думала.

Скверы с пальмами устланы по низу сочным ярко-зеленым газоном. Обнаженный до пояса стройный негр поливает этот освещенный заходящим солнцем ковер необыкновенно длинной сверкающей струей. Он мог бы быть скульптурой в Версале или Петергофе.

На набережной Нила – дворец-гостиница[318]. По вечерам там дансинги, и вся она сверкает огнями. Английские полковники водят туда развлекать своих скучающих жен. В этой части Нила пароходы не ходят, в Каире Нил принадлежит всецело египтянам[319]. Их большие и маленькие лодки с огромными косыми треугольниками парусов, прикрепленных к гибким стволам бамбука, придают Нилу особенно египетский колорит на фоне скучной и низкой равнины другого берега.

Для развлечения есть кинотеатр. Он построен полукругом, и места идут амфитеатром. Потолка нет, днем натягивается парусиновый тент, а вечером над головами зрителей бездонное небо со сверкающими звездами. Билибин удивлялся, что в таком большом городе нет театра[320], нет музыки, нет художников, одним словом – нет души. В Каире европейцы создали для себя культурные удобства и чистоту, открыли европейские магазины, рестораны, кафе и кафешантаны, но душу оставили в Европе.

Европейский Каир того времени был страшно пестрый город по национальностям: англичане, французы, итальянцы, евреи, греки. Симпатии к народам у нас были разные, и мы часто спорили с Иваном Яковлевичем, у кого больше положительных качеств. В одном мы сходились и между собой и с арабами: мы недолюбливали колониальных англичан. Арабы симпатизировали русским. Они всегда приветствовали нас словом «хорошо». Ино-

гда, проходя мимо, бурчали скороговоркой, как заговорщики свой пароль: «Московит – хорошо, англизи – плохо».

Каирские англичане не только не имели никакого представления, что делается в России, об этом не знали и русские, они вообще совершенно ничего не знали о России. Англичане спрашивали меня:

– Правда ли, что в Москве встречаются волки?

– Правда ли, что в Петербурге дамы продают газеты?

Все несчастье эмиграции они видели в том, что какая-то графиня не имела «приличного носового платка».

Английский язык в Каире был почти не нужен: все разговаривали, как с арабами, так и с европейцами, на французском языке. Иван Яковлевич очень быстро восстановил свою французскую речь и совершенно свободно писал по-французски деловые письма.

Среди иностранцев у нас был друг: американец славянского происхождения, миссионер, мистер Верби, приехавший из Абиссинии. Он угощал нашу компанию экскурсиями на осликах. В гористой части пустыни, примыкающей с одной стороны к Каиру, он, как и следовало от него ожидать, показал нам родник, который, по преданию, Моисей извлек из скалы во время исхода евреев из Египта. Мистер Верби имел кое-какое представление о русском языке и оставлял Ивану Яковлевичу смешные записочки: «Если вы свободни, я хочу поедим можно би на пирамиды».

Каир мусульманский

В Каир мы влюблены, а больше всех наш мэтр, так называют Билибина почтительные египтяне.

Два представителя арабской интеллигенции – один архитектор, другой служащий Арабского музея – показывают нам мусульманскую часть города. И каждый раз после очередного осмотра Иван Яковлевич поражался, какой богатейший материал дает неисчерпаемый арабский Восток:

– Каир – это клад для художника.

Мы начали осмотр с кварталов старого города[321]. Он несравненно больше европейской части. Нас ведут по бесконечному ла-

биринту узеньких улиц с нависающими балкончиками, наглухо закрытыми со всех сторон мельчайшей кружевной деревянной сеткой. За ними женщины прячутся от мужского взгляда[322]. Этот лабиринт улиц наполнен вечно кричащими арабами. В воздухе стоит какофония звуков. Продавцы напитков и бананов не только кричат, но еще и звонят в какие-то звонки и колокольчики, пристроенные к их подвесным ношам.

Костюмы – самые живописные: цветные, белые и черные халаты, тюрбаны и красные фески. Женщины – в черных одеяниях, спадающих с головы крупными складками, завешанные паранджой, – идут своей особой пластичной походкой, она выработалась веками от ношения на голове огромных кувшинов и круглых плетеных подносов. Девочки, которых они ведут за руку, их совершенные маленькие копии. Это женщины из египетских деревень.

Билибин обратил внимание на то, как отличаются от них арабские городские женщины: они не так лиричны, не всегда носят паранджу, грубоваты в движениях, у них «коммерческие» жесты, и они так же крикливы, как и арабы.

Старые бородатые феллахи верхом на маленьких осликах, семенящих ногами, пробираются в толпе. Они напоминают нам Галилею с картин старых русских мастеров.

Выше толпы проплывают, покачиваясь от медленного шага, длинные шеи и горбоносые профили нагруженных верблюдов – они грустно и мечтательно проносят свои головы над шумной человеческой суетой.

Показали нам и особую улочку, где продажные женщины выставлены напоказ. Они сидят в каменных нишах за железными прутьями, и тут же их хозяева громко зазывают посетителей.

Колорит Востока Билибин находил в сочетании богатства и роскоши мечетей с уличной пестротой и живописной нищетой. Полуголые нищие, насквозь серые дервиши, высохшие старухи, тут же гадающие, сидят в тени выступающих каменных углов. По краям узеньких улиц – живописнейшие лавчонки, над ними или маленький холщовый навес, или они совсем открыты и располагаются на улице. Среди ковров, чувяк и бус сидят, поджав ноги, купцы в полосатых халатах и бедуины с блюдами бирюзы. Мелкие ремесленники и кустари работают тут же, на глазах толпы. У стен домов кое-где сидят важные менялы и писцы.

Множество мечетей разной древности, начиная с раннего средневековья. В тени их порталов или под деревом распростерта фигура араба – он спит, подложив под голову толстый Коран.

Мечети мы осматривали в течение долгого времени, выбирая для этого свободные от текущей работы дни. Мы очень любили бывать в мечети Эль-Азхар[323], где на длинных цепях с купола спускаются лампады, в ее огромном дворе с колоннадой, где арабские студенты изучают Коран. Поучающие старцы в кругу подростков, сидящих на циновках и припадающих к полу в неистовых поклонах, – их шелестящее гортанное бормотание раздается в разных углах двора. Осматривая мечети, Билибин восторгался роскошью и причудливостью кружевного восточного стиля и в особенности, как он выражался, его «головокружительной орнаментикой». Богато проиллюстрировать одну из сказок «Тысяча и одной ночи» стало мечтой Билибина. Он говорил, что, подобно русским композиторам, он тоже должен в своем творчестве принести немалую дань Востоку.

– Ну, на что нам, великороссам и славянам, готика, нам – с громадной примесью восточной крови!

В это время он получил письмо от Рериха, где тот писал ему, что в Европу ехать не стоит: «Там – сумерки богов, и где-то черпнуть Востока – сейчас большое счастье». В Каире Билибин был среди него, дышал им, наслаждался его красочностью, фантастичным соединением разных культур, отраженных в искусствах Древнего Египта, эллинистическом, коптском и мусульманском. Вдохновленный Востоком, Билибин создал несколько очаровательных акварелей, как «Персиянка с арабчатами», «Продавщица фруктов», «Охотник» и другие (большинство их продано в Каире).

Египет фараонский

Древний Египет в первый год был далек от Билибина. Он сознавал, что еще не вник в этот, как он называл, «фараонский Египет», но признавал, что все это очень интересно. Он очень ценил богатый Египетский музей, но больше посещал музей Арабский.

Наш осмотр египетских памятников начался с поездки к пирамидам. От конечной остановки трамвая мы ехали на верблюдах.

Они, как извозчичьи клячи прежних времен, имели довольно плачевный вид. От гордых царей пустыни у них ничего не осталось, они плевались отвисшими губами и, вероятно, ненавидели нескончаемых туристов. По ступенчатым огромным камням пирамиды с помощью арабов мы влезли на самый верх[324]. Там, к нашему удивлению, празднично одетый араб предложил нам выпить по чашечке кофе. С вершины пирамиды открывался чудесный вид на Каир и холмы Мукаттама. Мы посидели у лап загадочного сфинкса, но в обстановке туризма он не произвел на нас особенного впечатления. Впоследствии билибинская Антикхания ездила к пирамидам по вечерам и любовалась ими при лунном освещении.

Самым интересным из виденного в этот год в окрестностях Каира был подземный храм Аписа с чудесными фресками и подземными покоями, в которых стояли черные гранитные саркофаги священных быков[325]. Самым красивым был вид с холмов Мукаттама на Каир и на погребальные памятники мамелюков, среди которых лежала на земле опрокинутая навзничь статуя Рамсеса. Чтобы можно было ее обозреть, нужно было подняться высоко по лестнице на специально построенную для этого площадку и смотреть на нее вниз с высоты[326]. Иван Яковлевич учил нас видеть красоту пустыни и пальмовых рощ глазами художника. Нам с сестрой не нравилось, что пальмы не дают ни тени, ни прохлады. Иван же Яковлевич раскрыл нам сущность их красоты, обратив наше внимание на яркую лазурь, сквозившую в узорчатом орнаменте их вырезанных листьев. Он обратил наше внимание и на великолепные эффекты освещения песков пустыни: оно переходило от золотых тонов полдня к светотени сумерек – медно-красной, а еще позднее – к розово-сиреневой.

Как-то у нас зашел разговор, в чем секрет впечатления силы и неразрушимости пирамид.

– Такое впечатление, – сказал Билибин, – создает простота линий и архитектоники в сочетании с большими размерами.

Вскоре я уехала в Болгарию, куда в это время приехал мой отец, а Людмила осталась еще на год в Египте. В этот второй год увлечение Востоком сменилось увлечением «фараонским» Египтом. Теперь Билибин и моя сестра часто и с неизменным волнением входили в прохладу стен огромного музея Масперо. Они по-

стоянно совершали экскурсии, спускались в гробницы и снимали там иероглифы и детали фресок. Билибин называл шедеврами египетские изображения животных с их четкой и выразительной линией рисунка. Они задумали собрать и издать художественный материал для графики и показать стилизацию зверей, начиная с Древнего Египта. Поэтому Билибин делал бесконечное число снимков с первоисточников – в гробницах, музеях, включая коптскую и мусульманскую резьбу по дереву и камню.

Билибин отыскивал в гробницах, музеях и у антикваров коптские и египетские барельефы и, наконец, сам вдохновился сделать графическую работу для иллюстрации поэмы Пентаура. <...>[327]

Интерес к египетским композициям уже появился, когда составилась группа для поездки в Верхний Египет. К Билибину примкнули, кроме моей сестры, еще супруги Лукьяновы, оба египтологи[328], и француженка-археологичка. Об этом путешествии Людмила вспоминает: «В Луксоре, чуть начинало светать, подавались ежедневно ослики с гидом, в отеле укладывали для нас большую корзину бутербродов на весь день. Мы отправлялись, переехав на барже на другую сторону Нила, через поля и дальше – через пустыню, в Долину царей, где находятся самые замечательные гробницы. Работающие на полях египтяне освещались ярким пламенем восходящего солнца, и контрастно ложились на землю их утренние длинные лиловые тени. Мы вспомнили работы Сарьяна[329] на выставках "Мир искусства" и поражались, как верно он передал все эти краски.

У меня был ослик, которого, по словам гида, звали Сара Бернар (так его назвал кто-то из путешественников). Эта Сара давала спектакли при моем невольном участии: на быстром ходу она внезапно останавливалась, а я летела через ее голову. Кавалькада наша была веселая. Мы терпеливо ждали полдня, когда можно было скрыться от солнца в развалинах храма и устроить пикник.

Луксорские храмы открываются для осмотра в полнолуние. Мы провели фантастический лунный вечер среди грандиозных развалин и колоссов. Во всем было что-то величественное и вечное». <...>

М.Н. Потоцкий

Дядя Ваня

Мы познакомились с Иваном Яковлевичем, когда я был еще ребенком и большой океанский пароход, на котором плыли мы с мамой, причаливал в порту Александрии. Человек, одетый в белое, с матовым загоревшим лицом, с усами и иссиня-черной бородой, махал моей маме, Александре Васильевне Щекатихиной, и мне своей шляпой.

Когда на пристани он подошел к нам, пробравшись через толпу встречающих, я внимательно его рассмотрел. У него была приветливая улыбка, проницательные, искрящиеся добротой карие глаза, гладко выбритые щеки, на правой щеке бородавка. Обращаясь ко мне, он сказал, слегка заикаясь: «Ну, Славчик, будем знакомы. Я – дядя Ваня».

Из Александрии мы поехали в Каир, где на рю[1] Антик-Кхана, 13, в небольшом доме, расположенном в саду с финиковыми пальмами, декоративными бананами, огромными платанами и розами, жил тогда Иван Яковлевич. Узкое окно фасада выходило в сад, окна противоположной стороны смотрели на одну из улочек, ведущую к арабскому рынку Муски. Иван Яковлевич занимал огромную мастерскую и две комнаты. На одной из стен мастерской висела персидская декоративная ткань с изображением битвы. В правом углу на столе стояла керосиновая лампа, банки с водой, чашечки с разбавленной краской, из стаканов торчали кисточки и карандаши. Здесь же лежали тюбики с акварельными красками, кальки, бумага. За этим столом работал Иван Яковлевич. В другом углу разместилась со своим фарфором Александра Васильевна.

В Египте рабочий день Ивана Яковлевича начинался в шесть часов утра; с одиннадцати до шести вечера был перерыв, а затем,

---

[1] Rue – улица (*фр.*).

иногда до поздней ночи, снова работа. Художник любил работать по ночам до двух-трех часов ночи.

В начале своего пребывания в Египте Иван Яковлевич в основном занимался оформлением различных декоративных панно в византийском духе для богатой греческой колонии Каира. Теперь он сосредоточил свое внимание на изучении древнеегипетского искусства, по всей вероятности близкого ему строгостью своих графических линий.

Оба художника, Иван Яковлевич и Александра Васильевна, отдавали все свои силы творчеству и много и плодотворно работали. Иван Яковлевич создает серию пейзажей: «Двор университета Эль-Азхар», «Гора Могадам»[330], «Улочка Каира», «Пирамиды в сумерках» и другие, а также серию портретов: «Голова арабского мальчика», «Феллах», «Шейх», «Арабская женщина».

Александра Васильевна декорирует сервизы, посылает эскизы на фарфоровый завод в Петроград.

В свободное время они ходят по арабским кварталам, по рынкам, посещают арабские кофейни, где слушают певцов, в частности популярную тогда певицу Таухиду. В кофейнях и на рынках они скупают лубки. В то же время они выезжают в пустыню к ступенчатой пирамиде Джосера[331], осматривают древние храмы и гробницы. Иван Яковлевич спускается в подземелья древнеегипетских захоронений и фотографирует здесь при свете свечи заинтересовавшие его иероглифы, скульптуры, росписи.

Во время своего путешествия в Долину царей Иван Яковлевич осмотрел только что открытую гробницу Тутанхамона и видел вскрытый саркофаг фараона[332].

Постепенно круг знакомых Ивана Яковлевича значительно сузился. Отпали те, которые считали приехавшую из СССР Александру Васильевну красной. Остались близкие друзья, и среди них, как мне помнится, египтолог В[ладимир] М[ихайлович] Викентьев[333], инженеры А[лександр] С[ергеевич] Бибиков и Лелявский, чехословацкий дипломат А.А. Бабка, французский литератор, энтузиаст арабской культуры Ф. Бонжан и его семья.

В Египет на гастроли приезжает Анна Павлова[334]. Балерина и художники быстро сдружились. Анна Павлова вместе с Виктором Эмильевичем Дандре[335], своим мужем, проводит вечера в мастерской Ивана Яковлевича. Часто все они вместе бродят по араб-

ским улочкам вечернего Каира, выезжают в пустыню, посещают древнеегипетские храмы и гробницы.

Запомнился эпизод перед фреской, изображающей танцующую египтянку. Анна Павлова пытается повторить позу танцовщицы; Иван Яковлевич, сидя перед ней на корточках, поправляет складки ее одежды, приводя их в соответствие с изображением. Для Павловой Билибин оформил две постановки: одну в древнеегипетском стиле, а другую в традиционном для него древнерусском.

Спасаясь от летнего египетского зноя, от изнурительного, пропитанного песком Сахары и пылью ветра хамсина[336], Иван Яковлевич и Александра Васильевна в 1924 году решили осуществить свою давнишнюю мечту и провести лето в ивановских[337] местах в Палестине. В Иерусалиме, поселившись в «Русском подворье»[338], в комнате, окна которой выходили на одну из оживленных улиц древнего города, художники с одинаковой увлеченностью осматривают и святая святых христиан – Гроб Господний, и мусульманскую мечеть Омара, и остатки иудейского храма Соломона – Стену плача, и памятники римско-эллинистической культуры, и крестоносцев. В Иерусалиме Иван Яковлевич создает пейзажи: «Двор мечети Омара», «Крытая улочка в Иерусалиме», «Абиссинское подворье», «У стен Иерусалима», «Деревня Силоэ».

Будучи необычайно общительным, Иван Яковлевич быстро находит общий язык, составленный из смеси арабского, английского, французского, немецкого и русского, с жителями города – арабами в фесках, правоверными евреями в цветных ярких халатах и шапочках, окаймленных лисьим мехом, с греческими монахами из дальних монастырей, с гордыми бедуинами, пришедшими из пустыни. Из Иерусалима Иван Яковлевич и Александра Васильевна отправляются на машине к Мертвому морю, к Иордану, к Тивериадскому озеру. В Тивериаде художник создает два этюда – «У стен Тивериады» и «Берега Тивериадского озера». Через несколько дней по возвращении в Иерусалим Иван Яковлевич и Александра Васильевна с арабом-проводником предпринимают верхом на осликах многодневную поездку к полупокинутым православным монастырям Святого Саввы и Святого Георгия. В знойные часы дня, когда вода в акварельных чашечках букваль-

но испарялась на глазах, Иван Яковлевич изучал архитектуру зданий, осматривал росписи и иконы. В монастыре Святого Саввы, как мне помнится, его особенно заинтересовало сообщение игумена о том, что в этом монастыре жил, работал и умер один из мыслителей первохристианства – Иоанн Дамаскин[339]. В скудной монастырской библиотеке Иван Яковлевич как истинный библиофил пытался найти античные фолианты и явно был разочарован, когда выяснил, что монахи, предпочитая современные им издания, разбазарили древние рукописи.

В Палестине, как я отчетливо помню, художника радовало проникновение русской культуры, выражавшееся не только в том, что здесь было много русских церквей, монастырей, зданий, построенных в русском стиле, русских монахов и монахинь, но и в том, что очень многие старые арабы и старые евреи, коренные жители страны, в той или иной мере владели русским языком[340].

Из Палестины на машине мы отправились в Сирию. Остановились на несколько недель в Дамаске, в городе с чрезвычайно пестрым населением (арабы, армяне, курды), с типично арабской архитектурой зданий, множеством мечетей, домами с внутренними садиками, узкими улочками, шумными рынками, торгующими изделиями из меди, цветистыми тканями, кожей. Здесь Иван Яковлевич много фотографировал. В дальнейшем он использовал эти снимки при работе над иллюстрациями сказок «Тысяча и одной ночи».

Из Дамаска поехали на машине в Бейрут, чтобы морским путем вернуться в Египет.

В Бейруте, в кафе, где мы сидели, ожидая парохода, разыгралась забавная сценка. На стене соседнего зала Иван Яковлевич заметил нечто «билибинское». Заинтересовавшись, он подошел к росписи и увидел воспроизведение одной из своих иллюстраций к русским сказкам. Хозяин кафе, толстенький, розовощекий, усатый европеец, обратив внимание на человека, внимательно рассматривавшего подпись «И. Б.», вышел из-за прилавка и на ломаном французском языке с сильным русским акцентом стал объяснять, что эту стенопись ему сделал «сам знаменитый русский художник Билибин», не забыв при этом сообщить, сколько денег он отдал за эту работу. До сих пор молчавший, Иван Яковлевич тут же вспылил и четко произнес по-рус-

ски: «Врете!» Оскорбленный хозяин, оказавшийся русским эмигрантом, бывшим военным в чинах, стал оспаривать свою правоту. «Художник Билибин перед вами», – заявил Иван Яковлевич. Последовало замешательство. Когда Иван Яковлевич узнал, что работа была осуществлена каким-то русским инвалидом, он простил своего копииста, однако попросил стереть инициалы, и конфликт был улажен.

По возвращении в Египет Иван Яковлевич поселяется в Александрии – в «воротах из Африки в Европу» – городе мягких тонов, совершенно европейском, с чудным морским воздухом. Здесь Иван Яковлевич подолгу пропадает в знаменитом Грекоримском музее с его изваяниями, коллекциями монет, шедеврами мозаики, керамики. В этот период он проявляет особенно большой интерес к коптскому и византийскому искусству: приобретает несколько икон, предпринимает ряд многодневных экскурсий на автомашине в заброшенные и полузаброшенные христианские монастыри VI–IX веков в Ливийской пустыне[341] и [на] Синайском полуострове[342], сам декорирует стены большого сирийского православного храма[343].

Среди его александрийских этюдов хочется отметить «У стен старого форта».

В Александрии Иван Яковлевич устроил свою персональную выставку[344]. Почти все работы с этой выставки были закуплены и ушли в Америку и в Грецию. В местной александрийской прессе выставка была высоко оценена. «Как только переступаешь порог выставки Ивана Билибина, тебя охватывает нежная гамма цветов. Эти нежные цвета исходят со всех сторон. Многочисленные картины, развешанные по четырем стенам в несколько рядов, светятся и излучают таинственный отблеск», – писал один из критиков. Он подробно остановился на творчестве Ивана Яковлевича – графика, сравнивая его с теми мастерами древней миниатюры, искусство которых «к сожалению, забыто в настоящее время» и которое «воскрешает Билибин».

Статья заканчивалась словами: «Искренний и правдивый: таким предстает перед нами Билибин. Он учился своему мастерству у природы, и это дало ему возможность прекрасно, так же как у старых миниатюристов, воссоздать былинные мечты и святые воспоминания, которые убаюкивают грезы Художника».

В 1925 году в Париже открылась Всемирная выставка, на которой в Советском павильоне, в отделе фарфора, были представлены работы Александры Васильевны. Выставка стала поводом нашего переезда во Францию, в Париж...

Произведения И.Я. Билибина, созданные в Египте

Список произведений, созданных И.Я. Билибиным в Египте, см.: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. Каталог произведений И.Я. Билибина. С. 308–309, 316, 323–325. Однако каталог требует некоторых уточнений.

В каталоге указано, что в 1921 г. И.Я. Билибин выполнил иконостас для греческой госпитальной церкви в Каире. Составитель, неоднократно посещавший эту церковь, установил, что художник написал для иконостаса всего три иконы. Это двойная икона «Благовещенье» на царских вратах, а также архангелы Михаил и Гавриил в полный рост на алтарных дверях.

Согласно каталогу, в 1924 г. И.Я. Билибин создал декоративное панно «Восточный танец». Это панно, как обнаружил составитель, хранится в Каире, в семье потомков заказчика – Нагиб-паши Бутроса Гали.

В 1925 г. И.Я. Билибин, как отмечается в каталоге, выполнил эскизы фресок и иконостаса сирийского православного храма в Александрии, однако там не указано, где хранятся эти эскизы. М.Н. Потоцкий в своих мемуарах (см. раздел IV, с. 284) отмечает, что художник сам декорировал сирийский православный храм. Как выяснил составитель, побывав в единственном в Александрии сирийском православном храме, его стены не расписаны, а иконы определенно выполнены не И.Я. Билибиным. Вероятно, эскизы фресок и иконостаса были переданы заказчику, однако сама работа не была выполнена из-за отъезда художника из Египта в августе 1925 г.

Подробнее об этих уточнениях см.: *Беляков В.* Приютила Африка Жар-птицу: Россияне в Египте. М., 2000. С. 121–123, 183–185.

В каталоге не значатся два декоративных панно с маркизами в стиле Людовика XVI, выполненные И.Я. Билибиным в 1922 г. по заказу Мидхат-паши (см. раздел III). Их местонахождение ни авторам каталога, ни составителю неизвестно.

Примечания

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Страница из Книги судьбы
Из «Автобиографических записок» И.Я. Билибина

Публикуется по: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 60–61.

1 Трамвайная линия до пирамид Гизы в настоящее время ликвидирована.
2 Согласно современным данным, пирамиды Гизы построены в XXVI в. до н.э.

I. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
Из Новороссийска – в Александрию на пароходе «Саратов»

В.Е. Чирикова-Ульяницева
По морям

Публикуется по: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 182–185.

Валентина Евгеньевна Чирикова-Ульяницева (урожд. Чирикова; 1897–1988) – дочь писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932).

3 Е.Н. Чириков.
4 Л.Е. Чирикова.
5 В это время, в начале 1920 г., сестры Чириковы вместе с И.Я. Билибиным находились в Новороссийске, а их родители – на даче в поселке Батилиман в Крыму.
6 Валентина Георгиевна Чирикова (урожд. Григорьева; 1875–1966).
7 В январе 1920 г. И.Я. Билибина приютил в своем доме в Новороссийске богатый горожанин, охотно покупавший рисунки художника.
8 *Крёз* (595–546 до н.э.) – последний царь Лидии (запад Малой Азии), богатство которого вошло в поговорку.
9 5 марта по новому стилю.
10 Пароход Добровольного флота «Саратов» был построен в Англии в 1892 г. Водоизмещение – 8950 т, каютных мест – 76, мест для палубных пассажиров – 1520.
11 *Яблоновский* Сергей Викторович (наст. фам. Потресов; 1870–1953) – писатель, журналист, критик.
12 *Фелюги* (*араб.*) – лодки, оснащенные белым косым четырехугольным парусом и плавающие по Нилу. Видимо, не зная названия турецких лодок, В.Е. Чирикова использовала египетское слово.
13 *Яблоновский* Александр Александрович (наст. фам. Снадзский; 1870–1934) – прозаик и публицист.

14 *Троя* (Илион) – древний город на северо-западе Малой Азии. Около 1260 г. до н.э. испытал длительную осаду коалиции греческих царей и был разрушен. Упоминается в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера.

Л.Е. Чирикова-Шнитникова

Последний кусочек России

Рукопись. Архив русского зарубежья. Д. КП 585/19. Л. 1–4. Публикуется впервые.

15 Имеется в виду английский король Георг V (1910–1936). В 1914–1922 гг. Египет был протекторатом Великобритании.

16 *Дягилев* Сергей Павлович (1872–1929) – театральный и художественный деятель.

17 *Бакст* Лев Самойлович (наст. фам. Розенберг; 1866–1924) – живописец, график, театральный художник, член объединения «Мир искусства».

18 *Фенин* Люлик (Лев), сын горного инженера Александра Ивановича Фенина, скончался в Александрии 17 марта 1920 г. в возрасте 11 лет и похоронен на греческом православном кладбище Шетби.

19 О жизни русских беженцев в этом лагере (современное написание – Телль аль-Кебир) см.: *Беляков В.В.* «К берегам священным Нила...»: Русские в Египте. М., 2003. С. 141–152.

Краткие сведения об эвакуации из Новороссийска и прибытии в Египет на пароходе «Саратов» русских беженцев

Машинопись. Архив внешней политики Российской империи. Ф. 317 (Консульство в Египте). Оп. 820/3 (1920 г.). Д. 210. Л. 12–14об. Публикуется впервые.

Справка написана для продолжавшего официально функционировать в Каире Российского дипломатического агентства и генерального консульства в Египте, вероятно, в конце мая или начале июня 1920 г. (дата на документе отсутствует).

20 Лагерь русских беженцев в Сиди-Бишр под Александрией существовал с мая 1920 по май 1922 г. В январе 1921 г. был завершен перевод туда беженцев из Телль аль-Кебира. См.: *Беляков В.В.* «К берегам священным Нила...». С. 152–161.

II. Восточная сказка

Письма И.Я. Билибина из Каира друзьям в Европу

Г.<К.> Л<укомский>

Как живет и работает И.Я. Билибин

Публикуется по: Жар-птица (Берлин). 1921. № 2. С. 33–34. Статья опубликована также в сборнике: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 198–201.

Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952) – художник, искусствовед, историк архитектуры.

21 *Судейкин* Сергей Юрьевич (1882–1946) – художник, член объединения «Мир искусства».

22 *Лансере* Евгений Евгеньевич (1875–1946) – график и живописец, член объединения «Мир искусства».

23 *Метампсихоз* – переселение душ, переход души после смерти. Возможно, Г.К. Лукомский имеет здесь в виду метаморфозу – превращение или принятие иного образа.

24 *«Мир искусства»* – художественное объединение (1898–1924), созданное в Санкт-Петербурге А.Н. Бенуа (1870–1960) и С.П. Дягилевым. Творчеству его членов присуща утонченная декоративность, изящная орнаментальность.
25 Панно «Поклонение византийским царю и царице» для греческого хлопкового магната Бенаки.
26 *Сандер* Ольга Владимировна (урожд. Белобородова) – художница.
27 *Юстиниан I* (Юстиниан Великий) – император Византии (527–565).
28 *Санкюлот* (*фр.*) – презрительное название городской бедноты времен Великой французской революции.
29 Знаменитая картина К.П. Брюллова (1799–1852) размером 5 х 6 м.

Письмо И.Я. Билибина П.И. Нерадовскому

Публикуется по: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. С. 114–116.

Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) – художник, в 1909–1932 гг. – хранитель Русского музея.

30 В оригинале указан 1923 г. вместо 1924 г. Ошибка видна из текста самого письма: «Вот уже четвертый год, что я пекусь под солнцем Африки...»
31 А.В. Щекатихина-Потоцкая, жена художника.
32 Существующий в исламе запрет на изображение людей и животных привел к полному забвению художественных традиций Древнего Египта. Первая в современном Египте школа изящных искусств открылась в Каире лишь в 1908 г., занятия в ней вели французские и итальянские преподаватели. Но и сегодня изобразительное искусство чуждо основной массе населения страны.
33 *Сомов* Константин Андреевич (1869–1939) – живописец и график, член объединения «Мир искусства».
34 *Увраж* (от *фр.* ouvrage – труд, работа) – роскошное, богато иллюстрированное художественное издание большого формата.

III. ИЗ КАИРА – С ЛЮБОВЬЮ

Письма И.Я. Билибина Л.Е. Чириковой

Все включенные в этот раздел документы, кроме отмеченных особо, хранятся в Архиве русского зарубежья (Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» в Москве). Фонд «Коллекция даров компании Де Бирс». Дело КП 709 (И.Я. Билибин. 1918–1925) (листы не пронумерованы) и публикуются впервые, по машинописным копиям, сделанным адресатом. Копии сверены с оригиналами.

I

35 *Пиастр* – 1/100 египетского фунта.
36 *Гелуан* (современное написание – Хелуан) – популярный в ту пору курорт в 30 км к югу от Каира.
37 Возможно, штабс-капитан Сергей Фадеев. Скончался и похоронен в Александрии в 1925 г.
38 В лагере русских беженцев Телль аль-Кебир, где в это время еще находилась Л.Е. Чирикова, была создана концертная труппа, с успехом выступавшая в Каире. Чирикова танцевала гопак. Письмо, вероятно, написано во время ее пребывания с труппой в Каире.
39 Имеется в виду Египетский музей.

2

40 Телль аль-Кебир представлял собой палаточный лагерь.

41 По прибытии из Александрии в Телль аль-Кебир И.Я. Билибин запил, чем на время испортил отношения с Л.Е. Чириковой.

42 Имеется в виду также младшая сестра Л.Е. Чириковой – Валентина.

43 *Бейлин* (правильнее – Беллин) Виктор Эмильевич (Харьков, 1888 – Каир, 1953) – главный врач Новороссийского укрепрайона. Вместе с больными и ранеными в начале 1920 г. был эвакуирован в Египет. Один из основателей и многолетний директор Русской поликлиники в Каире.

44 *Норд-ост* – северо-восточный ветер.

45 Стихотворение А.С. Пушкина «Поэт» (1927).

46 На листке – схема перекрестка улиц Сулеймана-паши (ныне – Талаат Харб) и Булак (ныне – 26 июля). На квадрате в северо-западном углу надпись: «Ваш дом».

47 До октября 1923 г. в Египте официально продолжали функционировать Российское дипломатическое агентство и генеральное консульство, по существу уже никого не представлявшие. Возглавлял их Алексей Александрович Смирнов (Санкт-Петербург, 1857 – Каир, 1924). Должность атташе дипломатического агентства занимал Сергей Павлович Разумовский (1875 – Каир, 1947). Управляющим вице-консульством в Каире был Николай Иванович Виноградов (1881 – Каир, 1935). Неясно, кого имел в виду Билибин – Смирнова или Виноградова.

48 Младшая сестра Л.Е. Чириковой.

49 Правильнее – Сулеймана-паши.

3

50 Имеется в виду книга арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

51 *Тихий* Кирилл Осипович (Тамбов, 1877 – Каир, 1936) – адвокат, эмигрировавший в Египет до революций 1917 г. В его офисе первоначально располагался Русский клуб.

52 Имеется в виду Исламский музей.

53 Магдалина Владимировна Степанова, вдова члена Государственной думы, опекавшая сестер Чириковых и называвшая себя их «египетской мамой».

54 Это письмо, а также два следующих, вероятно, были написаны в то время, когда Л.Е. Чирикова находилась с труппой в Каире.

4

55 Т.е. к пирамидам.

56 *Сократ* (470–399 до н.э.) – древнегреческий философ. Был обвинен в поклонении новым божествам и развращении молодежи и казнен (публично отравлен).

5

Письмо также опубликовано с незначительными сокращениями в изданиях: *Беляков В.* По следам «Пересвета»: Россияне в Египте. Каир, 1994. С. 170–171; *Он же.* Приютила Африка Жар-птицу: Россияне в Египте. М., 2000. С. 159–161.

57 Портрет Л.Е. Чириковой И.Я. Билибин нарисовал в 1919 г. в поселке Батилиман в Крыму.

6

58 М.В. Степанова – см. выше примеч. 53.

59 *Григ Эдвард* (1843–1907) – норвежский композитор. Видимо, И.Я. Билибин имел в виду, что его гость, играя на пианино музыку Грига, отвлекался от преследовавших его насекомых.

60 Вероятно, «если любишь».

7

Судя по содержанию этого письма, оно предшествовало по времени письму, опубликованному под № 2. Порядок писем, которому мы следуем, был установлен адресатом.

61 *Мусоргский* Модест Петрович (1839–1881) – композитор.

62 Видимо, имеется в виду Русский клуб.

63 *Панков* Николай Григорьевич, скончался в Каире в 1949 г. в возрасте 72 лет.

64 Мария Яковлевна Чемберс (1874–1962), жена И.Я. Билибина, художник-график.

65 *Вестфален* Антонина Христиановна (1881–1942) – художник-график.

66 «И ясны спящие громады / Пустынных улиц, и светла / Адмиралтейская игла» (строки из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник», 1833).

67 *Милюков* Павел Николаевич (1859–1943) – министр иностранных дел Временного правительства (1917).

68 *Ренессанс* (*фр.*) – эпоха Возрождения в Западной Европе (XIV–XVI вв.).

69 *«Шеппердс»* – роскошная гостиница в Каире.

8

70 Вероятно, имеется в виду генерал-майор Федор Петрович Рерберг (Тифлис, 1868 – Александрия, 1928). Он прекрасно рисовал. В архиве составителя находятся три картины, написанные Рербергом в Телль аль-Кебире в 1920 г. На одной из них изображен общий вид лагеря, на другой – русский беженец за работой в швейной мастерской, на третьей – интерьер одной из церквей лагеря. Картины подарила составителю дочь русских эмигрантов Татьяна Николаевна Монти (урожд. Серикова; род. 1932), живущая в Александрии.

71 Часть письма до слов «Вот и все» опубликована в следующих изданиях: *Беляков В.* По следам «Пересвета». С. 171–172; *Он же.* Приютила Африка Жар-птицу. С. 161; *Он же.* Русский Египет. М., 2008. С. 200–201.

9

Письмо также опубликовано в: Письма М.И. Цветаевой к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой. М., 1997. С. 50–54.

Письма № 9–14 адресованы в Александрию, куда Л.Е. Чирикова поехала, чтобы проводить отплывавшую на пароходе в Европу сестру Валентину, и где осталась отдохнуть от каирской жары.

72 Эта часть письма опубликована в следующих изданиях: *Беляков В.* По следам «Пересвета». С. 172–174; *Он же.* Приютила Африка Жар-птицу. С. 162–163.

73 *«Нива»* – еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издавался в Санкт-Петербурге в 1870–1918 гг.

74 *Парголово* – поселок в окрестностях Санкт-Петербурга.

75 *Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919) – писатель.

10

76 *Венедиктов* Николай Александрович (1880 – Каир, 1957) – инженер. В 1940–50-х гг. возглавлял Русский клуб в Каире. Его жена – Венедиктова Екатерина Михайловна.

77 В 1921 г. И.Я. Билибин написал три иконы по заказу греческой общины Каира: архангелов Михаила и Гавриила и «Благовещенье». Иконы были обнаружены составителем в 1989 г. в православной церкви Св. Пантелеймона, расположенной на территории греческой больницы в каирском районе Аббасия. Икона «Благовещенье» воспроизведена на переднем форзаце книги составителя «Приютила Африка Жар-птицу». Все три иконы до сих пор находятся в указанной церкви.

78 *Лелявский* Сергей Николаевич (1891 – Каир, 1963) – инженер путей сообщения, позднее – один из руководителей строительства малого барража (водоподъемной плотины) в дельте Нила.

79 *Касдагли* – хлопковый магнат, грек, один из заказчиков И.Я. Билибина.

80 Пансион в Александрии.

81 О.В. Сандер.

82 Неясно, кого имеет в виду Билибин. Возможно, Бориса Булича, скончавшегося в Александрии 1 мая 1921 г. в возрасте 57 лет, или профессора-филолога Сергея Константиновича Булича (1859–1921), с которым они с Чириковой могли быть знакомы.

83 *Шнитников* Борис Николаевич (1886–1961) – экономист, сын известного адвоката, с 1923 г. – муж Л.Е. Чириковой.

84 *Дроздов* Александр Михайлович (1896–1963) – публицист, прозаик. В 1923 г. вернулся в Россию.

85 Муж О.В. Сандер.

86 *Хеопс* и *Клеопатра* – щенки прижившейся в студии И.Я. Билибина дворняги, которую он прозвал Муфта. Хеопс – фараон IV династии (2589–2566 до н.э.), для которого была построена величайшая пирамида в Гизе. Клеопатра VII – царица Египта из династии Птолемеев (51–30 до н.э.).

87 Помощник И.Я. Билибина, жил в его мастерской; идентифицировать его не удалось.

88 *Лелявская* Екатерина Спиридоновна, жена С.Н. Лелявского, скончалась в Каире в 1963 г. в возрасте 70 лет.

89 Имеется в виду Египетский музей.

90 *«Синяя птица»* – пьеса бельгийского драматурга Мориса Метерлинка (1862–1949), написана в 1905 г. и поставлена К.С. Станиславским (1863–1938) в Московском художественном театре в 1908 г.; здесь: символ счастья.

91 *Гончарова* Наталья Сергеевна (1883–1962) – живописец, график, художник театра.

92 *Ларионов* Михаил Федорович (1881–1964) – живописец, художник театра. Муж Н.С. Гончаровой. С 1914 г. супруги жили в Париже.

93 *Рерих* Николай Константинович (1874–1947) – живописец, с 1920-х гг. жил в Индии.

94 *Суворов* Александр Васильевич (1730–1800) – выдающийся полководец, генералиссимус.

95 *Бурлюк* Давид Давидович (1882–1967) – поэт и художник-футурист.

96 *Лукьянов* Григорий Иванович (Москва, 1885 – Каир, 1945) – египтолог. Его жена Лукьянова Елизавета Сергеевна (урожд. Елагина; Москва, 1888–?) – специалист по византийскому искусству. После смерти мужа, вероятно, уехала из Египта.

97 *Порт-Саид* – город в Египте на берегу Средиземного моря, у северного входа в Суэцкий канал.

98 *Юрицын* Сергей Петрович (1873–?) – издатель, эмигрировал в Египет после первой русской революции 1905–1907 гг. Видимо, покинул Египет после смерти своей жены, Алисы Александровны Юрицыной, последовавшей 5 июля 1929 г.

99 *Арцыбашев* Михаил Петрович (1878–1927) – писатель, автор натуралистических романов.

11

100 *Шуберт* Зинаида – певица, актриса.
101 *Преображенская* Л. – актриса.
102 Вероятно, имеется в виду полковник Федор Васильев, скончавшийся в Александрии в 1940 г. в возрасте 64 лет. Его женой могла быть Нина Васильева, скончавшаяся также в Александрии в 1933 г. в возрасте 54 лет.
103 *Фадеев* Сергей – см. выше примеч. 37.
104 Речь идет о подготовке эскиза панно «Борис и Глеб на корабле».
105 *«Жар-птица»* – ежемесячный иллюстрированный журнал, выходивший в 1921–1926 гг. 13 номеров вышли в Берлине, а последний, 14-й, – в Париже.
106 Речь идет о М.В. Степановой.
107 *Парнас* – горный массив в Греции, в древнегреческой мифологии – место обитания Аполлона и муз.

12

Открытка с изображением Московского кремля (Архив русского зарубежья. Д. КП 585/14).

108 Вероятно, И.Я. Билибин имел в виду, что к моменту возвращения Л.Е. Чириковой из Александрии жара в Каире уже спадет.
109 *Гронский* Павел Павлович (1883–1937) – юрист, соученик И.Я. Билибина по Санкт-Петербургскому университету. После 1917 г. жил в Париже.

13

110 *Стела* – вертикально стоящая каменная плита с надписью, рельефным или живописным изображением.
111 *Бибиков* Александр Сергеевич – инженер, позднее – один из помощников И.Я. Билибина, скончался в Каире ранее 1947 г.
112 *Тарбуш* (*араб.*) – феска. В монархический период – непременный атрибут аристократов и представителей среднего класса.
113 По мусульманскому лунному календарю, год в котором на 10–11 дней короче года по солнечному Григорианскому календарю, принятому в Европе. Поэтому мусульманские праздники ежегодно сдвигаются назад по сравнению с европейским календарем.
114 *Тенишева* Мария Клавдиевна (урожд. Пятковская; 1867–1928) – княгиня, художник, меценат. С 1915 г. жила в Париже.
115 *Лидо* – песчаный пляж на одноименном острове, отделяющем Венецианскую лагуну от Адриатического моря.
116 О.В. Сандер.
117 *Саккара* – один из некрополей Мемфиса, столицы Египта времен Древнего царства; расположен в 30 км южнее Каира.
118 *Ти* – вельможа V династии (ок. 2500 до н.э.), гробница которого в Саккаре богато декорирована.
119 От cotton – хлопок (*англ.*). Длинноволокнистый египетский хлопок пользовался огромным спросом в Европе и США.
120 *Ампир* (*фр.*) – стиль в архитектуре и декоративном искусстве первых трех десятилетий XIX в.

14

121 Имеется в виду Мукаттам – каменистое плато, нависшее с востока над долиной Нила.

15

122 И.Я. Билибин провожал в Александрии Л.Е. Чирикову, отплывавшую на пароходе в Европу.
123 П.Ф. Сандер.
124 Вероятно, имеется в виду «Паризетта» – фильм французского режиссера Луи Фейада (1874–1925), вышедший на экраны в конце 1921 г.
125 Вероятно, название пансиона, в котором проживала Л.Е. Чирикова.
126 Греко-римский музей.
127 Е.М. Венедиктова.
128 *Стрекаловский* Владимир Алексеевич – бывший офицер, художник; скончался в Каире в 1946 г.

16

129 *Атлантида* – по древнегреческому преданию, некогда существовавший огромный остров в Атлантическом океане к западу от Гибралтара с развитой цивилизацией, из-за землетрясения опустившийся под воду.
130 Имеется в виду Альберт Эйнштейн.
131 Т.е. к Лукьяновым – см. выше примеч. 96.
132 Лагерь русских беженцев Сиди-Бишр под Александрией.
133 *Мухаммед Али* – правитель Египта (1805–1848), реформатор.
134 На месте казарм в конце 1950-х гг. была построена гостиница «Найл-Хилтон».
135 *Лефевр* Густав (1879–1957) – французский египтолог.
136 *Кассесинов* Александр Филиппович (1875 – Каир, 1941) – статский советник, горный инженер, видимо, художник-любитель.

17

137 *«Поэма Пентаура»* – древнеегипетское произведение, восхваляющее подвиги фараона Рамсеса II в битве с хеттами при Кадеше в 1274 г. до н.э.
138 Имеется в виду Туринский музей.
139 *Картуш* (*фр.*) – эллипс на плоской подставке, в который заключали имена фараонов. Сами египтяне называли его «шену». Слово «картуш» («гильза») ввели в употребление в конце XVIII в. солдаты Наполеона, поскольку шену напомнил им по форме гильзу.
140 Соседи М.В. Степановой, жившей на улице Галяль-паши.
141 В 1920 г. был переименован в Краснодар.

18

142 *Лихачёва* В.Л. (?–1935).
143 Кинотеатр в Каире.
144 Речь идет о 30-дневном посте в месяц рамадан по мусульманскому календарю, когда в светлое время суток правоверным запрещено есть и пить.
145 *Птолемеи* – греческая династия, правившая Египтом в 305–30 гг. до н.э.
146 Видимо, имеется в виду Сергей Константинович Маковский (1877–1962) – поэт, художественный критик и организатор художественных выставок; в 1917–1925 гг. жил в Праге.
147 *Коган* Александр Эдуардович (1878–1949) – журналист и издатель. В 1921–1926 гг. выпускал журнал «Жар-птица».
148 *Беато Анджелико* (наст. имя Фра Джованни да Фьезоле; 1400–1455) – итальянский живописец Раннего Возрождения.

149 *Гойя* Франсиско (1746–1828) – испанский живописец.
150 *Ропс* Фелисьен (1833–1898) – бельгийский живописец и график.

19

151 Современное написание – идальго (*исп.*), рыцарь в средневековой Испании.
152 П.Ф. Сандер.

20

153 *Черномор, Руслан* – герои поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Видимо, под Черноморами И.Я. Билибин имел в виду родителей Л.Е. Чириковой.

21

154 В ту пору – европейский город-спутник Каира; ныне один из его районов.
155 *Полевицкая* Елена Александровна (1881–1973) – актриса; в 1920–1955 гг. жила в эмиграции.
156 Последняя еда, сухур, перед началом дневного поста в рамадан.
157 Георгий Евгеньевич Чириков (1901–1993).
158 *Нарбут* Георгий Иванович (1886–1920) – график.
159 Главное божество в древнеегипетском пантеоне.

23

160 *Кулаков* Петр Ефимович (1867–?) – издатель.
161 Доставка продуктовых посылок – одна из форм деятельности Американской администрации помощи (АРА), существовавшей с 1919 до конца 1930-х гг. и возглавлявшейся Гербертом Гувером (в 1929–1933 гг. был президентом США).
162 А.А. Смирнов.
163 Н.И. Виноградов.
164 М.Я. Чемберс, первая жена И.Я. Билибина, с которой он не был разведен.

24

165 Согласно греческой легенде, неразлучная и любящая чета.
166 Герои повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835), нежно заботившиеся друг о друге.
167 Собеседники обсуждали чету Лелявских, о которых И.Я. Билибин писал в этом же письме, что «их узы поскрипывают». Лелявские прожили вместе более 40 лет, причем Сергей Николаевич скончался через 10 дней (29 июля 1963) после того, как умерла Екатерина Спиридоновна (19 июля 1963).
168 *Базаров* – герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», нигилист.
169 *Эпикур* (341–270 до н.э.) – греческий философ-материалист, проповедовал здоровье тела и безмятежность духа.
170 *Копты* – египетские христиане-монофизиты.

25

171 Р.Р. О'Коннель, вторая жена И.Я. Билибина, с которой он официально в браке не состоял.

26

172 Видимо, «я очень люблю Вас».

27

173 *Диккенс* Чарлз (1812–1870) – английский писатель, автор повести «Крошка Доррит» (1855–1857).

174 *Белобородов* Яков Владимирович (1891 – Каир, 1974).
175 Был заключен 3 марта 1918 г. Советской Россией с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, чтобы обеспечить мирную передышку для упрочения советской власти. Означал односторонний выход России из Первой мировой войны. Аннулирован советским правительством 13 ноября 1918 г.
176 П.Ф. Сандер.
177 *Пенелопа* – персонаж древнегреческой поэмы «Одиссея»; символ супружеской верности.
178 Слово, вероятно, образовано от арабского «маншия» (поселение), т.е. новые поселенцы Египта.
179 *Чёрный* Саша (наст. фам. и имя Гликберг Александр Михайлович; 1880–1932) – поэт, с 1920 г. в эмиграции.
180 *Пуссен* Никола (1594–1665) – французский живописец, представитель классицизма.

28

181 *Кубизм* – модернистское течение, представители которого стремились разложить сложные формы на простые геометрические; *футуризм* – авангардистское течение, его представители смешивали документальный материал и вымысел.
182 Вероятно, москитная сетка, прикрывающая кровать.
183 *Римский-Корсаков* Николай Андреевич (1844–1908) – композитор, дирижер, музыкальный писатель.
184 *Стеллецкий* Дмитрий Семенович (1875–1947) – художник.
185 *Голенищев* Владимир Семенович (1856–1947) – профессор-египтолог.
186 *«Гроппи»* – знаменитая кондитерская на ул. Адли, существует с 1891 г.
187 *Мозалевский* Иван Иванович (1890–1975) – график, живописец.
188 Возможно, ученица и будущая жена И.Я. Билибина Александра Щекатихина.
189 См. письмо 29.
190 *Ляцкий* Евгений Александрович (1868–1942) – этнограф, историк литературы.

29

Архив семьи Е.Н. Чирикова, хранящийся у внука писателя, Е.Е. Чирикова (Минск). Публикуется по рукописному оригиналу. Видимо, письмо не было вручено адресату, А.Э. Когану.

30

Автограф первой страницы письма отсутствует. Как явствует из надписи на машинописном тексте второй страницы, он был послан В.Е. Чириковой 5 июля 1965 г.

191 *Гераклит Эфесский* (кон. VI – нач. V в. до н.э.) – древнегреческий философ-диалектик.
192 *Мемфис* – первая столица древнеегипетского государства, основан фараоном Менесом около 3100 г. до н.э. на берегу Нила, в 30 км южнее современного Каира.
193 Столица фараонов XIX династии (1295–1186 до н.э.) находилась в Фивах, в Верхнем Египте, а не в Мемфисе. Наиболее яркий представитель этой династии – фараон Рамсес II (1279–1213 до н.э.), которого рисовал И.Я. Билибин для поэмы Пентаура.
194 Эта часть письма опубликована с небольшими сокращениями в изданиях: *Беляков В.* По следам «Пересвета». С. 177–179; *Он же.* Приютила Африка Жар-птицу. С. 166–167.
195 *Готлиб* Антон Винсентович, скончался в Каире в 1947 г. в возрасте 59 лет.
196 Под «зеленым», вероятно, подразумевается основное занятие С.П. Юрицына: он выращивал на продажу цветы.

197 *Брешко-Брешковский* Николай Николаевич (1874–1943) – прозаик, журналист.
198 *Вербицкая* Анастасия Алексеевна (1861–1928) – автор романов, адресованных преимущественно мещанскому читателю.
199 *Масперо* Гастон (1846–1916) – французский египтолог, основатель и директор Египетского музея в Каире. При переводе музея в новое здание в 1902 г. сформировал его экспозицию и составил ее каталог.
200 *Флобер* Гюстав (1821–1880) – французский писатель. В историческом романе «Саламбо» (1862) действие происходит в древнем Карфагене.

31

201 П.Ф. Сандер.
202 *Бонзельс* Вольдемар (1881–1952) – немецкий писатель. Книга «По Индии» вышла в 1916 г.
203 *Михайловский* Сергей Николаевич (1885–1927) – горный инженер, сын писателя Н.Г. Гарина-Михайловского (1852–1906); после разрыва И.Я. Билибина с Р.Р. О'Коннель женился на ней.
204 *Врубель* Михаил Александрович (1856–1910) – живописец.
205 Имеется в виду нелюбимая И.Я. Билибиным М.В. Степанова.
206 *Пинегин* Николай Васильевич (1883–1940) – живописец-пейзажист и писатель.
207 М.Ю. Лермонтов был убит на дуэли в 27 лет.
208 Стихотворение «Парус» написано в 1832 г., когда поэту было всего 18 лет. И.Я. Билибин цитирует Лермонтова неточно: на самом деле не «ищет бури», а «просит бури».
209 *«Пан»* – повесть норвежского писателя Кнута Гамсуна (1859–1952), лауреата Нобелевской премии (1920). Написана в 1894 г.

32

210 *Тагор* Рабиндранат (1861–1941) – индийский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии (1913). Роман «Дом и мир» написан в 1915–1916 гг.
211 Персонажи романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).
212 *Булак* – район Каира, примыкающий к правому берегу Нила.
213 Каирский зоосад (зоопарк) расположен в Гизе, левобережной части Каира; основан в 1890 г.

33

214 *«Мена-Хаус»* – роскошная гостиница у въезда на плато Гиза, где стоят пирамиды.
215 *Сфинкс* в Гизе – самая крупная монолитная скульптура в мире. Его длина – 80 м, высота – 20 м. Считается, что сфинкс был вырублен во время правления фараона Хефрена (2558–2532 до н.э.) и что ему были приданы черты лица этого фараона.
216 Фамилия расшифрована адресатом.
217 Вероятно, имеется в виду младшая сестра Л.Е. Чириковой – Валентина.

34

218 *Эфенди* (*тур.*) – приставка к имени, указывающая на знатное происхождение.
219 Обычная температура воздуха летом в Каире – + 36–38 градусов Цельсия.
220 П.Ф. Сандер.
221 Вероятно, сестра О.В. Сандер.

35

222 *Короленко* Владимир Галактионович (1853–1921) – писатель и публицист.

223 *Фостат* – первая арабская столица Египта; основан в середине VII в. После завоевания Египта фатимидами и основания в 969 г. рядом с ним Каира быстро потерял свое значение. Расположен в южной части города, рядом с христианским Старым Каиром.

36

224 Евгений Евгеньевич Чириков (1899–1970).

225 Н.Е. Чирикова (1894–1978), сестра Л.Е. Чириковой.

226 *Гафа* – бестактность, неловкость, оплошность неуместный поступок.

227 *Птахотеп* – вельможа периода Древнего царства; гробница в виде мастабы находится западнее пирамиды Джосера.

228 *Мариетт* Огюст (1821–1881) – французский египтолог.

229 В древнеегипетском гимне богу Нила – Хапи есть такие строки: «О Нил! Кто попробует твоей воды хоть раз, навеки будет вместе с тобой». Николай Гумилёв (1886–1921), четырежды побывавший в Египте, писал:

Здесь недаром страна сотворила
Поговорку, прошедшую мир:
«Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир» (стихотворение «Египет», 1919).

230 *Репин* Илья Ефимович (1844–1930) – живописец, мастер рисунка.

231 *Серов* Валентин Александрович (1865–1911) – живописец и график.

232 *Скарабей* – популярный у древних египтян амулет в форме священного жука-скарабея, которого отождествляли с Хепри, божеством возрождения.

37

233 *Антара ибн Шаддад* – арабский поэт второй половины VI в. Герой народного романа «Деяния Антара».

234 *Новосильцев* Владимир Михайлович – врач, скончался в Каире в 1960 г. в возрасте 72 лет.

235 *Гармакис* (точнее, Хармакис) – греческое название древнеегипетского бога неба Хора. Изображался в виде сокола или человека с головой сокола.

236 Ресторан «Петроград» в Каире открыл в начале 1917 г. русский подданный С. Свердлик. В Александрии примерно в то же время русский эмигрант открыл ресторан «Москва».

237 Речь идет о Греко-турецкой войне 1919–1922 гг., в которой греков поддерживала Англия, а турок – Советская Россия.

38

238 Видимо, «Как я Вас люблю».

239 *Куфи* – один из самых древних стилей арабского письма.

240 *Наркирьер* – хозяин медицинской лаборатории в Хелуане, поселившийся в Египте до Первой мировой войны.

241 Названия каирских кинотеатров.

39

242 *Ланская* Надежда (урожд. княжна Голицына; 1892 – Александрия, 1937) – графиня, певица, артистка Императорских театров.

243 *Perpetuum mobile* – вечно движущийся (*лат.*); неясно, какой смысл вкладывал в это выражение Билибин.

244 *Антоний Великий* (251–356) – основатель пустынножительства, отец монашества; в юности удалился от мирских соблазнов в Восточную пустыню (Египет), где впоследствии основал первый христианский монастырь.
245 *Фатимиды* – династия мусульман-шиитов, выходцев из современного Туниса, правившая Египтом в 909–1171 гг.; возводила свое происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммеда.
246 *Айюбиды* – династия мусульман-суннитов, правившая Египтом в 1171–1250 гг.; основана курдом Салах эд-Дином аль-Айюби (Саладином).
247 *Квибель* Джеймс (1867–1935) – английский египтолог.

40

248 На самом деле значительно больше; как явствует далее из письма, пять лет.
249 Расшифровка имени сделана адресатом.
250 Эта часть письма с некоторыми сокращениями опубликована в изданиях: *Беляков В.* По следам «Пересвета». С. 179–180; *Он же.* Приютила Африка Жар-птицу. С. 168; *Он же.* Русский Египет. С. 208–209.

41

251 По Ветхому Завету, череда бедствий, ниспосланных Господом на египтян за то, что фараон не отпускал евреев из Египта на землю обетованную.

42

Отдельный лист, возможно, часть первой половины письма от 19 октября 1922 (письмо № 41).

252 Р.Р. О'Коннель.
253 Ср.: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лука 23: 46).

44

254 Письмо от 7 ноября 1922 отсутствует.
255 В начале 1923 г. Л.Е. Чирикова вышла замуж за Б.Н. Шнитникова.

45

Архив семьи Е.Н. Чирикова, хранящийся у внука писателя, Е.Е. Чирикова (Минск). Автограф. На лицевой стороне открытки – изображение Александрийского маяка.

256 Открытка адресована в Париж.

46

Открытка с изображением двери Белой палаты Московского кремля. Архив русского зарубежья. Д. КП 585/10.

47

257 Жителям «Дома искусства» посвящена повесть Ольги Дмитриевны Форш (урожд. Комарова; 1873–1961) «Сумасшедший корабль» (1930). В первой главе («Волна первая») говорится о том, как художница Катихина наряжала новогоднюю елку телеграммами художника Либина из Африки. См.: *Форш О.* Сумасшедший корабль. Л., 1988. С. 24–33.
258 *Сорин* Савелий Абрамович (Завель Израилевич; 1878–1953) – живописец-портретист.
259 *Бернар* Сара (1844–1923) – французская актриса.

260 *Павлова* Ольга Павловна, скончалась в Александрии в 1977 г. в возрасте 84 лет.

48

Архив семьи Е.Н. Чирикова, хранящийся у внука писателя, Е.Е. Чирикова (Минск). Автограф. На лицевой стороне открытки – средневековая каирская улица.

49

261 *«Цампирони»* – средство против комаров и мошек в виде спирали характерного зеленого цвета, изобретенное итальянским ученым Джованни Цампирони в 1862 г.
262 Фирменный знак мастерской в Антикхании, который И.Я. Билибин ставил, наряду со своими инициалами, по окончании работы. Есть, например, на иконах, написанных для греческой госпитальной церкви.
263 Б.Н. Шнитников.
264 П.Ф. Сандер.
265 *Гоген* Поль (1848–1903) – французский живописец, представитель постимпрессионизма.

50

266 *Павлова* Анна Павловна (1881–1931) – балерина; с 1910 г. гастролировала с собственной труппой во многих странах мира.
267 *«Курзал»* – театр в Каире на улице Аль-Альфи, в настоящее время на этом месте находится кинотеатр «Диана Палас».

51

Архив русского зарубежья. Д. КП 585/11.

268 Мстислав Николаевич Потоцкий (1916–1999), приемный сын И.Я. Билибина.
269 *Олеарий* (наст. фам. Эльшлегер Адам; 1603–1671) – немецкий ученый, путешественник.
270 *Герберштейн* Зигмунд (1486–1566) – немецкий дипломат и путешественник.
271 *Максимилиан I* – император (1493–1519) Священной Римской империи из династии Габсбургов.
272 *Прохоров* Василий Александрович (1818–1882) – археолог, историк. Занимался изучением древнего быта русского народа.
273 *Савваитов* Павел Иванович (1815–1895) – археолог, историк.
274 *Васнецов* Виктор Михайлович (1848–1926) – живописец, автор картин на темы русской истории, народных былин и сказок.
275 *Нестеров* Михаил Васильевич (1862–1942) – живописец, автор ряда картин на историческую и религиозную темы.
276 *Маковский* Константин Егорович (1839–1915) – живописец, автор жанрово-исторических сцен.
277 *«Studio Magazine»* – иллюстрированный журнал, основанный в Великобритании в 1893 г. и посвященный изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Специальный выпуск журнала – «The peasant art in Russia» – вышел в свет в 1912 г.
278 Архив русского зарубежья. Д. КП 585/12.

52

279 Панно, получившее название «Восточный танец», было закончено в 1924 г. Оно до сих пор находится в семье Бутрос Гали. Фрагмент панно воспроизведен на заднем форзаце книги: *Беляков В.* Приютила Африка Жар-птицу.

IV. ОНИ БЫЛИ РЯДОМ
Воспоминания родных и близких И.Я. Билибина о его жизни в Египте

В.В. Беляков – Л.Е. Чириковой (23 сентября 1991)

Копия. Архив составителя.

280 Как я вскоре выяснил, дом, где жил Билибин, не сохранился.
281 Правда. 1990. 9 сентября.
282 См. выше примеч. 185.
283 Имеется в виду книга «По следам "Пересвета"» (Каир, 1994).

Л.Е. Чирикова – В.В. Белякову (11 октября 1991)

Автограф. Архив составителя. Письмо опубликовано с сокращениями в книгах: *Беляков В.* По следам «Пересвета»: Россияне в Египте. Каир, 1994. С. 193–196; *Он же.* Приютила Африка Жар-птицу: Россияне в Египте. М., 2000. С. 180–182.

284 На самом деле – 1920–1923 гг.
285 Отрывок из мемуаров Л.Е. Чириковой, относящийся к «египетскому периоду» ее знакомства с И.Я. Билибиным, включен в данный раздел (см. с. 261–266).
286 Нынешний центр Каира; построен на европейский манер во время правления хедива Исмаила (1863–1879).
287 1919–1921 гг. были периодом подъема национально-освободительного движения, увенчавшегося отменой британского протектората и провозглашением формальной независимости Египта 28 февраля 1922 г.
288 Имеется в виду Исламский музей.
289 Имеется в виду рынок Хан аль-Халили, примыкающий к улице Муски.
290 Чирикова Новелла Евгеньевна.

В.В. Беляков – Л.Е. Чириковой (17 апреля 1992)

Копия. Архив составителя.

291 Имеется в виду панно «Восточный танец».
292 См.: *Беляков В.* В каталогах не значится // Эхо планеты. 1992. № 14. С. 39–40.
293 Имеется в виду книга «По следам "Пересвета"».

Л.Е. Чирикова – В.В. Белякову (19 мая 1992)

Автограф. Архив составителя.

Л.Е. Чирикова. Вспоминая Билибина

Публикуется по: Наше наследие. 1991. № 6. С. 33–34.

294 Здесь и далее отмечены пропуски текста из оригинала, не обозначенные в публикации.
295 См. раздел III, письмо № 2. Данный отрывок приводится с некоторыми сокращениями.
296 См. раздел III, письмо № 9. Письмо написано уже в 1921 г.
297 Речь идет о Египетском музее, содержащем крупнейшую в мире коллекцию предметов древнеегипетского искусства. О Гастоне Масперо см. выше примеч. 199.
298 См. выше примеч. 186.
299 По-видимому, речь идет о Серапиуме – подземных гробницах священных быков Аписов в некрополе Саккара в окрестностях Каира.

300 Известна ныне как Долина царей – место погребения фараонов Нового царства (XVI–XI вв. до н.э.).

301 На самом деле письмо от 4 мая 1922 г. адресовано уже в Прагу. См. раздел III, письмо № 16.

В.Е. Чирикова-Ульяницева при участии Л.Е. Чириковой-Шнитниковой

По следам прошлого

Публикуется по: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 182–195.

302 В 1914–1922 гг. Египет был протекторатом Великобритании.

303 Явное преувеличение, по-видимому, результат рассказов «знатоков» Египта. Летом температура воздуха в Каире 36–38 градусов Цельсия и лишь в Верхнем Египте временами превышает 40 градусов.

304 В списке заявлений на выдачу одежды, поданных в представительство Красного Креста в Каире весной 1920 г., значатся: «Чириковы Валентина, Людмила, рост высокий» (Архив внешней политики Российской империи. Ф. 317. Оп. 820/3. Д. 214. Л. 3).

305 Согласно официальной справке, с 26 марта по 6 апреля. См. наст. изд., с. 20–23.

306 Летом 1920 г. уехала в Крым лишь небольшая часть беженцев, по-видимому, в основном та самая «безденежная военная молодежь без всякой профессии и совершенно не знавшая иностранных языков».

307 *«Хождение за три моря»* – название книги путевых записок купца Афанасия Никитина (?–1472), посетившего в 1466–1472 гг. Персию, Индию, Сомали, Аравию, Турцию; синоним дальнего путешествия.

308 По-видимому, имеется в виду бывший российский дипломатический агент и генеральный консул в Египте А.А. Смирнов (см. выше примеч. 47).

309 См. выше примеч. 229.

310 Точнее, гавафа (*араб.*).

311 Видимо, речь идет о Большом сфинксе у подножья Великих пирамид Гизы. Неясно, почему слово «сфинкс» употреблено во множественном числе.

312 Вероятно, В.Е. Чирикова ошибается. Нет никаких данных о том, что в 1920–1921 гг., когда она находилась в Каире, И.Я. Билибин собирался расписывать сирийский православный храм.

313 См. раздел III, письмо № 28.

314 См. раздел III, письмо № 9.

315 Это предложение из другого письма Билибина Л.Е. Чириковой (см. раздел III, письмо № 39).

316 См. раздел III, письмо № 27.

317 Там же.

318 Видимо, имеется в виду нынешняя гостиница «Мариотт». Ее центральное здание – бывший дворец, построенный к открытию Суэцкого канала в 1869 г. для французской императрицы Евгении. Позднее дворец был превращен в гостиницу «Омар Хайям». В 1970-х гг. к нему были пристроены два многоэтажных корпуса, а гостиница переименована.

319 Пароходы на Ниле были не средством транспорта, а «плавучими гостиницами», рассчитанными исключительно на иностранных туристов.

320 Вероятно, имеется в виду европейский драматический театр. Оперный театр был открыт в Каире еще в 1869 г., имелись также египетские театры.

321 Речь идет определенно о средневековых мусульманских кварталах Каира. Ныне термином «Старый город» (Миср аль-кадима) принято обозначать христианский квартал в районе форта Вавилон.
322 Такая сетка (машрабия) – широко распространенный элемент архитектуры стран Ближнего Востока, причем не только исламской, но и христианской. Название пошло от арабского глагола шараба – пить. Машрабия, установленная в окне первого этажа, обычно имеет фонарь с дверцей. Внутри него стоит кувшин с водой, и каждый прохожий может напиться. Главная задача машрабии – дать тень и одновременно пропускать воздух. Но, как справедливо заметила автор воспоминаний, она служит еще и для того, чтобы женщины, наблюдая за происходящим на улице, не показывали свое лицо. Ныне машрабия практически повсеместно заменена ставнями.
323 Самая известная из каирских мечетей (современное написание – Аль-Азхар). Построена в конце X в. Позднее при мечети был создан исламский университет.
324 Речь идет, вероятно, о пирамиде Хеопса (высота – 138 м). В ту пору подъем на нее туристов был обычным делом. Подняться на соседнюю пирамиду, Хефрена, невозможно из-за сохранившейся у ее вершины каменной облицовки. Ныне подъем на пирамиду категорически запрещен.
325 Имеется в виду Серапиум (см. выше примеч. 299).
326 Здесь автор допускает неточность: гигантская статуя Рамсеса в павильоне с галереей для обозрения находится на месте Мемфиса, бывшей столицы Древнего Египта, в окрестностях Каира, а не в некрополе мамлюков в самом Каире.
327 Выпущена цитата из опубликованного в предыдущем разделе письма И.Я. Билибина к Л.Е. Чириковой (см. письмо № 17).
328 Неточность: Е.С. Лукьянова, в отличие от мужа-египтолога, была специалистом по византийскому искусству).
329 *Сарьян* Мартирос (1880–1977) – художник, в 1911 г. побывал туристом в Египте.

М.Н. Потоцкий

Дядя Ваня

Публикуется по: Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. С. 237–240.

330 Точнее, Мукаттам (см. выше примеч. 121).
331 Первая из египетских пирамид, построена в некрополе Саккара южнее Каира в 2667–2648 гг. до н.э.
332 Гробницу Тутанхамона (1336–1327 до н.э.), единственную не разграбленную гробницу фараона, обнаружил в ноябре 1922 г. английский археолог Говард Картер.
333 *Викентьев* Владимир Михайлович (1882–1960) – профессор Каирского университета, до конца своих дней жил в Египте.
334 См. выше примеч. 266.
335 *Дандре* Виктор Эмильевич (1870–1944) – барон, сенатский прокурор, впоследствии супруг и импрессарио Анны Павловой
336 *Хамсин* (пятьдесят, *араб.*) – весенний сезон песчаных бурь.
337 *Иванов* Александр Андреевич (1806–1858) – живописец, автор картин на библейские темы.
338 Подворье Русской духовной миссии в Палестине; основано в 1847 г.
339 *Иоанн Дамаскин* (кон. VII в. – ок. 754) – византийский богослов и философ.
340 Распространение русского языка в Палестине было следствием как массового паломничества к Святым местам из России (в начале XX в. число паломников ежегодно со-

ставляло 30–40 тыс. человек), так и просветительской деятельности Императорского православного палестинского общества, открывшего там около 100 школ.

341 Речь идет, вероятно, о четырех коптских монастырях в Вади-Натрун – Натрийской пустыне, расположенной на полпути из Александрии в Каир.

342 Имеется в виду, скорее всего, греческий православный монастырь Св. Екатерины, построенный в VI в. при византийском императоре Юстиниане у святых мест Синая – Неопалимой купины и горы Моисея.

343 Попытка составителя обнаружить эту роспись успеха не имела. В Александрии всего один сирийский православный храм, лишенный фресок. По-видимому, И.Я. Билибин создал лишь эскизы росписей.

344 Выставка, в которой участвовала и А.В. Щекатихина-Потоцкая, состоялась в декабре 1924 – январе 1925 г.

Литература*

Беляков В. По следам «Пересвета»: Россияне в Египте. Каир, 1994.

Беляков В. Приютила Африка Жар-птицу: Россияне в Египте. М., 2000.

Беляков В.В. Российский некрополь в Египте. М., 2001.

Беляков В.В. «К берегам священным Нила...»: Русские в Египте. М., 2003.

Беляков В.В. Русский Египет. М., 2008.

Верижникова Т.Ф. И.Я. Билибин. Альбом. СПб., 2002.

Голынец Г.В., Голынец С.В. Иван Яковлевич Билибин. М., 1972.

Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. Л., 1970.

Климов Г.Е. Иван Билибин: По материалам собрания Е.П. Климова. М., 1999.

Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. Париж, 1971.

Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья. СПб., 1999.

Писатели русского зарубежья. М., 1997.

Письма М.И. Цветаевой к Л.Е. Чириковой-Шнитниковой. М., 1997.

Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции: Энциклопедический биографический словарь. М., 1997.

Shaw I., Nicholson P. British Museum Dictionary of Ancient Egypt. Cairo, 1996.

* В список включены издания, использовавшиеся при подготовке примечаний.

Указатель имен

Summary

Ivan Bilibine in Egypt (1920–1925)
Letters, documents and sources

The book consists of collection of documents on life and work in Egypt of famous Russian artist Ivan Bilibine (1876–1942). It also includes memories of some of his close associates who accompanied him in Egypt. The biggest part of the book occupy Bilibine's letters from Cairo to his beloved student and collaborator Lyudmila Tchirikova (1896–1995) which are published for the first time. The collection of documents included in the book is not only an important source on Bilibine's life and his views on art. It also contains a lot of information on Egypt of 1920s and its Russian expatriate community.

Содержание

IV
ОНИ БЫЛИ РЯДОМ
Воспоминания родных и близких И.Я. Билибина о его жизни в Египте

В оформлении обложки использованы фрагменты акварели И.Я. Билибина «Египет. Пирамиды» (1924)

Б612 **И.Я. Билибин в Египте (1920–1925):** Письма, документы и материалы / Сост., предисл. и примеч. В.В. Беляков. – М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына : Русский путь, 2009. – 320 с.: ил.

ISBN 978-5-98854-010-6(ДРЗ)
ISBN 978-5-85887-337-2(РП)

Сборник посвящен пребыванию в Египте выдающегося русского художника Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942). Его основу составляют не публиковавшиеся ранее письма И.Я. Билибина из Каира своей ученице и помощнице Л.Е. Чириковой (1896–1995). Включены также воспоминания тех, кто вместе с художником оказался в эмиграции в Египте. Материалы сборника – ценный источник для изучения не только жизни и творчества И.Я. Билибина, но и Египта 1920-х гг. и его русской эмигрантской общины. Рассчитан на специалистов, а также всех тех, кто интересуется искусством и Востоком.

УДК 929
ББК 85:143(2)6

И.Я. Билибин в Египте
1920–1925
Письма, документы и материалы

Редактор *Н.С. Самбу*

Подписано в печать 01.12.2009
Формат 60х90/16. Тираж 2000 экз.
Зак. № 5597.
ЗАО «Издательство "Русский путь"»
109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru
Сайт издательства: www.rp-net.ru
Сайт книжного магазина: www.kmrz.ru

ISBN 978-5-98854-010-5



Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46



Издательство «Русский путь» предлагает

Русская колония в Тунисе. 1920–2000: Сборник / Сост. К.В. Махров.

Предлагаемый сборник, составленный Кириллом Васильевичем Махровым, родившимся в Тунисе и живущим в Париже, – ценное издание для всех интересующихся историей русской эмиграции. Помимо статей и воспоминаний в нем представлены краткие биографические справки об отдельных лицах – в основном моряках Черноморского флота и членах их семей, чьи судьбы оказались связаны с Тунисом после прибытия Русской эскадры в Бизерту в конце 1920 года. Издание иллюстрировано уникальными фотографиями и документами из частных архивов.

Ронин В.К. «Русское Конго»: 1870–1970: Книга-мемориал: В 2 т. – М.: Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына : Русский путь.

С конца XIX в. до 60-х годов XX в. более 600 выходцев из России приехали работать в бельгийскую часть Центральной Африки и провели там кто три года, а кто и свыше сорока лет. Инженеры, врачи, агрономы, моряки-гидрографы, землемеры, предприниматели, они многое сделали для развития Конго, Руанды и Бурунди как в колониальный, так и в постколониальный период. Об их судьбах впервые рассказывает эта книга. Профессиональная деятельность «русских конголезцев» и их культурные традиции, жизнь личная и общественная, отношения с бельгийской средой и с африканцами описаны подробно и со всеми нюансами.

В основе исследования лежат источники, которые вводятся здесь в научный оборот впервые. Главные среди них – неопубликованные письма, документы, дневники, воспоминания и автобиографическая беллетристика самих героев книги, а также более 100 многочасовых интервью с ними или их близкими в Бельгии, Франции и России с 1994 по 2007 г. Этот уникальный материал дополнен документами из целого ряда бельгийских архивов, в частности из фондов бывшего Министерства колоний, и отчасти из архивов российских.

Издательство «Русский путь» предлагает

Зайцев Б.К. Дневник писателя / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.М. Любомудрова. – М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына: Русский путь.

Впервые полностью публикуется «Дневник писателя» классика литературы русского зарубежья Б.К. Зайцева, создававшийся им в 1929–1932 гг.

Художественный мир публицистической прозы Зайцева уникален: его дневник содержит множество фактических сведений о литературной жизни русского зарубежья. Работы, вошедшие в «Дневник писателя», вносили важный вклад в продуктивный диалог национальных культур, происходивший, в частности, в рамках Франко-русской студии. Материалы, в которых содержатся оценки книг, затрагиваются вопросы истории литературы, взаимодействия католицизма и православия, расширяют представление о взглядах Зайцева на итальянскую и французскую культуру, на литературные процессы в эмиграции и метрополии.

В качестве приложения публикуются работы авторов, с которыми Зайцев ведет в «Дневнике...» творческий диалог (И.С. Лукаш, Г.В. Адамович).

Спасибо за долгую память любви...: Письма Марины Цветаевой к Анне Тесковой. 1922–1939 / Предисл., публ. писем и примеч. Г.Б. Ванечковой.

В данном издании впервые все известные письма Марины Цветаевой к Анне Тесковой публикуются по рукописным оригиналам. Обращение к оригиналам писем дало возможность исправить все неточности и ошибки в их неверном прочтении в прежних изданиях, когда письма печатались по машинописным копиям. В книге также впервые публикуется ряд детских фотографий сына М.И. Цветаевой – маленького Мура.

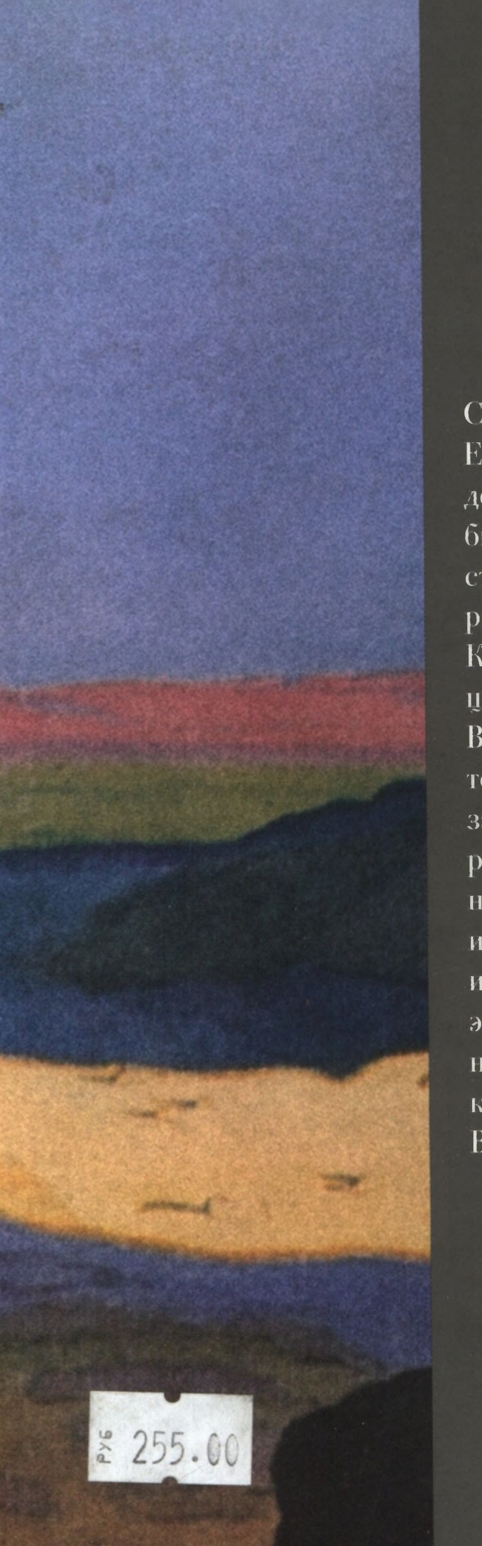
Издательство «Русский путь» предлагает

Шаховская З.А. Таков мой век / Пер. с фр. – 2-е изд., испр.

Мемуары выдающейся писательницы и журналистки русского зарубежья Зинаиды Алексеевны Шаховской охватывают почти полстолетия – с 1910 по 1950 г. Эпоха, о которой пишет автор, вобрала в себя наиболее трагические социальные потрясения и сломы ушедшего столетия. Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания. Мемуары выходили в свет на французском языке с 1964 по 1967 г. четырьмя отдельными книгами под общим подзаголовком «Таков мой век». Русский перевод воспоминаний, объединенных в одно издание, печатается впервые.

Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции: Очерки и воспоминания / Ред.-сост. Л.С. Флам.

Материалы сборника освещают малоизвестные исторические факты, связанные с последствиями Второй мировой войны для наших соотечественников. Большинство из них – так называемые перемещенные лица, разными путями оказавшиеся в Западной Германии, в частности в Мюнхене. Трагические события военных лет, беженские лишения, угроза насильственной репатриации после Ялтинских соглашений, с одной стороны, сплоченность, православная вера, оптимизм молодости, высокий творческий потенциал, с другой, определили судьбы этих людей, сумевших реализовать себя в условиях других культур, прежде всего американской, и в то же время пронести через всю жизнь деятельную любовь к России.



Сборник посвящен пребыванию в Египте выдающегося русского художника Ивана Яковлевича Билибина (1876–1942). Его основу составляют не публиковавшиеся ранее письма И.Я. Билибина из Каира своей ученице и помощнице Л.Е. Чириковой (1896–1995). Включены также воспоминания тех, кто вместе с художником оказался в эмиграции в Египте. Материалы сборника – ценный источник для изучения не только жизни и творчества И.Я. Билибина, но и Египта 1920-х гг. и его русской эмигрантской общины. Рассчитан на специалистов, а также всех тех, кто интересуется искусством и Востоком.